This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

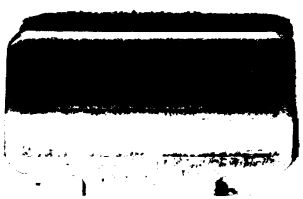
UC-NRLF
$B 83 093

REESE LIBRARY

OF THE

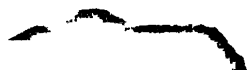
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО.



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ и БІОГРАФІЕЮ АВТОРА,

СОСТАВЛЕННОЮ

Н. А. БЛАГОВѢЩЕНСКИМЪ.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ.

ТОМЪ II.

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книгопродавца С. В. Звонарева.
1868.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

FEB 7 1924

Въ типографіи К. Вульфа, Литейный проспектъ, д. № 60.

PG3337
P73
1868
v.2
MAIN

ОГЛАВЛЕНІЕ:

ОЧЕРКИ БУРСЫ:

		стр.
1.	Зимній вечеръ въ бурсѣ	3
2.	Бурсацкіе типы	61
3.	Женихи бурсы	107
4.	Бѣгуны и спасенные бурсы	149

НЕОКОНЧЕННЫЯ СОЧИНЕНІЯ:

1.	Махиловъ	225
2.	Данилушка	245
3.	Переходное время бурсы	267
4.	Андрей Ѳедорычъ Чебановъ (изъ романа «Братъ и сестра»)	275
5.	Порѣчане	289
6.	Братъ и сестра	339

170638

ОЧЕРКИ БУРСЫ.

ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ БУРСѢ.

(ОЧЕРКЪ ПЕРВЫЙ).

1862.

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ БУРСѢ.

Классъ кончился. Дѣти играютъ.

Огромная комната, вмѣщающая въ себѣ второуѣздный классъ училища, носитъ характеръ казенщины, выражающей полное отсутствіе домовитости и пріюта. Стѣны, съ промерзшими насквозь углами, грязны,—въ чернобурыхъ полосахъ и пятнахъ, въ плѣсени и ржавчинѣ; потолокъ подпертъ деревянными столбами, потому что онъ давно погнулся и безъ подпорокъ грозилъ паденіемъ; полъ въ зимнее время посыпался пескомъ, либо опилками: иначе на немъ была бы постоянная грязь и слякоть отъ снѣгу, приносимаго учениками на сапогахъ съ улицы. Отъ задней стѣны идутъ *парты* (учебные столы); у передней стѣны, между окнами, столъ и стулъ для учителя; вправо отъ него — черная учебная доска; влѣво, въ углу у дверей на табуретѣ — ведро воды для жаждущихъ; въ противоположномъ углу — печка; между печкой и дверями вѣшалка, на спицахъ которой виситъ цѣлый рядъ тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разнаго рода, все перешитое изъ материныхъ капотовъ и отцовскихъ подрясниковъ,—нагольное, крытое сукномъ, шерстяное и тиковое; на всемъ этомъ виднѣются клочья ваты и дыры,

и много въ томъ мѣстѣ, злачнѣмъ и прохладнѣмъ, паразитовъ, поѣдающихъ тѣло плохо кормленнаго бурсака. Въ пять оконъ, съ пузырчатыми и зеленоватыми стеклами, пробивается мало свѣту. Вонь и копоть въ классѣ; воздухъ мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный.

Мы беремъ училище въ то время, когда кончался *періодъ насильственнаго образованія* и начиналъ дѣйствовать *законъ великовозрастія*. Были года — давно они прошли — когда не только малолѣтнихъ, но и бородатыхъ дѣтей по приказанію начальства насильно гнали изъ деревень, часто съ дьяческихъ и пономарскихъ мѣстъ, для наученія ихъ въ бурсѣ письму, чтенію, счету и церковному уставу. Нѣкоторые были обручены съ своими невѣстами и сладостно мечтали о медовомъ мѣсяцѣ, какъ нагрянула гроза и повѣнчала ихъ съ Пожарскимъ, Меморскимъ, псалтыремъ и обиходомъ церковнаго пѣнія, познакомила съ *майскими* (розгами), проморила голодомъ и холодомъ. Въ тѣ времена и въ приходскомъ классѣ большинство было взрослыхъ, а о другихъ классахъ, особенно семинарскихъ, и говорить нечего. Достаточно пожилыхъ долго не держали, а поучивъ грамотѣ года *три четыре*, отпускали *дьячить*; а ученики помоложе и поусерднѣе къ наукѣ, лѣтъ подъ тридцать, часто слишкомъ, достигали *богословскаго* курса (старшаго класса семинаріи). Родные съ плачемъ, воемъ и причитаньями отправляли своихъ птенцовъ въ науку; птенцы съ глубокой ненавистью и отвращеніемъ къ мѣсту образованія возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. Въ общество мало-по-малу проникло сознаніе — не пользы науки, а неизбѣжности ея. Надо было пройдти хоть приходское ученье, чтобы

имѣть право даже на пономарское мѣсто въ деревнѣ. Отцы сами везли дѣтей въ школу, парты замѣщались быстро, число учениковъ увеличивалось и наконецъ доросло до того, что не помѣщалось въ училищѣ. Тогда изобрѣли знаменитый *законъ великовозрастія.* Отцы не всѣ еще оставили привычку отдавать въ науку своихъ дѣтей взрослыми и нерѣдко привозили шестнадцатилѣтнихъ парней. Проучившись въ четырехъ классахъ училища по два года, такіе дѣлались *великовозрастными;* эту причину отмѣчали въ *титулѣ* ученика (въ аттестатѣ) и отправляли *за ворота* (исключали). Въ училищѣ было до пятисотъ учениковъ; изъ нихъ ежегодно получали титулку человѣкъ сто и болѣе; на смѣну прибывала новая масса изъ деревень (большинство) и городовъ, а черезъ годъ отправлялась *за ворота* новая сотня. Получившіе титулку дѣлались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но на-половину шатались безъ опредѣленныхъ занятій по эпархіи, не зная, куда дѣться со своими титулками, и не разъ проносилась грозная вѣсть, что всѣхъ безмѣстныхъ будутъ верстать въ солдаты. Теперь понятно, какимъ образомъ поддерживался училищный комплектъ, и понятно, отчего это въ темномъ и грязномъ классѣ мы встрѣчаемъ на-половину сильно взрослыхъ.

На дворѣ слякоть и рѣзкій вѣтеръ. Ученики и не думаютъ идти на дворъ. Съ перваго взгляда замѣтно, что ихъ въ огромномъ классѣ болѣе ста человѣкъ. Какое разнохарактерное населеніе класса, какая смѣсь одеждъ и лицъ!.. Есть двадцати-четырехъ-годовалые, есть и двадцати лѣтъ. Ученики раздробились на множество кучекъ; идутъ игры—оригинальныя, какъ и все оригинально въ бурсѣ; нѣкоторые ходятъ въ одиночку,

нѣкоторые спятъ, не смотря на шумъ, не только по полу, но и по партамъ, надъ головами товарищей. Стонъ стоитъ въ классѣ отъ голосовъ.

Большая часть лицъ, которыя встрѣтятся въ нашемъ очеркѣ, будутъ носить тѣ клички, которыми нарекли ихъ въ товариществѣ, напримѣръ *Митаха*, *Элпаха*, *Тавля*, *Шестиухая-чабря*, *Хорь*, *Плюнь*, *Омега*, *Ерракокста*, *Катька* и т. п., но этого не можемъ сдѣлать съ Семеновымъ: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропуститъ никакая цензура — крайне неприличное.

Семеновъ былъ мальчикъ хорошенькій, лѣтъ шестнадцати. Сынъ городского священника, онъ держитъ себя прилично, одѣтъ чистенько; сразу видно, что училище не успѣло стереть съ него окончательно слѣдовъ домашней жизни. Семеновъ чувствуетъ, что онъ *городской*, а на городскихъ товарищество смотрѣло презрительно, называло бабами; они любятъ маменекъ да маменькины булочки и пряники, не умѣютъ драться, трусятъ розги, народъ безсильный и состоящій подъ покровительствомъ начальства. Для товарищества рѣдкій городской составлялъ исключеніе изъ этого правила. Странно было лицо у Семенова — никакъ не разгадать его: грустно и въ то же время хитро; боязнь къ товарищамъ смѣшана съ затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и онъ, шатаясь изъ угла въ уголъ, не знаетъ, чѣмъ развлечься. Онъ усиливается удержать себя вдали отъ товарищей, въ одиночку; но всѣ составили партіи, играютъ въ разныя игры, поютъ пѣсни, разговариваютъ; и ему захотѣлось раздѣлить съ кѣмъ нибудь досугъ свой. Онъ подошелъ къ играющимъ въ *камешки* и робко проговорилъ:

— Братцы, примите меня.

— Гусь свиньѣ не товарищъ, отвѣчали ему.

— Этого не хочешь ли? проговорилъ другой, подставивъ подъ самый носъ его сытый свой кукишъ съ большимъ грязнымъ ногтемъ на большомъ пальцѣ...

— Пока по шеѣ не попало, убирайся! прибавилъ третій.

Семеновъ отошелъ уныло въ сторону; но на него не произвели особеннаго впечатлѣнія слова товарищей. Онъ точно давно привыкъ и отерпѣлся съ грубымъ обращеніемъ.

— Господа, *съ пылу горячихъ!*

— Кому, Тавля? отозвались голоса.

— Гороблагодатскому.

Семеновъ вмѣстѣ съ другими направился къ столу, около котораго тоже шла игра въ камешки между двумя великовозрастными, причемъ Гороблагодатскій былъ второй силачъ въ классѣ, а Тавля — четвертый. Лица, окружившія игроковъ, пріятно осклаблялись, ожидая увеселительнаго зрѣлища.

— Ну! сказалъ Тавля.

Гороблагодатскій положилъ на столъ руку, растопыривъ на ней пальцы. Тавля размѣстилъ на рукѣ его пять небольшихъ камней самымъ неудобнымъ образомъ.

— Валяй, сказалъ онъ.

Тотъ вскинулъ кверху камни и поймалъ изъ нихъ только три.

— За два! подхватили окружающіе.

— Пиши, братъ, къ родителямъ письма, прибавилъ Тавля съ своей стороны.

Гороблагодатскій, ничего не отвѣчая, положилъ лѣвую руку на столъ. Тавля кинулъ камень въ воздухъ, во время его полета успѣлъ съ страшной силой щипнуть руку Гороблагодатскаго и опять поймалъ камень.

Толпа захохотала.

Игра въ камешки вѣроятно всѣмъ извѣстна, но въ училищѣ она имѣла оригинальныя дополненія: здѣсь она со *щипчиками* и притомъ *щипчиками холодненькими*, *тепленькими*, *горяченькими*, и съ *пылу горячими*, которые доставались проигравшему. Безъ щипчиковъ играла самая молодая, самая зеленая *приходчина*, а при щипчикахъ «съ пылу горячихъ» присутствуетъ теперь читатель.

Между тѣмъ, *матка* (главный камень) летала въ воздухѣ, а Тавля своими здоровенными руками скручивалъ кожу на рукѣ партнера и дергалъ ее съ ожесточеніемъ. Послѣ двадцати щипчиковъ рука сильно покраснѣла; послѣ пятидесяти появилась синева.

— Любо ли? спрашиваетъ Тавля, заглядывая ему въ глаза.

Противникъ молчитъ.

— Любо ли?

Опять отвѣта нѣтъ.

— Взъерепень, взъерепень его! говорятъ окружающіе.

— Заплачь, такъ прощу! говоритъ Тавля.

— Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! отвѣтилъ Гороблагодатскій. Здоровый дѣтина выносилъ сильную боль въ рукѣ, но только мрачный взглядъ обнаруживалъ, что онъ чувствуетъ.

— Что, дядя, больно?

Тавля далъ такого щипка, что Гороблагодатскій невольно стиснулъ зубы. Всѣ захохотали.

— Живота, аль смерти?

Сильный щипокъ повторился при хохотѣ зрителей. Въ этомъ хохотѣ не слышалось злорадованья или непріязненной насмѣшки; товарищи видѣли во всемъ

только комическую сторону. Одинъ лишь Семеновъ улыбался какъ-то особенно; его удовольствіе не походило на удовольствіе другихъ, и дѣйствительно онъ затаенно повторялъ въ душѣ:

«Такъ и надо, такъ и надо!»

Дошло до ста...

— Ну, чортъ съ тобой! заключилъ наконецъ Тавля.

Гороблагодатскій глубоко ненавидѣлъ Тавлю и рѣшился на игру съ нимъ въ надеждѣ остаться побѣдителемъ и задать ему болѣе, чѣмъ съ пылу горячихъ. Оба они были *второкурсные*. Каждое учебное заведеніе имѣетъ свои преданія. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали изъ себя *товарищество*, которое стало во враждебныя отношенія къ *начальству* и завѣщало своимъ потомкамъ ненависть къ нему. Начальство съ своей стороны также стало во враждебныя отношенія къ товариществу и, чтобы сдерживать его въ границахъ *училищной инструкціи* (кодексъ правилъ для поведенія и ученія), изобрѣло цѣлую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздѣльшееся на ся, не устоитъ, оно отдало однихъ товарищей подъ власть другимъ, желая внести въ среду ихъ междоусобіе. Такими властями были: *старшіе спальные* — изъ второуѣздныхъ; *старшіе дежурные* — изъ спальныхъ, справляя недѣльную очередь по всему училищу; *цензоры* — надзирающіе за поведеніемъ въ классѣ; *авдитора* — выслушивающіе по утрамъ уроки и отмѣчающіе баллы въ *нотатахъ* (особой тетради для балловъ), наконецъ послѣдняя власть и едва ли не самая страшная — *секундаторъ*, ученикъ, который, по приказанію учителя, сѣкъ своихъ товарищей. Всѣ эти власти выбирались изъ *второкурсныхъ*. Ученикъ, просидѣвъ за партою два года, за лѣность и мало-

успѣшность оставался въ томъ же классѣ еще на два, — этотъ и назывался второкурснымъ. Очень естественно, что такой ученикъ что нибудь да выносилъ изъ уроковъ учителей и потому больше зналъ, чѣмъ первокурсный; это бралось начальствомъ во вниманіе и разсчетъ былъ вѣренъ: второкурсные, желая удержать власть въ рукахъ, учились усердно и большинство изъ нихъ заняло первыя мѣста, потому что не бездарность, а лѣнь дѣлала ихъ второкурсными. Вотъ основы училищной бюрократіи, при помощи которой начальство хотѣло разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Къ второкурснымъ было полное довѣріе начальства; жалоба на нихъ была оскорбленіемъ для смотрителя и инспектора; деспотизмъ ихъ развился въ высшей степени, и ничто такъ не оподляетъ духъ учебнаго заведенія, какъ власть товарища надъ товарищемъ: цензоры, авдиторы, старшіе и сѣкундаторы получили полную возможность дѣлать что угодно. Цензоръ былъ чѣмъ-то въ родѣ царька въ своемъ царствѣ, авдиторы составляли придворный штатъ, а второкурсные — аристократію. Притомъ второкурсные, просидѣвъ лишнихъ два года, понятно, дѣлались взрослыми, а потому и физическая сила была на ихъ сторонѣ. Наконецъ по той же причинѣ они знали обряды и формы своего класса, характеръ учителей, умѣнье надувать ихъ. Новичекъ безъ помощи второкурснаго не умѣлъ ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизмъ, думало, что оно поселитъ въ товариществѣ ябеду и доносъ. Случилось совсѣмъ не то: при училищномъ *второкурсіи* только народились въ товариществѣ такія гадины, отвратительныя гадины, какъ Тавля, и такіе дикіе характеры, какъ Гороблагодатскій. Они ненавидѣли другъ друга,

потому что воспользовались данною имъ властью для разныхъ цѣлей. Тавлю ненавидѣли и другіе силачи — Лашезинъ и Бенелявдовъ; его всѣ ненавидѣли и презирали.

Тавля, въ качествѣ второкурснаго авдитора, притомъ въ качествѣ силача, былъ нестерпимый взяточникъ, далъ съ подчиненныхъ деньгами, булкой, порціями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому, Тавля былъ ростовщикъ. Ростъ въ училищѣ, при нелѣпомъ его педагогическомъ устройствѣ, былъ безсовѣстенъ, наглъ и жестокъ. Въ такихъ размѣрахъ онъ нигдѣ и никогда не былъ и не будетъ. Вовсе не рѣдкость, а напротивъ норма, когда *десять копѣекъ*, взятыя на *недѣльный срокъ*, оплачивались *пятнадцатью копѣйками*, т. е., по общепринятому займу на годъ, это выйдетъ *двадцать пять разъ капиталъ на капиталъ*. При этомъ должно замѣтить, если должникъ не приносилъ, по условію, долга черезъ недѣлю, то черезъ слѣдующую недѣлю онъ обязанъ былъ принести вмѣсто пятнадцати двадцать копѣекъ. Такой ростъ неизвѣстно съ какихъ поръ вошелъ въ обычай бурсы; не одинъ Тавля живодерничалъ, онъ былъ только виднѣе другихъ. Необходимость въ займѣ всегда существовала. Цензоръ или авдиторъ требовали взятки; не дать — бѣда, а денегъ нѣтъ, вотъ и идетъ первокурсный къ своему же товарищу, но ростовщику, согласенъ на какой угодно процентъ, лишь бы избавиться отъ прежестокихъ грядущихъ розгачей. Кредитъ обыкновенно гарантируется кулакомъ, либо всегдашнею возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на ростъ только второкурсники. Надо замѣтить, что большая часть тягостей въ этомъ отношеніи падала на городскихъ, потому что они каждое воскресенье хо-

дили домой и приносили съ собою деньжонки; поэтому на городскихъ налегали всѣ, хотя и изъ нихъ считался уже богачемъ, кто получалъ на недѣлю какой-нибудь гривенникъ. Поэтому многіе были въ неоплатномъ долгу и нерѣдко состояли въ бѣгахъ. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизмѣ второкурсія. Онъ жилъ бариномъ, никого знать не хотѣлъ; ему писались записки и вокабулы, по которымъ онъ учился; самъ не встанетъ для того, чтобы напиться воды, а кричитъ: «эй, Катька, пить!» Подъавдиторные чесали ему пятки, а не то велитъ взять перочинный ножъ и скоблить ему между волосами въ головѣ, очищая эту поганую голову отъ перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлялъ говорить ему сказки, да непремѣнно страшныя, а не страшно, такъ отдуетъ; да и чѣмъ только при глубокомъ развратѣ Тавли не служили для него подъавдиторные? При всемъ этомъ онъ былъ жестокъ съ тѣми, кто служилъ ему. — «Хочешь, говоритъ, Катька, *рябчика* съѣсть?» и начинаетъ щипать подчиненнаго за волоса. — «Тебя маменька вотъ такъ гладила по головкѣ; постой же, я покажу, какъ папенька гладитъ;» послѣ этого, уставивъ палецъ противъ *шерсти* (волосъ), онъ плотно проводилъ имъ отъ начала лба и до конца затылка. — «Видалъ ли ты Москву?» спрашиваетъ онъ ученика, и прикладываетъ свои широкія, потныя, скверныя ладони къ ушамъ подъавдиторнаго, сжимаетъ между ними голову его и потомъ, приподнявъ на воздухъ, говоритъ; «теперь видишь ли Москву? вонъ она!» Онъ загибалъ своимъ товарищамъ *салазки*: т. е. положитъ ученика на сидѣнье парты, лицомъ вверхъ, поднимете его ноги и гнетъ ихъ къ лицу. Плюнуть въ лицо товарищу, ударить его всяче-

ски изобидѣть составляло потребность его души. Извѣстно было товарищамъ, что онъ однажды добылъ изъ гнѣзда неоперившихся воробьиныхъ птенцовъ, взялъ за тонкія ноги и разорвалъ воробьевъ на части. Меньшинство его ненавидѣло; большинство боялось и ненавидѣло.

Гороблагодатскій былъ сильная, но дикая натура. Второкурсіе отразилось на немъ совершенно иначе, нежели на Тавлѣ. Онъ былъ положительнымъ доказательствомъ, что начальство ошиблось въ расчетѣ, вводя деспотизмъ ученика надъ ученикомъ и черезъ то желая внести въ товарищество ябеду и доносъ. Товарищество въ самомъ деспотизмѣ нашло себѣ опору. Второкурсные сдѣлались хранителями преданій, и, получивъ по наслѣдству ненависть къ начальству, употребляли власть, имъ данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензоръ, авдиторы, сѣкундаторъ стали на сторонѣ товарищества, а во главѣ ихъ всѣхъ, въ тотъ курсъ, который описываемъ мы, стоялъ Гороблагодатскій. Пьянство, нюханье табаку, самовластныя отлучки изъ училища, драки и шумъ, разныя нелѣпыя игры —все это было запрещено начальствомъ и все это нарушалось товариществомъ. Нелѣпая долбня и спартанскія наказанія ожесточали учениковъ, и никого они такъ не ожесточили, какъ Гороблагодатскаго.

Онъ былъ *отпѣтый*.

Отпѣтый характеристиченъ и по внутреннему, и по внѣшнему складу. Онъ ходитъ заломивъ козырь на шапкѣ, руки накрестъ, правымъ плечомъ впередъ, съ отважнымъ переваломъ съ ноги на ногу; вся его фигура такъ и говоритъ: «хочешь, тресну въ рожу? думаешь не посмѣю!» — рѣдко даетъ кому дорогу, обойдетъ начальника далеко, чтобы только избѣжать по-

клона. Гороблагодатскій поддерживаетъ самое неприличное дѣло, если оно относится ко вреду высшихъ властей, *отмачиваетъ* дикія штуки. Онъ ревнитель старины и преданій, стоитъ за свободу и вольность бурсака, и, если нужно будетъ, не пощадитъ для этого священнаго дѣла ни репутаціи, ни титулки. Онъ основной столбъ товарищества. Бурсаки съ такими доблестями обыкновенно звались отпѣтыми. Но отпѣтые были разнаго рода: одни изъ нихъ назывались *благими*: это были дураковатые господа, но держащіеся тѣхъ же принциповъ; другіе назывались *отчвалыми*: эти были вообще не глупы, но лѣнтяи безшабашные; Гороблагодаткій же былъ отпѣтый — *башка:* онъ шелъ въ первыхъ по ученію и въ послѣднихъ по поведенію. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: напримѣръ вдругъ захохочетъ учителю въ лицо и покажетъ ему кукишъ; вздерутъ благого, а черезъ нѣсколько времени онъ опять выкинетъ какую-нибудь глупую дерзость. Но никто изъ отпѣтыхъ такъ не солилъ начальству, какъ Гороблагодатскій. Если вымазали эконому двери нестерпимой *размазней* (жидкая грешневая каша), нелюбимому учителю вшей (*) напустили въ шубу, свиньѣ инспектора переломали ноги или оторвали хвостъ, обокрали погребъ смотрителя, выбили ночью цѣлый рядъ стеколъ — все это были дѣла Гороблагодатскаго, который смѣло велъ за собою на пакость начальству благихъ и отчвалыхъ.

(*) Этихъ насѣкомыхъ было огромное количество въ бурсѣ. Не повѣрятъ, что одинъ ученикъ былъ почти съѣденъ ими; онъ служилъ какимъ-то огромнымъ гнѣздомъ для паразитовъ; цѣлыя стада на виду ходили въ его нестриженой и нечесаной головѣ; когда однажды сняли съ него рубашку и вынесли ее на снѣгъ, то снѣгъ зачернѣлся отъ нихъ. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ѣли тѣло бурсака.

Когда требовалось устроить стачку противъ начальства, то опять коноводомъ былъ Гороблагодатскій: подъ его вліяніемъ отпѣтые настроивали недавно сѣченыхъ и вообще недовольныхъ; эти волнуютъ весь классъ, самые смиренные и кроткіе начинаютъ шумѣть и грозить, товарищество возбуждено — и зрѣетъ бурсацкій скандалъ, который на мѣстномъ языкѣ называется *бунтомъ*. Протестанты напередъ знаютъ, что они ничего не добьются отъ начальства: если напримѣръ ихъ кормили *убоиной*, похожей на падаль, то они увѣрены, что и послѣ возмущенія будутъ ѣсть ту же убоину; но они по крайней мѣрѣ гнѣвъ сорвутъ, а тамъ пори себѣ десятаго.

Гороблагодатскому, какъ отпѣтому, часто доставалось отъ начальства; впродолженіе семи лѣтъ онъ былъ сѣченъ разъ триста и безконечное число разъ подвергался другимъ разнообразнымъ наказаніямъ бурсы; но во всякомъ случаѣ должно сказать, что его все-таки мало сѣкли: за его разныя продѣлки ему слѣдовало бы подвергнуться наказаніямъ по крайней мѣрѣ въ пять разъ больше, но онъ былъ ловокъ и хитеръ. Въ бурсѣ отпѣтыми было изобрѣтено много способовъ, чтобы надувать начальство. Особенно замѣчателенъ былъ пріемъ подъ названіемъ — *пустить въ круговую*. Напримѣръ отнимутъ табакерку у А.; А. говоритъ, что она не его, а В.; В. ссылается на Д., Д. на А., А. опять на В. — вотъ и круговая: разыщите, чья табакерка. Въ круговую вводилось человѣкъ тридцать, и тогда самъ Соломонъ не разберетъ, кого слѣдуетъ выпороть. При бунтахъ всегда прибѣгали къ круговой. — «Ты зачѣмъ кричалъ во время класса? — Меня научилъ такой-то. — «А ты зачѣмъ?» — Тотъ ссылается на другого, и пошла коловоротица, въ которой самъ

чортъ ногу сломитъ. Надуть товарищество считалось преступленіемъ, надуть начальство — подвигомъ и добродѣтелью. Случалось, что сѣкли не того, кого слѣдуетъ, но наказываемый рѣдко выдавалъ виноватаго. Добровольное сознаніе въ проступкѣ ученики признавали за пошлость и трусость: напротивъ, кто больше и наглѣе лгалъ передъ начальникомъ, безсовѣстно запирался, путалъ дѣло мастерски, божился и клялся на чемъ свѣтъ стоитъ, тотъ высоко стоялъ въ глазахъ бурсацкой общины. Но и въ этомъ отношеніи Гороблагодатскій стоялъ выше всѣхъ; послѣ долгой практики въ скандалахъ разнаго рода онъ навыкъ въ самомъ изворотливомъ запирательствѣ. Другіе только не сознавались въ поступкѣ, а онъ съ самоувѣренной дерзостью, глядя прямо въ глаза начальнику, огрызался, и въ то время такая оскорбленная невинность была написана на его лицѣ, что опытный физіономистъ и психологъ сбился бы съ толку. Онъ входилъ до того въ роль невиннаго, что самъ считалъ себя невиннымъ и подъ лозами никогда не сознавался. Все, что исходило отъ начальства, онъ презиралъ и ставилъ ни во что: поэтому розги, оплеухи, лишенія обѣда, стоянье на колѣняхъ, земные поклоны и т. п. для него положительно не имѣли никакого моральнаго значенія. Наказаніе было до такой степени дѣло непозорное, лишенное смысла и полное только боли и крика, что Гороблагодатскій, сѣченный публично въ столовой, предъ лицомъ пятисотъ человѣкъ, не только не стѣснялся сряду же послѣ порки явиться передъ товарищами, но даже похвалялся передъ ними. Полное безстыдство предъ начальнической розгой создало мѣстную поговорку: *не рѣпу сѣютъ, а сѣкутъ только.* Да чего лучше: сѣкундаторъ, товарищъ, сѣкущій своихъ товари-

щей, уважаемъ и любимъ былъ ими, потому что и онъ служилъ въ ихъ видахъ: искусный въ своемъ дѣлѣ, онъ сильно далъ своихъ товарищей и свистѣли лозы по воздуху, когда подъ ними лежала добрая голова. Гороблагодатскаго много сѣкли; случалось ему вкушать даже до ста ударовъ, и потому онъ переносилъ розги легче, нежели его товарищи, вслѣдствіе чего съ абсолютнымъ презрѣніемъ относился къ какому бы то ни было наказанію. Ставили его колѣнями на покатой доскѣ парты, на выдающееся ребро ея, заставляли въ двухъ шубахъ волчьихъ дѣлать до двухъ сотъ земныхъ поклоновъ, приговаривали держать въ поднятой рукѣ, не опуская ее, тяжелый камень по получасу и болѣе (нечего сказать, изобрѣтательно было начальство), жарили его линейками, били по щекамъ, посыпали сѣченное тѣло солью (вѣрьте, что это факты) — все онъ переносилъ спартански: лицо его дѣлалось послѣ наказанья свирѣпо и дико, а на душѣ копилась ненависть къ начальству. Мы видѣли въ Гороблагодатскомъ переносчивость физической боли, когда Тавля задавалъ ему съ пылу горячихъ.

Но кража, сплетня, порча чужихъ вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а въ себѣ самомъ товарищество было честно, и съ этой стороны Гороблагодатскій является въ новомъ свѣтѣ. Онъ не взялъ ни одной взятки, безпристрастно и справедливо отмѣчалъ подъавдиторнымъ баллы, не куражился надъ ними, часто защищалъ слабосильныхъ, любилъ вмѣшиваться въ ссоры, и хотя деспотически, но всегда справедливо рѣшалъ ихъ; онъ постоянно солилъ ростовщикамъ и взяточникамъ. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатскій глубоко ненави-

дѣлъ Тавлю за его гнусную натуру; но онъ съ нимъ играетъ въ камешки: ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончивъ щипчики, Тавля предложилъ лукаво:

— Не хочешь ли еще?

Тавля отлично игралъ въ камешки и надѣялся на себя.

— Давай! упорно отвѣчалъ Гороблагодатскій.

Камни опять защолкали.

Семеновъ издали наблюдалъ за игроками. Семеновъ былъ третій типъ училищный, созданный тою же бурсацкою администраціею. Товарищество сегодня огласило его *фискаломъ*.

Начальство понимало, что черезъ свое педагогическое устройство бурсы оно не достигло цѣли, но вмѣсто того, чтобы отказаться отъ училищныхъ порядковъ, оно пошло по пути нелѣпостей далѣе. Явилось новое должностное лицо — фискалъ, который тайно сообщалъ начальству все, что дѣлалось въ товариществѣ. Понятно, какую ненависть питали ученики къ наушнику; и дѣйствительно, требовался громадный запасъ подлости, чтобы рѣшиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и безъ того занимали видное мѣсто въ спискѣ; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькіе трусы; за низкую послугу начальство переводило ихъ изъ класса въ классъ, какъ дѣльныхъ учениковъ. Но мы сказали, что товарищество само въ себѣ было честно и потому не уважало тѣхъ учениковъ, которые за взятку начальнику, по родственнымъ связямъ, по протекціи, а тѣмъ болѣе за фискальство, занимали не свое мѣсто въ спискѣ. Кромѣ того ученики вполнѣ справедливо были увѣре-

ны, что наушникъ переносилъ не только то, что въ самомъ дѣлѣ было въ товариществѣ, но и клеветалъ на нихъ, потому что фискалъ долженъ былъ всячески доказать свое усердіе къ начальству. Но когда онъ передавалъ инспектору или смотрителю даже правду, и тогда онъ возбуждалъ въ классѣ ненависть и злобу; напримѣръ, дѣти собираются устроить попойку, оторвать хвостъ экономской свиньѣ, улизнуть къ знакомой прачкѣ или чѣмъ инымъ развлечься, и вдругъ инспекторъ, предувѣдомленный заранѣе, вмѣсто развлеченія, дралъ ихъ не на животъ; а на смерть. Правда, въ большинствѣ случаевъ, при непобѣдимомъ упорствѣ бурсаковъ, доносы не вели къ наказанію, но начальство изъ доносовъ все-таки умѣло сдѣлать полезное для себя употребленіе. Какъ объяснить, отчего инспекторъ за одинаковое преступленіе двоихъ учениковъ наказывалъ неодинаково? Это большею частью объяснялось тѣмъ, что на ученика сильно наказаннаго были доносы отъ фискаловъ. Начальство особенно не терпѣло тѣхъ лицъ, которыя ненавидѣли и преслѣдовали наушниковъ. Вся ябеда, добытая черезъ наушниковъ, вносилась въ *черную книгу*. Эта книга имѣла огромное значеніе при переводѣ изъ класса въ классъ; тогда многимъ неожиданно вручались *волчьи паспорты*; это тѣ же титулки, только съ отмѣткою въ нихъ о дурномъ поведеніи: такія титулки объяснялись единственно черною книгою.

Семеновъ чувствовалъ, но страшно вѣрить ему было, что товарищество догадалось, что онъ фискалъ. Онъ ясно замѣтилъ, что съ нимъ никто не хочетъ слова сказать, а первой мѣрой противъ наушника было *молчаніе*: цѣлый классъ, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, съ

фискаломъ. Положеніе ужасное: жить цѣлыя недѣли среди живыхъ людей и не услышать ни одного привѣтливаго звука, видѣть на всѣхъ лицахъ отталкивающее презрѣніе и отвращеніе, вполнѣ быть увѣрену, что никто ни въ чемъ не поможетъ, а напротивъ, съ радостью сдѣлаетъ зло... И дѣйствительно, фискалъ становился въ товариществѣ внѣ покровительства всякихъ законовъ: на него клеветали, подводили подъ наказанія, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведеніе относительно фискала считалось *безчестнымъ*.

Но начальство все-таки напрасно развратило на-вѣки нѣсколько десятковъ человѣкъ, сдѣлавъ изъ нихъ наушниковъ: училищная жизнь развивалась въ своихъ нелѣпыхъ формахъ и товарищество дѣлало, что хотѣло.

Семеновъ, смотря на играющихъ въ камешки, злорадостно усмѣхнулся.

— Съ пылу горячіе! закричалъ Гороблагодатскій.

Въ его голосѣ было что-то зловѣщее. Тавля струсилъ и поблѣднѣлъ на минуту. Около стола опять толпа. Опять камень летаетъ въ воздухѣ, но теперь Тавлина рука лежитъ на столѣ; напрасно онъ понадѣялся на себя: Гороблагодатскій въ одинъ пріемъ взялъ всѣ восемь коновъ, а Тавля срѣзался на пятомъ...

— Конца не будетъ! сказалъ сурово Гороблагодатскій.

Тавля видимо трусилъ. Окружающіе не смѣялись: они видѣли, что дѣло идетъ не на шутку, что Гороблагодатскій мститъ.

Дошло до ста. Отъ здоровенныхъ щипчиковъ вспухла рука Тавли. Онъ выносилъ страшную боль, наконецъ не вытерпѣлъ и проговорилъ просительно:

— Да ну, полно же!..

— Послѣ двухъ сотъ проси пощады, отвѣчалъ Гороблагодатскій.

— Вѣдь больно!..

— Еще больнѣе будетъ.

На сто-семидесятомъ щипкѣ у Тавли рука покрылась темносинимъ цвѣтомъ. Онъ чувствовалъ ломъ до самаго плеча...

— Довольно же, Ваня... что же это будетъ?

Гороблагодатскій вмѣсто отвѣта съ ожесточеніемъ щипнулъ Тавлю.

Тавля зналъ, что слово Гороблагодатскаго ненарушимо, однако онъ ощущалъ до того сильную боль во всей рукѣ, что не могъ не просить:

— Оставь... вѣдь натѣшился.

— Скажи только слово, еще двѣсти закачу!..

Гороблагодатскій далъ щипокъ, болѣе чѣмъ съ пылу горячій. Тавля не вынесъ: по щекамъ его потекли слезы.

Наконецъ двѣсти.

— Теперь прощенья проси!

Какъ ни больно Тавлѣ, а стыдно прощенья просить.

— Да ну, оставь же!

— Зачѣмъ насмѣхался давечь?

— Такъ то вѣдь шутка!

— Такъ ты смѣешь, животное, надо мной шутить?

Жестоко щипнулъ онъ Тавлю.

— Ну прости меня, Ваня...

Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мученія ненавистнаго для него Тавли. Онъ собралъ всѣ силы, и отъ послѣдняго щипка рука Тавли почернѣла.

— Будетъ съ тебя. Сытъ ли?.. спросилъ Гороблагодатскій.

Лишь только освободился Тавля, страхъ въ душѣ его смѣнился бѣшенствомъ и злостью.

— Подлецъ! проговорилъ онъ.

— Слышь, не задѣвай! въ зубы съѣзжу!

— Ты?

— Я. А вотъ и харя, съѣзди, сказалъ Гороблагодатскій, подставляя свое лицо...

Тавля забылся въ бѣшенствѣ и залѣпилъ оглушительную плюху своему врагу, но въ отвѣтъ получилъ еще здоровѣйшую. Завязалась драка...

«Такъ и надо, такъ и надо!..» шевелилось въ душѣ Семенова...

Тавля такъ ошалѣлъ отъ злости, что не смотря на истерзанную свою руку, не уступалъ Гороблагодатскому, хотя тотъ былъ сильнѣе его. Злость до того охмѣлила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было рѣшить, на чьей сторонѣ осталась побѣда... Гороблагодатскій затаилъ и эту обиду въ душѣ.

Гороблагодатскій послѣ драки пошелъ къ ведру напиться; на дорогѣ ему попался Семеновъ. Онъ далъ Семенову затрещину и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ свой путь. Семеновъ со злостью посмотрѣлъ на него, но не смѣлъ пикнуть слова.

Постоявъ немного посреди класса, Семеновъ сталъ безцѣльно шляться изъ угла въ уголъ и между партами, останавливаясь то здѣсь, то тамъ.

Посмотрѣлъ онъ, какъ играютъ въ *чехарду* — игра вѣроятно всѣмъ извѣстная, а потому и не будемъ ее описывать. Въ другомъ мѣстѣ два парня *ломали пряники*, то-есть, вставъ спинами одинъ къ другому и сцѣпившись руками около локтей, поочередно взваливали себѣ на спину другъ друга; это дѣлалось быстро, отчего и составлялась изъ двухъ лицъ одна качающаяся

фигура. У печки сѣкундаторъ, по прозванію Супина, учился своему мастерству: въ рукахъ его отличныя лозы; онъ помаживалъ ими и выстегивалъ въ воздухѣ полосы, которыя должны будутъ лечь на тѣло его товарища. На третьей партѣ играли въ *швычки*: эта деликатная игра состоитъ въ томъ, что одному игроку закрываютъ глаза, наклоняютъ голову и сыплютъ въ голову щелчки, а онъ долженъ угадать, кто его ударилъ; не угадалъ—опять ложись; угадалъ—на смѣну его ляжетъ угаданный. Семеновъ увидѣлъ, какъ его товарищу пустили въ голову цѣлый зарядъ швычковъ и какъ тотъ вставая схватился руками за голову.

«Такъ и надо!» повторилъ онъ въ душѣ и пошелъ къ пятой партѣ.

Тамъ одна партія дулась въ три листика, а другая въ носки: извѣстная игра въ карты, въ которой проигравшему бьютъ по носу колодой картъ.

Семеновъ перешелъ къ седьмой партѣ и полюбовался, какъ шесть *нахаживали*. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взадъ и впередъ.

На слѣдующей партѣ Митаха выдѣлывалъ *богородиченъ на швычкахъ*, т. е. онъ пѣлъ благимъ гласомъ «Всемірную славу» и въ тактъ подщолкивалъ пальцами. Тутъ же Ерундія (прозвище) игралъ *на белендрясахъ*, перебирая свои жирныя губы, которыя, шлепаясь одна о другую, по мѣстному выраженію *белендрясили*. Третій артистъ старался возможно быстро выговаривать: «подъ потолкомъ полкомъ полколпака гороху», «нашего пономаря не перепономаривать стать», «сыворотка изъ-подъ простокваши.»

Наконецъ Семеновъ пробрался до стѣны. Здѣсь Омега и Шестиухая-Чабря играли въ *плевки*. Оба стара-

лись какъ можно выше плюнуть на стѣну. Игра шла на *смазъ*. Шестиухая-Чабря плюнулъ выше.

— Подставляй! сказалъ онъ, расправляя въ воздухѣ свою пятерню.

Омега выпятилъ свою *лупетку* (лицо).

— Надувайся! сказалъ Чабря.

Омега надулъ щеки.

— Шире бери!

Омега до того надулся, что покраснѣлъ.

— *Верховая*, началъ Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги: — *низовая*, — прикладывая къ подбородку, — двѣ *боковыхъ*, — прикладывая къ одной и другой щекѣ. — Надувайся!

Омега надулся.

— И *всеобщая!* торжественно вскрикнулъ Шестиухая-Чабря.

Послѣ этого онъ забралъ лицо Омеги въ пасть, такъ что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и трясъ его за упитанныя мордасы и кверху, и книзу.

Семенову было скучно. Онъ не зналъ, что дѣлать...

— Леденцовъ, пряниковъ! Пряниковъ, леденчиковъ!

Это былъ голосъ Элпахи, который обыкновенно торговалъ пряниками и леденцами, отъ чего получалъ немалую выгоду, потому что покупалъ фунтами, а продавалъ по мелочи.

Семеновъ очутился около него.

— На сколько? спросилъ его Элпаха, оглядываясь вокругъ и около, потому что товарищество запрещало говорить съ Семеновымъ, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.

— На пять копѣекъ.

— Деньги?

— Вотъ!

— Держись.

— Что-жъ ты обсосанныхъ даешь?

— Лучшій сортъ.

— Перемѣни, Элпаха.

— Леденчиковъ, пряниковъ! закричалъ Элпаха, отворачиваясь въ сторону.

Семеновъ, держа на ладони, разсматривалъ леденцы, не зная, съѣсть ихъ или бросить, и уже рѣшился съѣсть, какъ кто-то сзади подкрался, схватилъ съ руки лакомство и быстро скрылся. Семеновъ со злобой посмотрѣлъ на товарищей, но безсильна была его злоба и въ то же время одурь брала его отъ скуки.

— Давай играть въ *костяжки*, сказалъ ему Хорь.

Семеновъ самъ удивился, что съ нимъ заговорилъ товарищъ. Онъ недовѣрчиво смотрѣлъ на Хоря.

— Что *глядѣлки*-то пучишь? не бойся!

— Надуешь...

— Ну вотъ дуракъ... что ты!

— Побожись.

— Ей Богу, вотъ-те Христосъ!

— Право не надуешь?

— Побожился! чего-жъ тебѣ еще?

— Ну ладно, отвѣтилъ Семеновъ, отъ души обрадовавшись, что съ нимъ заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.

Въ училищѣ была своя монета — *костяжки* отъ брюкъ, жилетовъ и сюртуковъ. За единицу принималась *однодырочная* костяжка; двѣ однодырочныхъ равнялись *четырехдырочной* или *парѣ;* пять паръ *кучѣ* или *грошу*, пять кучъ *великой кучѣ*. Костяжки имѣли цѣну опредѣленную разъ навсегда, и во всякое время за пять паръ можно было получить грошъ. Огромное количе-

ство костяной монеты обращалось въ бурсѣ. Ею платили при игрѣ *въ юлу* и *въ четъ-нечетъ*. Бывали владѣтели сотни великихъ кучъ и болѣе; ихъ можно узнать по тому, что они всегда держатъ руку въ карманѣ и роются тамъ въ костяномъ богатствѣ. Употребленіе костяной монеты породило особаго рода промышленниковъ, которые по ночамъ обрѣзывали костяжки на одеждѣ товарищей или дѣлали это во время классовъ, подъ партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуковъ.

Хорь былъ одинъ изъ такихъ промышленниковъ. У Хоря ничего не было своего — все казенное, и еслибы не казна, вы увидѣли бы въ лицѣ его возможность на Руси совершенно голаго человѣка. У него почти никогда не водилось денегъ. Въ продолженіе семи лѣтъ у него не перебывало и семи рублей, такъ что настоящая монета для него была менѣе дѣйствительна, чѣмъ костяжки. Это былъ нищій второуѣзднаго класса, и мастеръ же онъ былъ *кальячить*. Узнавъ, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, онъ приставалъ къ нему какъ съ ножомъ къ горлу, конючилъ и выпрашивалъ до тѣхъ поръ, пока не удовлетворятъ его желаніе. Будучи безъ роду и племени, круглый сирота, онъ безвыходно жилъ въ училищѣ, на каникулы никогда не ѣздилъ и до того втянулся во всѣ формы бурсацкой жизни, что кромѣ ея другой не существовало для него. Только въ каникулярное время посѣщалъ онъ базаръ сосѣдній, рѣку да лѣсъ: здѣсь былъ конецъ его свѣта. Учиться Хорь терпѣть не могъ, но учился, потому что не могъ терпѣть и розги: изъ двухъ золъ (а бурсацкое ученье — зло) приходилось выбирать меньшее. Онъ былъ страстный игрокъ въ костяжки; но нажившн кое-какъ великую кучу, онъ либо вымѣнивалъ

ее на деньги и проѣдалъ ихъ съ жадностью нищаго, либо опять проигрывалъ, потому что игралъ не совсѣмъ счастливо. Тогда съ перочиннымъ ножемъ онъ промышлялъ подъ партами, либо по ночамъ подъ подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища такимъ образомъ онъ споролъ съ одежды всѣ костяжки, такъ что не на что было застегнуться — все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдовъ, первый силачъ класса, во время урока, при учителѣ, поймалъ его за волоса подъ партой и задалъ ему *волосянку*. Просить пощады нельзя было: замѣтитъ учитель. Послѣ долго смѣялись надъ Хоремъ, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у Хоря только и было пол-пары, то-есть однодырочная.

— Четъ аль нечетъ? спросилъ онъ, загадывая.

— Пусть нечетъ, отвѣчалъ Семеновъ.

— Твое. Теперь ты.

Семеновъ загадалъ, но лишь только открылъ онъ ладонь, чтобы сосчитать, вѣрно-ли Хорь сказалъ «нечетъ», какъ хищный Хорь схватилъ костяжки и спряталъ ихъ себѣ въ карманъ.

— Что же это, Хорь? говорилъ Семеновъ.

— Я тебѣ Хорь?.. а въ ухо хочешь?

— Оплетохомъ, сказалъ одинъ изъ товарищей.

— Беззаконновахомъ, прибавилъ другой.

— И неправдовахомъ, заключилъ третій.

— Отдай, Хорь; право, отдай.

— Опять Хорь?.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

Семеновъ не сталъ болѣе разговаривать. Несчастный отошелъ въ сторону. Нигдѣ не было для него пріюта. Онъ вспомнилъ, что у него въ партѣ есть горбушка съ кашей. Семеновъ хотѣлъ позавтракать, но гор-

бушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновеніями съ товарищами, онъ обратился къ нимъ со словами:

— Господа, это подло наконецъ!

— Что такое?

— Кто взялъ горбушку?

— Съ кашей? отвѣчали ему насмѣшливо.

— *Стибрили?*

— *Сбондили?*

— *Сляпсили?*

— *Сперли?*

—*Лафа*, братъ!

Всѣ эти слова въ переводѣ съ бурсацкаго на человѣческій языкъ означали: «украли», а *лафа* — лихо!

— Комедо! раздался голосъ Тавли.

— Иду! было отвѣтомъ.

Семеновъ еще послѣ обѣда подслушалъ, что у Комеды съ Тавлей состоялся странный споръ на пари, и потому поспѣшилъ на голосъ Тавли, забывъ о своей горбушкѣ.

— Готово? спросилъ Комедо.

— Есть! отвѣчалъ Тавля и развязалъ узелъ, въ которомъ оказалось шесть трехкопѣечныхъ булокъ.

— Сожрешь?

— Сказано.

Толпа любопытныхъ обступила ихъ. Комедо былъ парень лѣтъ девятнадцати, высокаго роста, худощавый, съ старообразнымъ лицомъ, сгорбленный.

— Условія?

— Не стрескаешь — за булки деньги заплати, а стрескаешь—съ меня двадцать копѣекъ.

— Давай.

— Смотри, ничего не пить, пока не съѣшь.

UNIV OF CALIFO

Вмѣсто отвѣта Комедо сталъ уплетать бѣлый хлѣбъ, который такъ рѣдко ѣдятъ бурсаки.

— Разъ! считали въ толпѣ: — два, три, четыре....

— Ну-ка пятую...

Комедо улыбнулся и съѣлъ пятую.

— Хоть на шестой-то подавись!

Комедо улыбнулся и съѣлъ шестую.

— Прорва! говорилъ Тавля, отдавая двадцать копѣекъ.

— Теперь и напиться можно, сказалъ Комедо.

Когда онъ напился, его спрашивали:

— А еще можешь съѣсть что-нибудь?

— Хлѣба съ масломъ съѣлъ бы.

Достали ломоть хлѣба и масла достали.

— Ну-ка попробуй!

Онъ съѣлъ.

— А еще?

— Горбушку съ кашей съѣлъ бы.

Добыли и горбушку. Его кормили изъ любопытства. Онъ съѣлъ и горбушку.

— Эка тварь!... Куда это лѣзетъ въ тебя, животина ты эдакая! Скотъ? Какъ ты не лопнешь, подлецъ?

— А что брюхо? спросилъ кто-то.

— Тугое, отвѣчалъ Комедо, тупо глядя на всѣхъ.

— Очень?

— Пощупай.

Стали брюхо щупать у Комеды.

— Ишь ты, стерва!... какъ барабанъ!...

— А что, два фунта патоки съѣшь?

— Съѣмъ.

— А четыре миски каши?

— Съѣмъ...

— А пять рѣдекъ?

— А четыре ковша воды выпьешь?

— Не знаю... не пробовалъ... Я спать хочу...

Комедо отправился въ Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески...

Между тѣмъ Тавля, накормивъ на свой счетъ Комеду, по обыкновенію озлился. Одному изъ первокурсныхъ попала отъ него затрещина, другому онъ загнулъ салазки, третьему сдѣлалъ смазь. Гороблагодатскій видѣлъ это и въ душѣ называлъ Тавлю скотиной. Потомъ Тавля посмотрѣлъ на игру въ *скоромные*. Васенда наводилъ: онъ выставляетъ руку на партѣ, а Гришкецъ со всего маху ладонью бьетъ его по рукѣ. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкецъ далъ промахъ: тогда уже будетъ подставлять руку Гришкецъ. Это Тавлю не развлекло.

— Не *саданутъ* ли въ *постные*? пробормоталъ онъ.

Онъ сталъ оглядываться, желая узнать, не играютъ ли гдѣ въ постные.

— А, вонъ гдѣ! сказалъ онъ, отыскавъ то, что требовалось.

Около заднихъ партъ, подлѣ Камчатки, собралось человѣкъ восемь. Одинъ изъ нихъ, положивъ голову на руки, такъ что не могъ видѣть окружающихъ, наводилъ: спина его была открыта и выпячена впередъ. Поднялись надъ спиной руки и съ трескомъ опустились на нее. Къ ударамъ другихъ присоединился и ударъ Тавли. По силѣ удара наводившій догадался, чей онъ былъ...

— Тавля ударилъ, сказалъ онъ.

Тавля легъ подъ удары.

Гороблагодатскій между тѣмъ направлялся правымъ

плечомъ впередъ, по медвѣжьи, къ той же кучкѣ. Увидѣвъ что Тавля наводитъ, онъ присоединился къ играющимъ.

Ударили Тавлю.

— Хлестко! говорили въ толпѣ.

— Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!

— Кто ударилъ?

— Ты.

— Вали его... вали снова!...

Тавля наклонился...

— Взбутетень его!

— Взъерепень его!

— Чтобъ насквозь прошло!

Трехпудовой ударъ упалъ на спину Тавли.

— Гороблагодатскій, сказалъ Тавля, едва переводя духъ...

— Растянуть его снова!

Опять повторился сильный ударъ...

— Бенелявдовъ, указалъ Тавля.

— Вали еще!..

— Что жъ, братцы, эдакъ убить можно человѣка...

— Зачѣмъ мало каши ѣлъ?

— Жарь ему въ становой.

Опять сильный ударъ и опять не угадалъ Тавля.

— Что жъ это, братцы?.. убить что ли хотите?

— Значитъ любимъ тебя, почитаемъ, сказалъ Гороблагодатскій.

— Братцы, я не лягу... что же такое!.. другихъ такъ не бьютъ...

— А тебя вотъ бьютъ!

— Жилить?

— Вздуемъ!

— Морду расквашу! сказалъ Гороблагодатскій.

— Братцы...

— Ну! крикнулъ грозно Бенелявдовъ.

Тавля угадалъ наконецъ... Игроки захохотали, когда онъ сказалъ:

— Я не хочу больше играть...

— Отчего же, душа моя? спросилъ Гороблагодатскій.

Тавля взглянулъ на него съ ненавистью, но, не сказавъ ни слова, удалился потѣшаться надъ первокурсными... Кучка продолжала игру въ постные. Но вдругъ одинъ изъ играющихъ поднялъ носъ и понюхалъ воздухъ.

— Кто это? спросилъ онъ.

Поднялись носы и другихъ игроковъ. Потомъ всѣ подозрительно посмотрѣли на Хорька.

— Ей Богу, братцы, не я... вотъ те Христосъ, не я... хоть обыщите...

— Чичеръ!.. провозгласилъ Гороблагодатскій.

Человѣкъ десять вцѣпились Хорьку въ волоса, а одинъ изъ нихъ запѣлъ:

— Чичеръ, ячеръ, собирайтесь на-вечеръ; кто не былъ на пиру, тому волосы деру; съ кровью, съ мясомъ, съ печенью, перепеченью. Кочена иль пирога?

— Пирога, пищалъ Хорь...

— Не проси пирога, мука дорога. Чичеръ, ячеръ, на-вечеръ; кто не былъ на пиру, тому волосы деру; съ кровью, съ мясомъ, съ печенью, перепеченью... Кочена иль пирога?

— Кочена.

Снова почали, и опять пропѣли «чичеръ»...

— Кокъ или вилки въ бокъ?

— Кокъ! отвѣчалъ истасканный Хорь.

Послѣ этого, отпустивъ въ его голову нѣсколько щелчковъ, отпустили его съ миромъ, говоря:

— Не безчинствуй!..

— Черти эдакіе! отвѣчалъ Хорь: — я въ другой разъ еще не такъ!

Семеновъ, видя, какъ таскали Хоря, шепталъ:

— Такъ и надо, такъ и надо!

Но Гороблагодатскій схватилъ Семенова сзади и положилъ на парту вмѣсто того, кто долженъ былъ наводить; съ другой стороны придержали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшіе удары. Онъ шатался, когда поднялся. Не его спинѣ было переносить такую тяжесть здоровыхъ ладоней. Осмотрѣлся онъ безсмысленно кругомъ. Кто билъ? за что? Семеновъ упалъ на парту и зарыдалъ. Темнѣло въ классѣ; еще нѣсколько минутъ, и зги не увидишь.

— Братцы, заговорилъ Семеновъ опомнившись: — зачто вы меня ненавидите?... всѣ!.. всѣ!..

Голосъ его былъ заглушенъ хоровою пѣсней. Сумерки развивались быстро; едва можно разсмотрѣть лица; цвѣта и линіи пропадаютъ въ воздухѣ, остаются одни звуки.

Семеновъ пробрался къ окну и съ гнетущей тоской и злобой на сердцѣ смотрѣлъ на непривѣтливый дворъ въ непроглядную тьму зимняго сквернаго вечера. Припомнилась ему родная семья. Отецъ давно уже всталъ отъ послѣобѣденнаго сна; добрая мать, которой онъ былъ любимцемъ, вноситъ теперь самоваръ въ гостиную; братъ и двѣ сестренки уже около стола, щебечутъ и смѣются; звенятъ чайныя ложки и блюдца, и легкій паръ идетъ отъ живительной влаги. «Домой-бы теперь!..» Онъ закрылъ лицо руками, прислонился къ стеклу и опять зарыдалъ... Но вдругъ плачъ его пре-

сѣкся... Ужасъ напалъ на него, и онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ. Страшна такая жизнь, какую онъ испыталъ сегодня. Онъ забылъ физическую боль тѣла, лишь только въ груди залегло что-то и мѣшало дышать. Отупѣлъ онъ отъ страха, и неотразимо-ясно представилось ему: «отверженецъ!.. тебя всѣ ненавидятъ! и даже предвидѣть нельзя, что съ тобой сдѣлаютъ! быть можетъ, сейчасъ ударятъ въ спину, вырвутъ клокъ волосъ изъ головы, плюнутъ въ лицо...» Въ классѣ совершенно темно, потому что начальство изъ экономическаго разсчета зажигало лампу только въ часы занятій. Въ этой темнотѣ могутъ сдѣлать съ нимъ что угодно, и не узнаешь, кто надъ тобой сорветъ гнѣвъ свой и отомститъ за товарищество. «Не буду больше», прошепталъ онъ, и не было тѣни злобы въ его душѣ. «Того и стою!» прокрадывалось въ его сознаніи. Онъ желалъ примириться съ товариществомъ и душевно просилъ пощады. Онъ уже ненавидѣлъ начальство, сдѣлавшее его фискаломъ, и готовъ былъ самъ вырвать клокъ волосъ изъ головы того товарища, который займетъ его мѣсто. Семеновъ рѣшился просить у всего класса прощенія и публично отказаться отъ шпіонства. Но вдругъ онъ услышалъ, что будто кто-то крадется къ нему; онъ въ страхѣ поспѣшно оставилъ окно и неизвѣстно куда скрылся въ темнотѣ.

Въ классѣ такъ темно, что за два шага не распознать лица человѣческаго. Всякія игры прекращались въ эти часы и бурсакъ могъ развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатлѣніе было дико...

Звуки мѣшаются и переплетаются. Раздается крикъ какого-то несчастнаго, которому вѣроятно *въѣхали въ загорбокъ;* слышенъ напѣвъ на «*Господи воззвахъ, гласъ*

осьмый»; вырывается изъ концерта патетическая нота въ *верхнее re;* кого-то еще треснули по рожѣ: у печки поютъ: «отроцы семинарстіи, посредѣ кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадимъ, тебѣ деньги отдадимъ»; слышенъ плачъ; *грегочетъ* какая-то тварь, т. е. ржетъ по-лошадиному, выдѣлывая «и-и-го-го-го-го!» Ругань виситъ въ воздухѣ, крики и хохотъ, козлоглагольствуютъ, грегочутъ и поютъ на гласы и вкушаютъ затрещины. Въ Камчаткѣ, подъ управленіемъ заматорѣлаго Митахи, хранителя училищныхъ преданій, поется стихъ, сложенный еще аборигенами бурсы:

Сколь блаженны тѣ народы,
Коихъ крѣпкія природы
Не знали нашихъ мукъ,
Не вѣдали наукъ?

Тутъ въ столовую заглянешь,
Щей негодныхъ похлебаешь
Опять въ свой классъ идешь,
Идешь, хоть и вопешь...

Тутъ архангелы подскочатъ,
Изъ-за парты поволочатъ,
Давай раба терзать,
Лозой его стегать...

Бѣдняги! не даромъ же такъ дико въ вашемъ классѣ. Васъ волочатъ, терзаютъ, стегаютъ!.. Сочувственно подстаютъ къ голосу Митахи голоса его товарищей. Къ сожалѣнію, конецъ пѣсни, которая пѣлась какимъ-то замогильнымъ, грустнымъ напѣвомъ, забылся и не дошелъ до насъ...

Въ другомъ мѣстѣ слышно:

На поповой-то на дачѣ
Мужичокъ ѣдетъ на клячѣ,
Хлибушку везе,
Хлибушку везе.

Мужичье къ возью бѣжали,
Кулачьемъ въ возье совали:
— Ще, бра, продаешь?
Ще, бра, продашь?

Имъ сказали, що овесъ;
Мужикъ вынулъ да потресъ
На горсти своей,
На горсти своей.

Еще слышно:

А какъ взяли козла
Поперегъ живота,
Какъ ударили козла
О сырую мать землю;

Его ноженьки
При дороженьки,
Голова его, языкъ
Подъ колодою лежитъ...

Послѣ каждаго двустишія припѣвалось:

Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли

и потомъ повтореніе второго стиха.

А вотъ и еще отрывокъ:

Любимцы.... Аполлона
Сидятъ безпечно in caupona.
Ѣдятъ селедки, vinum пьютъ
И Вакху дифирамбъ поютъ
«О, какъ ты силенъ, добрый Вакхъ!
«Мы tuum regnum чтимъ въ мозгахъ.
«Dum caput nostrum посѣщаешь;
«Оттуда curas выгоняешь,
«Блаженство въ наши льешь сердца
«И dignus domini отца.
«Мы любимъ Феба, любимъ музъ:
«Они съ богами насъ равняютъ,
«Они путь къ счастью пролагаютъ,

«Они даютъ намъ лучшій вкусъ;
«Sed ommes haec плоды ученья
«Conjunctae sunt всегда съ томленьемъ...
«Давно-бъ нашъ юный цвѣтъ увялъ,
«Когда-бъ ты насъ не подкрѣплялъ!»

Восьмипѣсенная «Семинаріада» составлена давно и переходитъ по преданію отъ одного поколѣнія къ другому. Въ мѣстныхъ пѣсняхъ и стихахъ отразилось, какъ товарищество смотрѣло на науку и на своихъ начальниковъ...

Изъ общаго же всѣмъ репертуара пѣвались здѣсь либо жестокіе романсы: «Стонетъ сизый голубочекъ», «Ночною темнотою», «Я, бѣдная пастушка», «Ужь солнце зашло вверхъ, горя» и т. п., либо чисто народныя пѣсни: «Ахъ вы сѣни», «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», «Какъ за рѣченькою, какъ за быстрою», «Полно, полно намъ, ребята, чужо пиво пити» и т. п.

Но вотъ какой-то отпѣтый возглашаетъ еще стихъ домашняго издѣлія:

Въ девятомъ часу по утрамъ,
Лишь лампы блеснутъ на стѣнахъ,
Мужикъ Суковатовъ несется,
Несется въ личныхъ сапогахъ...

Повисли въ воздухѣ хохотъ, остроты и крѣпкая ругань противъ начальства... Опять какая-то шельма грегочетъ... десятеро загреготали... двадцать человѣкъ... счету нѣтъ... Появились лай, мяуканье и кряканье, свистъ и визгъ... Ко всей этой ерундѣ присоединилась голосовъ въ сорокъ бурсацкая *разноголосица:* участвующіе въ ней разбираютъ между собою всѣ тоны, употребляемые въ пѣніи и всѣ ноты берутъ сразу. Между тѣмъ сырость и холодъ пронимаютъ приходчину до костей; благимъ матомъ затягивается: «холодно,

холодно!» — это призывный къ согрѣванію звукъ, послѣ котораго ученики начинаютъ махать руками на подобіе тому, какъ грѣются извозчики, и стонутъ — душу надрываютъ: «холодно, холодно!» — «Домового ли хоронятъ, вѣдьму-ль замужъ выдаютъ?» — Пастей во сто вырабатывается безшабашный гвалтъ и все это совершается въ непроглядной темнотѣ. Если-бы привести въ классъ свѣжаго человѣка, не слыхавшаго стенаній бурсака, онъ подумалъ бы, что это грѣшныя души воютъ въ аду. Грегочутъ, тянутъ «холодно», дуютъ разноголосицу во всѣ ноты; въ вопіющихъ и взывающихъ звукахъ ростутъ-разростаются голоса и отдаются дрожью въ оконныхъ стеклахъ... Существуетъ ли на свѣтѣ еще какой-нибудь нелѣпый звукъ, который не отыскался бы въ этой массѣ крика, пѣнья и гудѣнья! Но вотъ что-то новое зарождается въ душномъ, промозгломъ воздухѣ кромѣшнаго класса; что-то встало надъ всѣми головами. Заслышали товарищи знаменитый громадный басъ Великосвятскаго, гласящаго «благоденственное и мирное житіе»: съ неудержимою силою оглушаются товарищи послѣдними словами: «благополучно нынѣ почивающему на лаврахъ курсу многая лѣта!» — На необъятной нотищѣ разрѣшается послѣдній звукъ... Въ одно мгновеніе, точно по одному темпу, смолкли всѣ... Товарищество наслаждается; оно страстно любитъ крѣпкій звукъ... Но минута — и стоголосое «многая лѣта!» отвѣчало басу... Надо замѣтить, что товарищество уважало, кромѣ отпѣтыхъ, потомъ силачей, потомъ головъ, выносящихъ многоградусный хмѣль, — уважало и обширныхъ басовъ. Бурса любитъ хорошіе голоса, бережетъ ихъ, лелѣетъ, выручаетъ изъ всякой бѣды. Ученики еще дома привыкли пѣть въ церкви, славить Христа, служить

панихиды и молебны, читать часы и апостолъ, отчего у нихъ развиваются голоса и любовь къ пѣнію. Въ училищахъ часто бываютъ превосходные пѣвческіе хоры. Около Великосвятскаго слышно одобреніе.

— Господа, концертъ! предложилъ кто-то.

— «На рѣкахъ вавилонскихъ».

— Да нотъ нѣтъ!..

— На память!

— Зови маленькихъ пѣвчихъ.

Черезъ нѣсколько минутъ поется концертъ. Ни одного дикаго звука нѣтъ въ классѣ. Дисканты плачутъ дѣтскими голосами; басъ, какъ подавленная сила, гудитъ и сдержанно ропщетъ; слышенъ крикъ вавилонянина: «воспойте намъ отъ пѣсней сіонскихъ!» чудится, какъ въ гнѣвѣ и нетерпѣніи топаетъ ногами грозный деспотъ... «Како воспоемъ на землѣ чуждей пѣснь господню?» отвѣчаютъ плачущіе, робкіе голоса дѣтей; женскія слезы слышны въ грудныхъ дискантахъ. Высокими, тихими и страстными нотами восходитъ плачъ и наконецъ переходитъ въ сильные, грозные голоса: «дщи вавилоня, окаянная! блаженъ, кто возьметъ твоихъ младенцевъ и расшибетъ ихъ головы о камень?»

Послѣ концерта все стихло. Ученики, укрощенные на время стройнымъ пѣніемъ, разсказываютъ другъ другу сказки, вспоминаютъ каникулы, толкуютъ о начальствѣ и товариществѣ. Изрѣдка кого-нибудь треснутъ по шеѣ. Митаха, хранитель преданій, поетъ заунывнымъ голосомъ:

А какъ взяли козла.
Поперегъ живота...

Но ученики не долго сидѣли скромно и тихо.

— Приходчину дуть! раздался чей-то голосъ.

— Идетъ! отвѣчаютъ на голосъ.

Собирается партія человѣкъ двадцать и ноябрьскимъ вечеромъ крадутся черезъ дворъ, въ классъ приходскихъ учениковъ. Приходчина, тоже сидящая въ сѣни смертнѣй, ничего не ожидала. Второуѣздные, сдѣлавши набѣгъ, разсыпались по классу, бьютъ приходчину въ лицо, загибаютъ ей салазки, дѣлаютъ смази, разсыпаютъ постные и скоромные швычки и подзатыльники. Кто бьетъ? за что бьетъ? чортъ ихъ знаетъ и чортъ ихъ носитъ!.. Плачъ, вопль, избіеніе младенцевъ! На партахъ и подъ партами уничтожается горезлосчастная приходчина. Больно ей. Въ этихъ дикихъ побіеніяхъ приходчины, совершаемыхъ въ потемкахъ, выражалась съ одной стороны какая-то нелѣпая удаль: «раззудись плечо, размахнись кулакъ!» а съ другой стороны — «трепещи, приходчина, и покоряйся!» Впрочемъ, въ такихъ случаяхъ большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалять, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что въ твоихъ [illegible]кахъ пищитъ что-то живое, страдаетъ и проситъ пощады,—и все это дѣлается не изъ мести, не изъ вражды, а просто изъ любви къ искусству. Натѣшившись вдоволь и всласть, рыцари съ торжественнымъ хохотомъ отправляются во-свояси. Истрепанная приходчина охаетъ и щупаетъ бока свои.

Когда рыцари вернулись въ классъ, тамъ шла новая забава.

— Мала куча! кричало нѣсколько человѣкъ.

Среди класса, въ темнотѣ, шла какая-то возня — не то игра, не то драка... Смѣхъ и брань раздавались оттуда.

Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали

«мала куча», то это значило, что кого нибудь повалили на полъ, на этого другого, потомъ третьяго и т. д. Упавшимъ не даютъ вставать. Человѣкъ тридцать роются въ кучѣ, сплетаясь руками и ногами и тиская другъ другу животы. Успѣвшіе выбиться изъ кучи и встать на ноги стараются повалить другихъ, еще не упавшихъ на полъ, и постоянно раздается въ нѣсколько голосовъ:

— Мала куча!

Не окончилась еще эта возня, какъ затѣялась новая.

— Масло жать! кричали изъ угла у печки.

Слышно, какъ толпа пробирается въ уголъ, напираетъ и давитъ своею массою попавшихъ къ стѣнѣ, при крикахъ:

— Михалка, вали!

— Васенда, при!

— Работай, Шестиухая-Чабря...

— Тисни, Хорь, тисни!

Попавшіе къ стѣнѣ еле дышатъ, силятся выбиться наружу, а выбившись, въ свою очередь, жмутъ масло.

Но обѣ игры неожиданно прекратились... Раздался пронзительный, умоляющій вопль, который однако слышался не оттуда, гдѣ игралась «мала куча», и не оттуда, гдѣ «жали масло».

— Братцы, что это? братцы, оставьте!.. караулъ!..

Товарищи не сразу узнали, чей это голосъ... Кому-то зажали ротъ... вотъ повалили на полъ... слышно только мычанье... Что тамъ такое творится? Прошло минуты три мертвой тишины... потомъ ясно обозначился свистъ розогъ въ воздухѣ и удары ихъ по тѣлу человѣка. Очевидно, кого-то сѣкутъ. Сначала была мертвая тишина въ классѣ, а потомъ едва слышный шопотъ...

— Десять... двадцать... тридцать.

Идетъ счетъ ударовъ.

— Сорокъ... пятьдесятъ...

— А-я-яй! вырвался крикъ...

Теперь всѣ узнали голосъ Семенова и поняли, въ чемъ дѣло...

— Ты, сволочь, кусаться! — Это былъ голосъ Тавли.

— Ай, братцы, простите!.. не буду!.. ей Богу не буду...

Ему опять зажали ротъ...

— Такъ и слѣдуетъ, шептались въ товариществѣ...

— Не фискаль впередъ!..

Уже семьдесятъ...

Боже мой, наконецъ-то кончили!

Семеновъ рыдалъ сначала, не говоря слова... Въ классѣ было тихо, потому что всячески совершилось дѣло изъ ряду вонъ... Облегчившись нѣсколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семеновъ, потерявъ всякій страхъ отъ обиды и позора, кричалъ на весь классъ:

— Подлецы вы эдакіе!.. Чтобы вамъ всѣмъ... — И при этомъ онъ прибавилъ непечатную брань.

— Полайся!

— На зло же разскажу все инспектору.... про всѣхъ...

Неизвѣстно отъ кого онъ получилъ затрещину и опять зарыдалъ на весь классъ благимъ воемъ. Нѣкоторые захохотали, но многимъ было жутко... отчего? потому что при подобныхъ случаяхъ товарищество возбуждалось сильно, отыскивало въ потемкахъ своихъ нелюбимцевъ и крѣпко било ихъ.

Между тѣмъ рыдалъ Семеновъ. Невыразимая злость на обиду душила его; онъ въ клочья разорвалъ чью-то попавшуюся подъ руку книгу, кусалъ свои пальцы, дралъ себя за волосы и не находилъ словъ, какими бы слѣдовало изругаться, на чемъ свѣтъ стоитъ. Измученный, избитый, изсѣченный, нѣсколько разъ въ продолженіи вечера оскорбленный и обиженный, онъ теперь совершенно одурѣлъ отъ горя. Жалко и страшно было слышать, какъ онъ шепталъ:

— Сбѣгу... сбѣгу... зарѣжусь... жить нельзя!...

Надобно честь отдать товарищамъ; большая часть, особенно первокурсные, въ эту минуту сочувствовали горю Семенова. У нѣкоторыхъ были даже слезы на глазахъ — благо, темно, не замѣтятъ. Второкурсные храбрились, но и на нихъ напала тоска, смѣшанная со страхомъ. Всѣ понимали, что такое дѣло даромъ не пройдетъ и что великаго сѣченья должна ожидать бурса. Тихо было въ классѣ: лишь Семеновъ рыдалъ... Что-то злое было въ его рыданіяхъ... но вотъ онѣ вдругъ прекратились и настала мертвая тишина.

— Что съ нимъ? спрашивали ученики.

— Не случилось ли бѣды?

— Да живъ ли онъ?

— Братцы, закричалъ Гороблагодатскій, освидѣтельствовавъ парту, на которой сидѣлъ Семеновъ: — онъ пошелъ жаловаться!

— Опять фискалить! раздалось нѣсколько голосовъ.

Расположеніе товарищей мгновенно перемѣнилось; посыпалась на Семенова злая брань.

— Смотрите, не выдавать, ребята!

— Э, не рѣпу сѣять!.. слышались отвѣтные голоса.

— А ты какъ же, Тавля?

— Я скажу, что хотѣлъ заступиться за него и въ то время, какъ отдергивалъ отъ его рта чью-то руку, онъ и укусилъ мою.

— Молодецъ Тавля.

Однако Тавля дрожалъ, какъ осиновый листъ.

— А что цензоръ будетъ говорить? онъ долженъ донести, а то ему придется отвѣчать.

— А скажу, что меня не было въ классѣ — вотъ и все!

Въ это время раздался звонокъ, возвѣстившій часъ занятій. Отворилась дверь и въ комнату внесли лампу о трехъ рожкахъ. Отъ столбовъ полосами легли тѣни по классу и освѣтились неуклюжія здоровенныя парты, голыя и ржавыя стѣны, грязныя окна, — освѣтились угрюмымъ и непривѣтливымъ свѣтомъ.

Второкурсные собрались на первыхъ партахъ и вели совѣщанія о текущихъ событіяхъ. Начались занятія; но странно: не смотря на прежестокія розги учителей, по крайней мѣрѣ человѣкъ сорокъ и не думали взяться за книжку. Иные надѣялись получить въ нотатѣ хорошую отмѣтку, подкупивъ авдитора взяткой; иные думали безпечно: «авось-либо и такъ сойдетъ!» а человѣкъ пятнадцать, на заднихъ партахъ, въ Камчаткѣ, ничего не боялись, зная, что учителя не тронутъ ихъ: учителя давно махнули на нихъ рукой, испытавъ на дѣлѣ, что никакое сѣченье не заставитъ ихъ учиться; эти счастливцы готовились къ исключенію и знать ничего не хотѣли. Лѣнь была развита въ высшей степени, а отсутствіе всякой дѣятельности во время занятныхъ часовъ заставило ученика выработать тотъ элементъ училищной жизни, который извѣстенъ подъ именемъ школьничества, элементъ, общій всякому воспитательному заведенію, но который здѣсь,

какъ и все въ бурсѣ, является въ оригинальныхъ формахъ.

Сидящіе въ Камчаткѣ пользовались нѣкоторыми привилегіями; на ихъ шалости цензоръ, наблюдающій тишину и порядокъ, смотрѣлъ сквозь пальцы, лишь бы не шумѣли камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы развлекались, какъ умѣли. Гришкецъ толкаетъ Васенду и шепчетъ «слѣдующему», Васенда толкаетъ Карася, Карась Шестиухую-Чабрю, передавая то же слово; этотъ передаетъ дальнѣйшему, толчекъ переходитъ на другую парту, потомъ на третью и такъ перебираетъ всѣхъ учениковъ. Вонъ Комедо, объѣвшись, спитъ, а Хорь, нажевавъ бумаги, сдѣлалъ комокъ, который называется *жевкомъ*, и пустилъ его въ лицо спящаго товарища. Комедо проснулся и пишетъ къ Хорю записку: «послѣ занятія тебѣ я спину сломаю, потому что не приставай, если къ тебѣ не пристаютъ», и опять засыпаетъ. Записокъ много пересылается по комнатѣ; въ одной можно читать: «дай ножичка или карандаша», въ другой: «эй, Рабыня! (прозвище ученика) я ужо съ тобой на маткахъ въ чехарду»; въ третьей: «пришли, дружище, табачку понюшку, послѣ ей Богу отдамъ»; а вотъ Хитоновъ получилъ безъимянную ругательную записку: «ты, Хитоновъ, рыжій, а рыжій, красный—человѣкъ опасный; рыжій пламенный сожогъ домъ каменный». Отвѣты и требуемыя вещи идутъ по той же почтѣ. Дѣти развлекаются по мѣрѣ возможности. Многіе корчатъ гримасы, ловятъ носъ языкомъ, косятъ глаза, пялятъ ротъ пальцами, показывая искривленное лицо другимъ или разсматривая его въ трехкопѣечное зеркальцо. Плюнь умѣетъ корчить рожи на номера: онъ высунулъ языкъ въ лѣвую сторону, носъ подперъ пальцемъ къ правой

щекѣ, глаза выпучилъ, щеки отдулъ—это номеръ пятый. Всѣхъ номеровъ двѣнадцать. Авдиторъ, по прозванью Богиня, жуетъ резину, третій день не выпуская ее изо рта; она скоро превратится въ мягкую массу; потомъ надо надуть ее воздухомъ, сжать пальцами, вслѣдствіе чего образуется пузырекъ; пузырькомъ великовозрастный ударитъ себя по лбу и услышитъ легкій трескъ; чтобы насладиться такимъ счастіемъ, онъ работаетъ усердно, не щадя своихъ челюстей, а когда устанетъ, то даетъ пожевать подъавдиторному. Мямля сдѣлалъ панораму изъ конфектныхъ картинокъ и любуется ею цѣлый часъ и въ сотый разъ; у него же изъ билетиковъ отъ леденцовъ сдѣланъ оракулъ: по леденечнымъ билетикамъ красны дѣвицы гадаютъ о женихахъ, а онъ, — вспорютъ его завтра, или нѣтъ. Сосѣдъ его сдѣлалъ *пильщика*, т. е. деревянную куклу съ пилою, и отыскавъ равновѣсіе, поставилъ ее на краю парты и заставляетъ качаться. Чеснокъ запихнулъ себѣ въ носъ нитку, потомъ сильнымъ дыханіемъ воздуха проводитъ ее въ ротъ, и передергивая нитку взадъ и впередъ, показываетъ эту штуку своему *закоперщику* (другу) Мямлѣ. Одинъ великовозрастный камчадалъ оттачиваетъ перочинный ножъ и потомъ брѣетъ верхнюю губу и щеки. Выбрившись, онъ начинаетъ долбить въ партѣ ящичекъ. Другой великовозрастный дѣлаетъ цѣпочку изъ сутуги. Третій великовозрастный свернулъ бумагу въ тонкую трубочку и щекочетъ ею себѣ въ носу; рожа его сморщилась, онъ чихнулъ громко и ему весело. Двое камчадаловъ учатся иностраннымъ языкамъ; одинъ говоритъ: «херъ-я, херъ-ни, херъ-че, херъ-го, херъ-не, херъ-зна, херъ-ю, херъ-къ зав, херъ-тро, херъ-му»; слѣдуетъ лишь вставить послѣ каждаго слога «херъ» и выйдетъ не по-русски, а по херамъ. Дру-

гой отвѣчаетъ ему еще хитрѣе: «ши-чего не-цы, шийся не бо-цы, т. е., «ничего не бойся». Это опять не по-русски, а *по ши-цы*; здѣсь слово дѣлится на двѣ половины, напримѣръ: розга, въ послѣдней прибавляется *ши* и произносится она сначала, а къ первой *цы* и произносится она послѣ; выходитъ *ши-зга ро-цы*. Пентюхъ на послѣдней партѣ занимается типографскимъ искусствомъ: онъ слюнитъ кость на суставѣ пальца, прикладываетъ суставъ на печатную бумагу въ учебникѣ и потомъ вырываетъ ее; снявши букву съ пальца, онъ переводитъ ее на бумагу; такимъ образомъ печатается какое нибудь слово. Подъ послѣдними партами улеглись на постланныя на полъ шубы человѣкъ пять и разсказываютъ сказки и побывальщины. На многихъ скучное, монотонное, безъ всякаго содержанія занятное время нагнало непобѣдимый сонъ; спятъ на пятой партѣ, спятъ на седьмой, спятъ на двѣнадцатой, спятъ подъ партами. Такъ камчатники и второкурсные, приготовившіе уроки, проводятъ занятные часы. Веселая жизнь!

Но только записные, безнадежные лѣнтяи, готовящіеся получить титулку, пользовались правомъ развлекаться въ занятные часы. Кромѣ ихъ было еще много лѣнтяевъ, кандидатовъ въ камчадалы, но еще не камчадаловъ. Провожденіе времени этими учениками было еще безцвѣтнѣе. Они тоже развлекались по своему, но такъ какъ имъ необходимо было притворяться, будто они дѣло дѣлаютъ, то и развлеченія ихъ были другія. Цапля со всеусердіемъ пишетъ что-то; со стороны посмотрѣть, онъ прилежнѣйшій ученикъ, а между тѣмъ онъ вотъ что дѣлаетъ: напишетъ цифру, подъ ней другую, потомъ умножитъ ихъ; подъ произведеніемъ опять подпишетъ первую цифру, опять умно-

жить числа и т. д. работаетъ. желая узнать, что изъ этого выйдетъ. Порося придавитъ глазъ пальцемъ и любуется, какъ передъ нимъ двоятся и троятся предметы; потомъ затыкая и оттыкая уши, слушаетъ жужжанье и легкій говоръ въ классѣ, какъ оно прерывающимися звуками отдается въ его ушахъ; а не то онъ приставитъ ухо къ партѣ и разсуждаетъ, отчего это черезъ дерево усиливается звукъ. Одинъ первокурсный защипываетъ себѣ руку, желая пріучить ее хоть къ тепленькимъ щипчикамъ. Другой завязалъ конецъ пальца ниткой и любуется на затекшійся кровью палецъ. Третій насасываетъ руку до крови... Изобрѣтаютъ самыя пустыя и, кажется, не интересныя занятія, напримѣръ прислушиваются, какъ бьется пульсъ; заберутъ въ легкія воздуху и усиливаются какъ можно дольше удержать его въ груди; задаютъ себѣ задачу— не мигнуть ни разу, пока не сосчитаютъ тысячу, сбиваютъ слюну во рту и потомъ выплевываютъ на полъ, читаютъ страницу сзаду напередъ и притомъ снизу вверхъ, положатъ натаскать изъ головы сотню волосъ и натаскаютъ; кто болтаетъ ногами, кто ковыряетъ въ носу, перемигиваются, передаютъ другъ другу разные знаки, руками выдѣлываютъ разные акробатическія штуки... Иной сидитъ, положивъ голову на ладони, и смотритъ въ воздухъ безпредметно: онъ мечтаетъ о матери, сестрахъ, о сосѣднемъ садѣ помѣщика, о прудѣ, въ которомъ ловилъ карасей... и урокъ ему нейдетъ на умъ. Нѣкоторые, зажмуривъ глаза и стараясь попасть пальцемъ въ палецъ, гадаютъ, будетъ ли сѣчь завтра учитель или нѣтъ, и когда выходитъ — будетъ, то соображаютъ, гдѣ бы взять денегъ въ долгъ, чтобы подкупить аудитора, а за книжку и не думаютъ браться. Иные сидятъ обезсмыслѣвши и млѣютъ въ тоскѣ не-

исходной, ожидая, скоро ли пройдутъ три узаконенныхъ часа и ударитъ благодатный звонокъ, возвѣщающій ужинъ, тупо глядя на тускло-горящую лампу. У этихъ бурсаковъ не хватаетъ силы воли взяться за урокъ. Но что это значитъ? спроситъ читатель: неужели занимательнѣе читать страничку снизу вверхъ, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые для развлеченія, нежели сверху внизъ?.. Да пожалуй что и занимательнѣе. Не даромъ же сложилась въ бурсѣ пѣсня, которая говоритъ, что «блаженны народы, невѣдающіе наукъ», что нужно имѣть «крѣпкую природу» для училищныхъ «мукъ», что ученикъ, идя въ классъ, «воетъ», онъ «рабъ», его «терзаютъ». Пѣсня, переходящая отъ поколѣнія къ поколѣнію, не даромъ сложилась:

Главное свойство педагогической системы въ бурсѣ —это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникала въ кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступленіемъ. Ученики, сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смысла: «стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ потомъ постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока на вѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика «стыдъ и срамъ». Сильно мучился воспитанникъ во время урока, такъ что ученье здѣсь является физическимъ страданьемъ, которое и выразилось въ пѣснѣ: «сколь блаженны тѣ народы». При глухой долбнѣ, замѣчательны въ училищной наукѣ возраженія. Педагоги получали воспитаніе схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, остріемъ священной хріи вскормлены, воспитаны тою философіей, которая учитъ: «всѣ люди смертны, Кай — человѣкъ, слѣдовательно Кай

смертенъ», или, что «всѣ люди безсмертны, Кай — человѣкъ, слѣдовательно Кай безсмертенъ», что «душа соединяется съ тѣломъ по однажды установленному закону», что «законы тожества и противорѣчія неукоснительно вытекаютъ изъ нашего *я* или изъ нашего самосознанія», что «гдѣ является свѣтъ, тамъ уничтожается тьма», что «смиреніе есть источникъ всякаго блага, а вольнодумство пагубно и зазорно» и т. п. Они упражнялись въ діалектикѣ, разрѣшая такіе напримѣръ вопросы: «Можетъ ли діаволъ согрѣшить?», «Сущность духа подлежитъ ли въ загробной жизни мертвенному состоянію?», «Первородный грѣхъ содержитъ ли въ себѣ, какъ въ зародышѣ, грѣхи смертные, произвольные и невольные?», «Что чему предшествуетъ: вѣра любви, или любовь вѣрѣ?» и т. п. Окончательно же окрѣпли ихъ мозги въ диспутахъ, когда они побѣдоносно витійствовали на одну и ту же тему pro и contra, смотря по тому, какъ прикажетъ начальство, при чемъ пускались въ дѣло всѣ сто формъ схоластическихъ предложеній, всѣ роды и виды софизмовъ и паралогизмовъ. Еще во время дѣтства у нихъ явилось расположеніе разрѣшать: «что такое сущность?» «что такое цѣлое?» «Спасется ли Сократъ и другіе благочестивые философы язычества, или нѣтъ?» и имъ очень хотѣлось, чтобы нѣтъ. Особенно же любили учителя доказывать, что человѣкъ есть существо безсмертное, одаренное свободно-разумной душою, царь вселенной, — хотя странно, въ дѣйствительной жизни, они едва ли не обнаруживали того убѣжденія, что человѣкъ есть ни болѣе ни менѣе, какъ безперый пѣтухъ. Все это слышалось въ возраженіяхъ педагоговъ. Ученикъ до боли въ вискахъ напрягалъ голову, когда приходилось разрѣшать великіе вопросы педагоговъ-философовъ, но, къ благо-

получію его, возраженія давались рѣдко и вообще считались ученою роскошью. Надъ всѣмъ царила всепоглощающая долбня... Что же удивительнаго, что такая наука поселяла только отвращеніе въ ученикѣ и что онъ скорѣе начнетъ играть въ плевки или продѣнетъ изъ носа въ ротъ нитку, нежели станетъ учить урокъ? Ученикъ, вступая въ училище изъ-подъ родительскаго крова, скоро чувствовалъ, что съ нимъ совершается что-то новое, никогда имъ не испытанное, какъ-будто предъ глазами его опускаются сѣти одна за другою, въ безконечномъ рядѣ, и мѣшаютъ видѣть предметы ясно; что голова его перестала дѣйствовать любознательно и смѣло и сдѣлалась похожа на какой-то препаратъ, въ которомъ стоитъ пожать пружину—вотъ ротъ раскрывается и начинаетъ выкидывать слова, а въ словахъ—удивительно!—нѣтъ мысли, какъ бывало прежде. Только ученики, соединившіе въ себѣ способность долбить со способностью отвѣчать на возраженія, никогда не задумывались надъ урокомъ. Но для этого надо было родиться *башкой*. Бывали удивительныя башки. Такъ нѣкто Свѣтозаровъ выучилъ изъ латинскаго лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы; начавъ съ «A, ab, abs», онъ отхватывалъ нѣсколько печатныхъ листовъ, не пропуская ни одного слова, и такой подвигъ былъ предпринятъ единственно изъ любви къ искусству. Но немногіе были способны къ училищнымъ работамъ; большинству онѣ давались трудно и лишь розги заставляли заниматься. Вонъ Данило Песковъ, мальчикъ умный и прилежный, но рѣшительно неспособный долбить слово въ слово, просидѣвъ надъ книгой два часа съ половиной, поводитъ помутившимися глазами... и что же?.. онъ видитъ, многіе измучились еще болѣе, чѣмъ онъ, многіе еще доканчиваютъ

свою порцію изъ учебниковъ, озабоченно вычитывая урокъ и поднявъ голову кверху, какъ поющія куры. Иные чуть не плачутъ, потому что невысокій балъ будетъ выставленъ противъ ихъ фамиліи въ нотатѣ. Одинъ, желая возбудить въ себѣ энергію, треплетъ самъ себя за волоса... Э, бѣдняга, хоть самъ-то пожалѣй себя! брось ты книгу подъ парту, либо наплюй въ нее— все равно, завтра твое тѣло будетъ страдать подъ лозами... Ступай-ка, дружище, въ Камчатку — тамъ легче живется; а дѣльныхъ знаній у камчатниковъ право не меньше, нежели у самаго закаленнаго башки. Ученикъ, вглядываясь въ измученныя долбнею лица товарищей, невольно спрашиваетъ себя: «зачѣмъ эти труды и страданія? къ чему эта возня съ утра до вечера надъ опротивѣвшимъ учебникомъ? развѣ мы не люди?» Среди такихъ размышленій выскочитъ безъ спросу, самъ собою, кончивъ урока и простучитъ всѣми словами въ головѣ. Подъ конецъ занятія у прилежнаго ученика голова измается; въ ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются онѣ, послушныя сцѣпленію идей, какъ это бываетъ съ человѣкомъ во снѣ. Не весела картина класса... Лица у всѣхъ скучныя и апатическія, а послѣдніе полчаса идутъ тихо и кажется конца не будетъ занятію... Счастливъ, кто уснуть съумѣлъ, сидя за партой: онъ и не замѣтитъ, какъ подойдетъ минута, возвѣщающая ужинъ.

Но вечеръ кончился очень занимательно. Минутъ за тридцать до звонка явился въ классѣ Семеновъ. Блѣдный и дрожащій отъ волненія, вошелъ онъ въ комнату и, потупясь, ни на кого не глядя, отправился на свое мѣсто. Занятная оживилась: всѣ смотрѣли на него. Семеновъ чувствовалъ, что на него обращены сотни любопытныхъ и злобныхъ глазъ, холодно было

у него на душѣ, и замеръ онъ въ какомъ-то окаменѣломъ состояніи. Онъ ждалъ чего-то. Минуты черезъ четыре снова отворилась дверь; среди холоднаго пара, ворвавшагося съ улицы въ комнату, показались четыре солдатскія фигуры — служителя при училищѣ; одинъ изъ нихъ былъ Захаренко, другой Кропченко—на нихъ была обязанность сѣчь учениковъ; двое другихъ, Цѣпка и Еловый, обыкновенно держали учениковъ за ноги и за голову во время сѣченія. Мертвая тишина настала въ классѣ... Тавля поблѣднѣлъ и тяжело дышалъ. Скоро явился инспекторъ, огромнаго роста и мрачнаго вида. Всѣ встали. Онъ, ни слова не говоря, прошелся по классу, по временамъ останавливаясь у партъ, и ученикъ, около котораго онъ останавливался, дрожалъ и трепеталъ всѣмъ тѣломъ... Наконецъ инспекторъ остановился около Тавли... Тавля готовъ былъ провалиться сквозь землю.

— Къ порогу! сказалъ ему инспекторъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Я... хотѣлъ было оправдываться Тавля.

— Къ порогу! крикнулъ инспекторъ.

— Я заступался за него... онъ не понялъ...

Инспекторъ былъ сильнѣе всякаго бурсака. Онъ схватилъ Тавлю за волосы и далъ ему трепку; потомъ наклонилъ его за волоса лбомъ къ партѣ, а другой рукой, кулакомъ, ударилъ ему въ спину, такъ что гулъ раздался отъ здороваго удара по крѣпкой спинѣ; потомъ, откинувъ Тавлю назадъ, инспекторъ закричалъ:

— Къ порогу!

Тавля послѣ этого не смѣлъ рта разинуть. Онъ отправился къ порогу, раздѣлся медленно, легъ на грязный полъ голымъ брюхомъ; на плеча и ноги его сѣли Цѣпка и Еловый...

— Хорошенько его! сказалъ инспекторъ.

Захаренко и Кропченко взмахнули съ двухъ сторонъ лозами; лозы впились въ тѣло Тавли, и онъ, дико крича, сталъ оправдываться, говоря, что онъ хотѣлъ заступиться за Семенова, а тотъ не понялъ, въ чемъ дѣло, и укусилъ ему руку. Инспекторъ не обращалъ вниманія на его вопли. Долго сѣкли Тавлю и жестоко. Инспекторъ съ сосредоточенной злобой ходилъ по классу, ни слова не говоря, а это былъ дурной признакъ: когда онъ кричалъ и ругался, тогда крикомъ и руганью истощался гнѣвъ... Ученики шопотомъ считали число ударовъ и насчитали уже восемьдесятъ. Тавля все кричалъ «не виноватъ!» божился Господомъ-Богомъ, клялся отцомъ и матерью подъ лозами. Гороблагодатскій злобно смотрѣлъ то на инспектора, то на Семенова; Семеновъ не понималъ самъ себя: и тѣни наслажденія местью не было въ его сердцѣ, онъ почти трясся всѣмъ тѣломъ отъ предчувствія чего-то страшнаго, необъяснимаго. Богъ знаетъ, на что бы онъ согласился, чтобы только не сѣкли Тавлю въ эту минуту. Тавля вынесъ уже болѣе ста ударовъ, голосъ его отъ крика началъ хрипнуть, но все онъ продолжалъ кричать: «не виноватъ, ей Богу не виноватъ... напрасно!» Но онъ долженъ былъ вынести полтораста.

— Довольно, сказалъ инспекторъ, и прошелся по комнатѣ. Всѣ ожидали, что будетъ далѣе.

— Цензоръ! сказалъ инспекторъ.

— Здѣсь, отозвался цензоръ.

— Кто еще сѣкъ Семенова?

— Я не знаю... меня...

— Что? крикнулъ грозно инспекторъ.

— Меня не было въ классѣ...

— А, тебя не было, скотъ эдакой, въ классѣ!.. Зав-

тра буду сѣчь десятаго, а начну съ тебя... — И тебя отпорю, сказалъ онъ Гороблагодатскому, — и тебя, сказалъ онъ Хорю. Потомъ инспекторъ указалъ еще на нѣсколько лицъ. Гороблагодатскій грубовато отвѣтилъ:

— Я не виноватъ ни въ чемъ...

— Ты всегда виноватъ, подлецъ ты эдакой, и каждую минуту тебя драть слѣдуетъ...

— Я не виноватъ, отвѣтилъ рѣзко Гороблагодатскій.

— Ты грубить еще вздумалъ, скотина? закричалъ инспекторъ съ яростью..

Гороблагодатскій замолчалъ, но все-таки, стиснувъ зубы, взглянулъ съ ненавистью на инспектора...

Выругавъ весь классъ, инспекторъ отправился домой. На товарищество напалъ паническій страхъ. Въ училищѣ бывали случаи, что не только сѣкли десятаго, но сѣкли поголовно весь классъ. Никто не могъ сказать навѣрное, будутъ его завтра сѣчь, или нѣтъ. Лица вытянулись; нѣкоторые были блѣдны; двое городскихъ тихонько отъ товарищей плакали: что, если по счету придешься въ спискѣ инспектора десятымъ?... Только Гороблагодатскій проворчалъ: «не рѣпу сѣять!» и остервенился въ душѣ своей, и съ наслажденіемъ смотрѣлъ на Тавлю, который не могъ ни стать, ни сѣсть послѣ экзекуціи, Гороблагодатскій намѣревался идти къ Семенову и избить его окончательно; онъ уже сказалъ себѣ: «семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ», но вдругъ лицо его озарилось новой мыслью, онъ злорадостно усмѣхнулся и проговорилъ:

— *Пфимфа!*

Семеновъ совершенно замеръ... Онъ былъ въ томъ состояніи, когда человѣкъ чувствуетъ, что надъ нимъ

поднятъ кулакъ, готовый упасть на его темя каждую минуту, и онъ каждую минуту ждетъ удара тяжелаго. Онъ былъ точно стиснутъ и сдавленъ со всѣхъ сторонъ... дышать почти нельзя... Черти, черти! какія минуты приходилось переживать бурсаку...

— Пфимфа! сказалъ Гороблагодатскій, подходя къ цензору, стали они шептаться...

Ударилъ звонокъ къ ужину. Сердца нѣсколько повеселѣли...

— Становись въ пары! закричалъ цензоръ...

Минуты черезъ двѣ ученики отправились въ столовую и, пропѣвши въ пятьсотъ голосовъ «Отче нашъ», принялись за скудную пищу... Когда толпа обратно валила изъ столовой, цензоръ подошелъ къ Бенелявдову и повторилъ загадочное слово:

— Пфимфа!

— Слѣдуетъ! отвѣтилъ Бенелявдовъ.

. . . . . .

«Уже въ обители священной
«Привратникъ заперъ крѣпко входъ
«И схимникъ въ кельѣ единенной
«На сонъ грядущій prssses чтетъ.
«Морфей на городъ сыплетъ маки,
«Заснулъ народъ мастеровой:
«Однѣ не дремлютъ лишь собаки
«Да кой-гдѣ вскрикнетъ часовой.
«Вторично пѣтухи кричали.
«Былъ ночи часъ; всѣ крѣпко спали.

Такъ «Семинаріада» описываетъ ночь...

Во второмъ этажѣ, по правую руку огромнаго училищнаго двора, помѣщаются 6, 7, 8, 9 и 10-й номера спаленъ. Эти спальни соединены между собою. Задній

отдѣлъ трехъ номеровъ носилъ названіе *Сапога*. Это были спальни своекоштныхъ; поэтому утромъ и вечеромъ, особенно въ первыя недѣли послѣ большихъ праздниковъ, въ Сапогѣ и другихъ двухъ комнатахъ открывался чисто обжорный рядъ. Сюда стекалось все училище; толпами переходили отъ одной кровати къ другой; изъ подъ-кроватей, числомъ до двухсотъ въ этихъ номерахъ, выдвигались сундуки, наполненные, кромѣ книгъ, разными съѣстными припасами. Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромные бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченые яблоки. Отъ этихъ припасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурные міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ зимою въ сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальныя свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькою и ѣдкою, и ко всему этому надо прибавить, что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какою-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистотъ. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать ученикъ, и повѣритъ ли кто, что большинство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало наконецъ способность чувствовать отвращеніе къ нему!.. Другая бѣда — холодъ былъ для ученика болѣе невыносимъ. Начальство печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромныя комнаты спаленъ, со столбами посрединѣ, какъ въ классахъ, слабо освѣщались, и темныя тѣни ложились полосами по кроватямъ. Ученики храпѣли и бредили; нѣкоторые во снѣ скрипѣли зубами.

Доскажемъ послѣднія событія зимняго вечера въ

бурсѣ. Изъ комнатъ Сапога неожиданно появилась фигура и отправилась въ уголъ девятаго номера; тамъ поднялись еще двѣ фигуры. Между ними начались совѣщанія:

— У тебя пфимфа? спрашивалъ одинъ.

— У меня.

— Давай сюда.

Всѣ три фигуры отправились въ уголъ и тамъ остановились около кровати Семенова... Одинъ изъ учениковъ держалъ въ рукахъ свертокъ бумаги, въ видѣ конуса, набитый хлопчаткою. Это и была пфимфа,—одно изъ варварскихъ изобрѣтеній бурсы. Державшій пфимфу босыми ногами подкрался къ Семенову. Онъ зажогъ вату съ широкаго отверстія свертка, а узкимъ осторожно вставилъ въ носъ Семенову. Семеновъ было сдѣлалъ во снѣ движеніе, но державшій пфимфу сильно дунулъ въ горящую вату; густая струя сѣрнаго дыма охватила мозги Семенова; онъ застоналъ въ безпамятствѣ. Послѣ второго, еще сильнѣйшаго дуновенія, онъ соскочилъ какъ сумашедшій. Онъ усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымомъ. Задыхаясь, онъ упалъ на кровать. Участники этого инквизиторскаго дѣла тотчасъ же скрылись. Слышалось глубокое храпѣнье Семенова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его замертво стащили въ больницу. Докторъ понять не могъ, что такое случилось въ Семеновымъ, а когда самъ Семеновъ очувствовался и получилъ способность говорить, то оказалось, что онъ самъ не помнитъ, что съ нимъ было. Начальство подозрѣвало, что враги Семенова что нибудь да сдѣлали съ нимъ, но розыскать ничего не могло. На другой день были многіе пересѣчены въ училищѣ и многіе напрасно..

БУРСАЦКІЕ ТИПЫ.

(ОЧЕРКЪ ВТОРОЙ.)

1862.

БУРСАЦКІЕ ТИПЫ.

Три часа утра. Въ спальнѣ, именуемой *Сапогъ*, все покоится. Слышится храпъ и легкій бредъ; нѣкоторые скрипятъ во снѣ зубами, чего терпѣть не могли бурсаки, и за что нерѣдко набивали ротъ скрипѣвшаго золою, съ цѣлью отучить отъ дурной привычки; иные стонутъ отъ прилившей крови къ головѣ и груди, а завтра разсказывать будутъ, какъ ихъ домовой душилъ. Только послѣ усиленнаго вглядыванья въ мракъ, наполняющій воздухъ *Сапога*, можно разсмотрѣть множество бурсацкихъ тѣлъ, брошенныхъ на кровати и покрытыхъ поверхъ одѣялъ шубами, халатами, накидками и обносками разнаго рода.

Въ углу кто-то поднялся, и на босую ногу, крадучись осторожно, началъ обходить кровати. Онъ останавливался изрѣдка тамъ и сямъ и потомъ продолжалъ путь далѣе. Это былъ училищный воръ, знаменитый нѣкогда Аксютка. Одинъ спящій юноша былъ покрытъ волчьей шубой. Въ той шубѣ много было паразитовъ, которые наконецъ доняли бурсака. Онъ разбросался, шуба свѣсилась на полъ, одной лишь половиной покрывая спящаго. Аксютка наклонился къ изголовью товарища, отыскалъ воротъ шубы, и сдернувъ ее съ бур-

сака въ одинъ мигъ, мгновенно скрылся. Искусанное тѣло окраденнаго горѣло огнемъ, прохладный воздухъ освѣжилъ его, и онъ, благодаря Аксюткѣ, уснулъ сладко и спокойно. Аксютка между тѣмъ успѣлъ запрятать шубу, впредь до распоряженія ею, послѣ чего отправился въ свой уголъ, гдѣ заснулъ невиннымъ сномъ праведника.

Четыре часа. Вошелъ Захаренко. (На немъ, кромѣ обязанности сѣчь учениковъ, лежала еще обязанность будить ихъ и возвѣщать колокольчикомъ начало и конецъ классовъ.) Онъ, проходя по рядамъ между кроватями, звонилъ яро надъ головами спящихъ направо и налѣво.

Ученики вскакивали, чесали бока и *овчину* на головѣ, отплевывались, зѣвали или крестили рты; иные тупо глядѣли, не понимая сразу, зачѣмъ ихъ будятъ въ такую рань, и опять тяжело падали на постели.

— Въ баню! въ баню!—провозглашалъ Захаренко.

— Эй, вы!.. И-го-го-го! загреготалъ кто-то.

Въ баню пускали по утрамъ ранымъ-раненько. Срамъ было днемъ выпустить въ городъ эту массу бурсаковъ, точно сволочь Петра-амьенскаго, грязныхъ, истасканныхъ, въ разнородной одеждѣ, никогда не ходившихъ скромно, но всегда съ нахальствомъ, присвистомъ и греготомъ, стремящихся разсыпать скандалы на всю окрестность. Въ продолженіе всей исторіи училищной жизни только и былъ одинъ случай, когда днемъ отпустили бурсаковъ въ баню, но послѣ начальство долго раскаявалось въ своемъ распоряженіи. Но объ этомъ послѣ.

— Живо! крикнулъ спальный старшій.

— Подымайся! кто-то заревѣлъ, неистовымъ, раздирающимъ уши и душу голосомъ.

— Грѣшныя тѣла мыть! отвѣчали еще неистовѣе.

Спальня *Сапога* наполнилась шумомъ. Скоро и охотно одѣвались бурсаки, потому что баня для учениковъ была чѣмъ-то въ родѣ праздника. Выдвигаются сундуки; у кого есть чистое бѣлье, связываютъ узлы; у кого есть деньжонки, запасаются грошами; всѣмъ весело потому что хоть разъ въ двѣ недѣли бурсаки подышатъ, свѣжимъ воздухомъ и увидятъ иныя, не казенныя лица, а главное — день бани для бурсака былъ днемъ разнообразныхъ промысловъ и похожденій.

— Въ пары! командовалъ старшій.

Установились въ пары.

— Маршъ!

Длинной вереницей отправились изъ спальни *Сапога*. На лѣстницѣ они повстрѣчали еще своекоштныхъ, къ хвосту ихъ пристало еще нѣсколько номеровъ; у воротъ ихъ ожидали номера казенныхъ учениковъ. Только городскіе остались въ училищѣ. Они ходили въ баню по субботамъ. Во главѣ ополченія стоялъ *Еловый*, солдатъ изъ училищной прислуги. Ему было поручено отъ начальства наблюдать порядокъ и тишину. Понятно, что порядка и тишины не могло быть подъ надзоромъ такого педагога, какъ солдатъ *Еловый*. Огромной змѣей извивались по мосткамъ паръ двѣсти слишкомъ, заворачивая изъ училищныхъ воротъ на монастырскій дворъ. Гвалтъ, смѣхъ и неприличныя остроты потрясли воздухъ святыни. Схимникъ *въ кельѣ единенной*, заслыша гудѣнье и шумъ мірской, усерднѣе и теплѣе сталъ молиться о грѣхахъ людского рода.

Ученикамъ повстрѣчался рыжій монастырскій сторожъ, до безобразія огромнаго роста. Сторожъ рѣдко упускалъ случай посмѣяться надъ бурсаками, когда

бурсаки шли въ баню, либо по праздникамъ въ городъ. Ученики насолили чѣмъ-то ему.

— А, вотъ и вшивая команда! сказалъ онъ проходившимъ мимо него ученикамъ.

— Блиномъ подавился! отвѣчали ему.

Ученикамъ извѣстно было, что сторожъ однажды на мясяницѣ, не сходя съ мѣста, съѣлъ семьдесятъ три блина и выпилъ четверть ведра *сиводеру*, то-есть водки.

— Отчего это лѣса вздорожали? спрашивалъ сторожъ.

— Тебѣ блины пекли.

— Черти! на порку вамъ пошло!

— Рыжій, да ты никакъ на конѣ? Али вправду такой длинный?

— Златорунный!

— Вѣха!

— Каланча!

На сторожа градомъ сыпались насмѣшки. Гдѣ жъ одному человѣку переговорить болѣе двухсотъ крѣпко острящихъ бурсаковъ? Онъ едва успѣлъ вставить свое слово:

— Слышь, паршивая команда, не воровать на базарѣ!

Въ него *Сатана* пустилъ комъ грязи. Сторожъ сталъ лаяться на чѣмъ свѣтъ стоитъ.

Когда проходили послѣднія паръ семьдесятъ, затѣялась оркестрованная брань.

— Блинъ, блинъ, запѣлъ кто-то.

Сторожъ не зналъ, что предпринять; голосу его не было слышно. Когда мимо его прошли всѣ, когда слово *блинъ* раздавалось далеко, онъ крикнулъ вслѣдъ утекающей бурсы:

— Сволочь отпѣтая! Всѣхъ васъ перепороть слѣдуетъ!

Издалека откуда-то едва слышно донеслось:

— Бли-н-нъ!

Старикъ плюнулъ; ударили въ колоколъ, онъ перекрестился набожно и пошолъ къ утрени.

Бурса двигалась, большинство правымъ плечомъ впередъ по базару. Городъ спалъ еще. Бурсаки разсыпали цѣлую серію скандаловъ. Собаки, которыхъ такое обиліе въ нашихъ святорусскихъ городахъ, ищутъ спозаранку, чѣмъ бы напитать свое животное чрево; бурсакъ не упуститъ случая и непремѣнно метнетъ въ собаку камнемъ. Шествіе ихъ знаменуется порчею разныхъ предметовъ, безъ всякаго смысла и пользы для себя, а просто изъ эстетическаго наслажденія разрушать и пакостить. Вонъ *Мехалка* раскачалъ тумбу, выдернулъ ее изъ земли и бросилъ на средину улицы. Хохочетъ, животное! Идутъ ученики мимо дома съ окнами въ нижнемъ этажѣ и барабанятъ въ рамы, нарушая мирный сонъ горожанъ. Старушка плетется куда-то и, повстрѣчавшись съ бурсой, крестится, спѣшитъ на другую сторону улицы и шепчетъ:

— Господи! да это никакъ бурса тронулась!

Хорошо, что она догадась перейдти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сдѣлать ей *смазъ*, и *верховную*, и *боковую*, и *всеобщую*.

Ѣдетъ ломовой извощикъ. Аксютка пресерьезно обратился къ нему:

— Дядя, а дядя!

— Чаво тебѣ? отвѣчалъ тотъ благодушно.

— А зачѣмъ, братецъ, ты гужи-то съѣлъ?

Крючники, лабазники и ломовой народъ терпѣть не могутъ, когда ихъ обзываютъ гужеѣдами.

— Рукавицей закусилъ! прибавилъ кто-то.

Мужикъ озлился и загнулъ имъ крутую брань.

Когда шли по берегу рѣки, на которой уже стояли весеннія суда, *Сатана* сдѣлалъ предложеніе:

— Господа, крикнемте «посматривай!»

— Начинай!

Сатана началъ, и вслѣдъ за нимъ, пастей въ сорокъ, раздалось надъ рѣкой: «посматривай!»

На баркахъ мужики съ переполоху повскакали, не понимая что бы значилъ такой громадный крикъ. Когда они разобрали, въ чемъ дѣло, начали ругаться; слышалось даже:

— Эхъ, ребята, въ колье ихъ!

На это имъ отвѣтомъ было:

— Тупорылые! Аншпугъ съѣли!

— «Посматривай!» хватили бурсаки что есть силы.

Надъ рѣкой повисла крѣпкая ругань.

Наконецъ, подъ предводительствомъ солдата-педагога *Еловаго*, ученики добрались и до торговыхъ бань. Пары остановились. *Еловый* у двери пропускалъ по парѣ, выдавая казенно-коштнымъ по миньятюрному кусочку мыла. Своекоштнымъ не полагалось. Затѣмъ пары отправлялись въ предбанникъ, по дорогѣ покупая вѣникъ и мочалку, потому что ни того, ни другого казна не давала ученикамъ. Пары бѣгомъ бѣжали одна за другой, бросаясь въ двери предбанника. Въ дверяхъ была давка: всякій спѣшилъ захватить шайку, которыхъ не хватало по крайней мѣрѣ для третьей части учениковъ, вслѣдствіе чего они должны были сидѣть около часу, дожидаясь, пока кто-нибудь не освободится. При этомъ *Аксютка* съ *Сатаной* разумѣется были съ шайками. Черезъ четверть часа баня наполнилась народомъ, огласившимъ воздухъ безшабашнымъ гвал-

томъ. Негдѣ было яблоку упасть; всѣ скамейки заняты; иные сидятъ на полу, иные забрались въ ящики, устроиваемые для одежды моющихся. Старшіе, цензора и прочія власти занимаютъ отдѣльную, довольно чистенькую комнатку, назначаемую содержателемъ для лицъ почетныхъ. Дѣти, потѣшаясь, хлещутъ другъ друга ладонями по голому тѣлу. Большинство отправилось въ паровую баню. Бурсаки страстно любятъ париться. Полокъ брали приступомъ; изрѣдка слышались затрещины, которыхъ бурсакъ вкушаетъ при всякомъ случаѣ достаточное количество. Тавля стащилъ кого-то за волоса, *со своего*, какъ онъ говорилъ, мѣста.

— Катька! кричитъ Тавля.

— Что? отвѣчаетъ тотъ подобострастно.

— Поддай еще!

— Не надо, отвѣчаютъ голоса.

— Я вамъ дамъ не надо!

— А *въ рождество* (лицо) хочешь?

Это былъ голосъ Бенелявдова. Съ нимъ Тавля не сталъ разговаривать. Онъ опять кричитъ.

— Катька! встань предо мной, какъ листъ передъ травой!

Катька явился:

— Окати меня.

Окатилъ.

— Парь меня!

Катька паритъ его. Тавля отъ удовольствія страшно грегочетъ.

На полкѣ продолжалась возня; стонутъ, грегочутъ, визгъ съ присвистомъ и хлестъ горячаго березняка. Вотъ пробирается несчастный *Лягва*. Онъ былъ парія бурсы: У *Лягвы* какое-то скверное, точно гнилое лицо, въ пятнахъ, рябое; про это лицо бурсаки говорили,

что на немъ ножи точить можно. Куда онъ ни приходилъ, воздухъ дѣлался противнымъ и вреднымъ для легкихъ, потому что этотъ запахъ у него былъ и за пазухой, и на спинѣ, и въ карманахъ, и въ волосахъ. Это несчастное существо, право, кажется, перестало быть человѣкомъ, и было просто живое и ходячее тѣло человѣчье. Проклятая бурса сгноила *Лягву*, буквально сгноила *Лягву*. Товарищи не то чтобы ненавидѣли его, а чувствовали къ нему отвращеніе, и даже рѣдко кто находилъ удовольствіе обижать его. Не повѣрятъ, что изъ пятисотъ человѣкъ въ продолженіе восьми лѣтъ не нашлось никого, кто бы рѣшился не только дать ему руку, но и сказать ласковое слово. Не только ученики его презирали, но даже начальство и прислуга. Мы сказали, что бурса сгноила его тѣло: это въ собственномъ смыслѣ надо понимать. Онъ долженъ былъ по приговору начальства и товарищества жить и ночевать въ спальнѣ, которая была отведена для такихъ же, какъ онъ, отторженниковъ бурсы, двѣнадцати человѣкъ. Дѣло въ томъ, что были ученики, страдавшіе извѣстною болѣзнью, которая въ дѣтскомъ возрастѣ не составляетъ еще болѣзни, а зависитъ отъ неразвитости организма. Никто объ нихъ не заботился, не лечилъ. Бурсацкая казна не купила для нихъ даже клеенки, чтобы предохранить тюфяки отъ сырости и гнили; вмѣсто этого, страдавшихъ этою болѣзнью имѣли обыкновеніе въ училищѣ сѣчь голенищами. Честное слово, что въ тюфякахъ заводились черви, и несчастные должны были спать чисто на гноищахъ. Спросятъ, отчего же эти ученики сами себя не жалѣли и не просушивали своихъ тюфяковъ по утрамъ? Попадая въ каторжный номеръ, въ которомъ приходилось дышать положительно зараженнымъ, ядовитымъ воздухомъ, ощущать подъ своимъ

тѣломъ ежедневно рой червей, быть въ презрѣніи у всѣхъ, — они дѣлались до цинизма неопрятны и вполнѣ равнодушны къ своей личности; они сами себя презирали. Вотъ фактъ: *Лягва* дошелъ до того, что глоталъ мухъ и другихъ насѣкомыхъ, съѣлъ однажды листъ бумаги, вымазанный деревяннымъ масломъ, ѣлъ сальные огарки.

Лягва уныло шатался по банѣ, высматривая, гдѣ бы добыть шайку. Онъ подошелъ къ *Хорю*, тоскливо и какимъ-то дряблымъ голосомъ проговорилъ:

— Дай шаечки, когда вымоешься.

Нищій второуѣзднаго класса, *Хорь*, даже по отношенію къ *Лягвѣ* съумѣлъ выдержать роль нищаго. Онъ отвѣчалъ:

— Три копѣйки, такъ дамъ.

— У меня самого только двѣ.

— Давай ихъ.

— Что же у меня останется?

— Ну, давай пять паръ костяжекъ.

— У меня ихъ нѣтъ.

— Убирайся же къ чорту, fraterculus (братецъ)!

Онъ подошелъ къ *Самому*, которому кромѣ этого было другое прозвище: Ipse (самъ). Его никогда не звали собственнымъ именемъ, и мы не будемъ звать его. Черти, смотря по тому, въ какой націи они принадлежатъ, бываютъ разнаго рода. Есть чортъ нѣмецкій, чортъ англійскій, чортъ французскій и проч. Онъ ни на одного изъ нихъ не походилъ. Ipse былъ даже и не русскій чортъ, нашъ національный бѣсъ честенъ, веселъ и отчасти глуповатъ: такъ онъ представляется въ народныхъ сказкахъ и легендахъ. Ipse былъ чортъ, самородокъ, духъ того ада, которому имя бурса. Въ качествѣ чорта онъ и служилъ такому человѣку, ка-

ковъ воръ Аксютка. Его прозвали *Сатаной* за его характерецъ. Въ училищѣ существовалъ нелѣпый обычай *дразнить* товарищей, особенно новичковъ. Я сейчасъ объясню, что это значитъ. Соглашались трое или четверо подразнить кого нибудь. Они приставали къ своей жертвѣ. Сначала насмѣхались надъ ней и ругали ее, потомъ начинались пощипыванья, наконецъ дѣло кончалось швычками, смазями, плюходѣйствіемъ. Задача такихъ невинныхъ развлеченій состояла въ томъ, чтобы довести свою жертву до бѣшенства и слезъ. Когда цѣль достигалась, мучители съ хохотомъ бросали свою жертву, которую часто доводили до самозабвенія и остервенѣнія; такъ *Asinus* (оселъ) прошибъ кочергой голову *Идола*, который вывелъ его изъ себя. Въ нотѣхахъ такого рода всегда принималъ дѣятельное участіе *Сатана;* врядъ ли былъ другой мастеръ дразнить, какъ Ipse. Онъ рѣшался раздражать даже тѣхъ, кто былъ сильнѣе его. Назойливѣе, неотвязчивѣе *Сатаны* трудно себѣ представить что нибудь. Иногда онъ систематически привязывался съ утра до вечера, въ продолженіе трехъ дней и болѣе, не давая ни на минуту покоя. Его часто били, и жестоко, но ему все было ни по-чемъ. Онъ былъ какой-то околоченный, деревянный. Только Аксютка могъ укрощать его, но и то потому, что *Сатана* благоговѣлъ предъ бурсацкимъ геніемъ *Аксютки*.

Къ такого-то рода господину обратился съ просьбою о шайкѣ *Лягва*.

— А *вывернись!* отвѣчалъ ему *Сатана*.

— Мнѣ не вывернуться.

— Волоса вѣдь мокрые?

— Я не окачивался.

— Окатись, вотъ и шайку дамъ.

— Нѣтъ, не могу.

Лягва всталъ въ раздумьи, не зная, вывернуться или нѣтъ. Когда предлагали *вывернуться*, то ученикъ подставлялъ свои волоса, которые партнеръ и забиралъ въ пясть. Ученикъ долженъ былъ высвободить свои волоса. Державшій за волоса имѣлъ право запустить свою пятерню только разъ въ голову товарища, и когда мало-по-малу освобождались волоса, онъ не имѣлъ права углубляться въ нихъ вторично. Мокрые волоса многіе вывертывали очень ловко. Впрочемъ, бывали артисты, которые рѣшались вывертываться и съ сухими волосами: къ числу такихъ принадлежалъ самъ *Сатана*. Ipse, видя что *Лягва* не рѣшается, сказалъ:

— Ну ладно, подожди, только вымоюсь.

— Вотъ спасибо-то! отвѣтилъ *Лягва* радостно.

Онъ носилъ воду *Сатанѣ*, окачивалъ его, стараясь выслужиться и получить шайку; наконецъ Сатана вымылся и Лягва съ радостнымъ выраженіемъ лица протянулъ руку къ шайкѣ.

— Эй, ребята! закричалъ Сатана.

— Что же ты, Ipse?

Но голосъ Лягвы вопіялъ какъ въ пустынѣ. Человѣкъ пятнадцать налетѣло на призывъ Сатаны.

— На-шарапъ!

Сатана покатилъ шайку по скользкому полу. Всѣ бросились наиее самымъ хищнымъ образомъ.

Толкотня, шумъ, ругань и затрещины.

Наконецъ, когда вымылись многіе, шаекъ освободилось достаточное количество. *Лягва* добылъ шайку и началъ съ ожесточеніемъ намыливать голову, но лишь только волоса его и лицо покрылись густой пѣной мыла, какъ Сатана, вернувшійся зачѣмъ-то въ баню, вырвалъ у него шайку и сдѣлалъ ему смазь всеобщую.

Лягва въ испугѣ раскрылъ широко глаза, пѣна пробралась за рѣсницы и онъ ощутилъ въ нихъ ѣдкое щипанье, но дѣлать было нечего; прищуриваясь и протирая глаза, онъ добрался кое-какъ до крана и промылъ здѣсь ихъ.

Между тѣмъ многіе уже вымылись; сдѣлалось гораздо тише въ банѣ, хотя и слышны были иногда гоготанье, брань и проч., что̀ читатель, ознакомясь нѣсколько съ бытомъ бурсы, самъ уже можетъ вообразить себѣ.

Перейдемте въ передбанникъ. Гардеробщикъ выдавалъ казеннымъ бѣлье. Ученики отправлялись въ училище не парами, а кто успѣлъ вымыться, тотъ и убирался во-свояси.

Вотъ тутъ-то и наступалъ праздникъ бурсы. — Теперь, дѣдушка, слѣдуетъ *двинуть отъ всѣхъ скорбей*, говорилъ Бенелявдовъ Гороблагодатскому.

— То-есть *столбуху* водки, яже паче всякаго глаголемаго бога или чтилища?

— Въ *Зеленецкій* (кабакъ) *дерганемъ*.

— Только вотъ что: первая перемѣна Долбежина.

— Такъ что же?

— Замѣтитъ — *отчехвоститъ* (высѣчетъ).

— Съ какой стати онъ замѣтитъ?

— Развезетъ послѣ бани-то на тощакъ.

— А мы сначала потрескаемъ, а потомъ разопьемъ одну лишь *штофендію*.

— А, была-не-была, идетъ!

— Такъ *наяривай* (дѣйствуй), живо!

При баняхъ всегда бываютъ торговцы, которые продаютъ сбитень, молоко, кислыя щи, квасъ, булки, сайки, кренделя и пряники. Здѣсь идетъ великое столованье. Человѣкъ двадцать ѣдятъ и пьютъ. Второкурс-

ные безстыдно, а напротивъ, важно и съ сознаніемъ своего достоинства, пожираютъ и пьютъ чужое. До красна распаренныя лица бурсаковъ дышатъ наслажденіемъ. Нищій второкурснаго класса, Хорь, шатается между гостями и по обыкновенію *кальячитъ*. Ему сегодня везетъ: тамъ ему отщипнутъ кусочекъ булки, здѣсь онъ проситъ: «дай, голубчикъ, разокъ хлебнуть» — и ему даютъ благосклонно, послѣ чего датель продолжаетъ пить изъ того же стакана. Только аристократы засѣдаютъ въ трактирѣ, виноторговлѣ или кабакѣ, смотря по вкусу и расположенію духа. Огромное большинство не можетъ полакомиться и двухгрошевымъ стаканомъ сбитня, или полутора-копѣечною булкою. Оно смотритъ съ завистью и жадностью на угощающихся, особенно на второкурсныхъ, и щелкаетъ зубами. Изъ этого большинства выдѣлилась довольно большая масса учениковъ, которые не останавливались глазѣть около лавочки предбанника или *кальячитъ*, а отправлялись на промыселъ, высматривая по улицамъ и базару, нельзя ли гдѣ нибудь что либо стянуть. Аксютка, однако, успѣлъ стащить сайку въ лавочкѣ же.

Шли кучками и въ разбивку ученики. Въ эту минуту вся торговля окрестъ трепетала. Надобно замѣтить характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительнымъ только относительно товарищества. Было три сферы, которыя по нравственному отношенію къ нимъ бурсака были совершенно отличны одна отъ другой. Первая сфера — товарищество, вторая — общество, то есть все, что было внѣ стѣнъ училищныхъ, за воротами его: здѣсь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дѣло велось хитро, ловко и остроумно.

Но въ такихъ отношеніяхъ къ обществу не было злости или мести; позволялось красть только съѣдобное: поэтому обокрасть лавочника, разнощика, сидѣльца уличнаго — ничего, а украсть, хоть бы на сторонѣ, деньги, одежду и тому подобное считалось и въ самомъ товариществѣ мерзостью. Третья сфера — начальство: ученики гадили ему злорадостно и съ местію. Такъ сложилась бурсацкая этика. Теперь понятно, отчего это, когда Аксютка стянулъ сайку, никто изъ видѣвшихъ его товарищей не остановилъ его: то было бы въ глазахъ бурсы фискальствомъ. Теперь также понятно, отчего это въ бурсацкомъ языкѣ такъ много самобытныхъ фразъ и рѣченій, выражающихъ понятіе кражи: вотъ откуда всѣ эти *сбондили*, *сляпсили*, *сперли*, *стибрили*, *объегорили* и тому подобныя.

Наши герои и пошли бондить, ляпсить, переть, тибрить, объегоривать.

Главными героями были *Аксютка* и *Сатана* — *единый* и какъ бы *единственный* (выраженіе изъ одного нелѣпаго, варварскимъ языкомъ изложеннаго учебника бурсы).

— Сатана!

— Что тебѣ?

— Ipse! крикнулъ Аксютка.

— Да что тебѣ?

— Потирай руки!

— Значитъ на *лѣвую ногу можно обдѣлать* (надуть кого нибудь, украсть)?

— Ужь ты помалчивай.

— *Купимъ на пятакъ, сожремъ на четвертакъ!*

— Вотъ тебѣ гривенникъ, сказалъ Аксютка.

— Что расщедрился вдругъ?

— Пойдемъ въ мелочную: видишь, отворена ужь.

Ты торгуйся, да смотри по мелочамъ; муки, скажи, для приболтки въ супъ, на *кипѣчку* (копѣчку), цикорьицы на грошъ, перечку на кипѣчку, лучку на грошъ, клею на кипѣчку, махорки на грошъ, леденчиковъ и постнаго масленца ужь на двѣ.

— Во что же масла-то брать?

— Да ты Сатана ли? Ты ли мой любезный Ірве?

Аксютка сдѣлалъ ему смазь всеобщую. Сатана не разсердился на него, предвидя поживу. Онъ только по обыкновенію сдѣлалъ изъ фалдъ нанковаго сюртука хвостъ и описалъ имъ три круга въ воздухѣ, приговаривая:

— Я Ірве.

Аксютка сталъ объяснять ему:

— По мелочамъ будешь брать, дольше времени пройдетъ. Когда спросишь маслица, скажи, что забылъ дома бутылочку, и не отставай, проси посудинки.

— *Облопошимъ!* Аксенъ, ты умнѣе Сатаны!

— Ты долженъ звать меня: Аксенъ Иванычъ.

Сатанѣ была пожалована при этомъ смазь. *Сатана* вытянулся во фрунтъ, сдѣлалъ себѣ на головѣ пальцами рожки, сдѣлалъ на своей широкой рожѣ смазь *вселенскую* и въ заключеніе вернулъ хвостомъ трижды. Прозвали его *Сатаной*, и не даромъ: какъ есть сатана, съ хвостомъ и рогами.

Планъ ихъ вполнѣ удался. У Аксютки черезъ четверть часа оказалось краденаго: двѣ булки, банка малиноваго варенья, краюха полубѣлаго хлѣба и десятка два картофелю. Ноздри Аксютки раздувались, какъ маленькіе паруса, — всегдашній признакъ того, что онъ либо хочетъ украсть, либо укралъ уже.

— Теперь, *скакая играше веселыми ногами въ кабачару!* скомандовалъ невинный мальчикъ Аксюша.

Другое невинное дитя, мальчикъ Ipse, скорчилъ рожу на номеръ седьмой, на которой выразились радость и одобреніе.

— Знаешь, что я *отмочилъ*?

— Что?

— Наплевалъ въ кадушку съ капустой.

— И-го-го-го! заржало *сатанинское* горло.

Училищный и уличный тать Аксютка былъ человѣкъ необыкновенный, талантливый, человѣкъ сильной воли и крѣпкаго ума, но его сгубила бурса (впрочемъ отчасти и домашнее воспитаніе), какъ она сгубила сотни и сотни несчастныхъ людей. Въ самой системѣ и характерѣ его воровства сказалась сильная натура, — сильная, но погибшая нравственно. Онъ воровалъ артистически. Этотъ каторгорожденный не могъ стянуть безъ того, чтобы зло не подшутить надъ тѣмъ, у кого онъ кралъ. Когда онъ забирался въ сундукъ, *ляпсилъ* булку, *тибрилъ* бумагу, *бондилъ* книгу и проч., — гдѣ бы другому бѣжать, а онъ не то: онъ сходитъ за каменьями или грязью и накладетъ ихъ въ сундукъ вмѣсто краденаго. Иные, зная его какъ вора и желая задобрить (случается, у насъ и не въ бурсѣ задобриваютъ воровъ, чтобы они не нагадили), приходили къ нему съ приношеніями, но онъ отказывался отъ приношеній, играя роль честнаго человѣка, котораго оскорбляетъ взятка. Вотъ примѣръ. Прислали изъ деревни одному ученику мѣшочекъ толокна. Онъ зналъ, что Аксютка видѣлъ присылку, и былъ вполнѣ убѣжденъ, что Аксютка украдетъ толокно; поэтому ученикъ забѣжалъ къ Аксюткѣ съ акциденціей, предлагая ему около двухъ горстей толокна. Аксютка сказалъ: «Я не могу ѣсть толокна». А у самого ноздри поднялись и опустились. Аксютка поже-

лалъ сыграть остроумно-воровскую штуку. Когда успокоенный товарищъ задвинулъ въ парту мѣшокъ съ толокномъ, Аксютка подкрался, легче нежели блоха скачетъ по полу, подъ парту *толоконника* и выкралъ мѣшокъ. Сряду же послѣ этого онъ подошолъ къ *толоконнику* и умиляющимъ голосомъ сказалъ ему: «Братецъ, ты обѣщалъ мнѣ толоконца, такъ дай.» Тотъ полѣзъ въ парту; толокна не оказалось. Аксютка обругалъ его, сказавъ: «Свинья! обѣщалъ, а не даешь; я за это тебѣ отплачу!» и отвернулся; ноздри его раздувались какъ паруса, а на рожѣ отсвѣчивалось сознаніе своей силы въ воровствѣ. Черезъ полчаса онъ подошелъ къ окраденному имъ товарищу и сказалъ: «Не хочешь ли толоконца?» — Аксютка держалъ на ладони толокно. — «Это мое?» — «Нѣтъ, мнѣ самому мамаша прислала.» — «Скотина, вѣдь у тебя и матери-то нѣтъ!» — «Я говорю про крестную мамашу.» Таковъ былъ Аксютка. Особенно онъ былъ искусникъ *мѣняться ножами*. Здѣсь мы опишемъ еще одинъ характеристическій обычай бурсы. Обыкновенно кто-нибудь кричалъ: «съ кѣмъ ножичками мѣняться?» Когда выискивался охотникъ на мѣну, тогда между ними начиналась слѣдующая продѣлка. Оба они выставляли на показъ другъ другу только концы ножей; тогда слѣдовало угадать, стоитъ ли рѣшиться на мѣну, чтобы вмѣсто хорошаго ножа не пришлось получить дурной. Вотъ въ этомъ-то дѣлѣ былъ особенно искусенъ Аксютка.

Мы убѣждены, что его участь — каторга. По исключеніи изъ училища, онъ сначала поселился на постоломъ дворѣ, гдѣ за три копѣйки суточнаго жалованья, при ночлегѣ и харчахъ хозяйскихъ, онъ рубилъ капусту, таскалъ дрова, топилъ печи, мѣсилъ

хлѣбы и тому подобное. Но ему скоро наскучилъ честный трудъ, онъ обокралъ своего хозяина и утекъ отъ него. Послѣ того его встрѣчали одинъ разъ въ подрясникѣ, другой — въ тулупѣ, третій разъ во фракѣ, —словомъ, онъ изъ училищнаго вора дѣлался всесвѣтнымъ мошенникомъ. Напрактиковавшись въ девятой школѣ (такъ древними бурсаками называлась школа жизненнаго опыта, которая слѣдовала за восьмикласснымъ обученіемъ въ бурсѣ), онъ поступилъ на службу, въ качествѣ дьячка, но скоро за пьянство и буйство (онъ расшибъ стекла у городничаго) былъ сосланъ на тяжолую работу въ какой-то бѣдный монастырь. Выдержавъ курсъ церковнаго покаянія, Аксютка поступилъ въ соборный хоръ пѣвчимъ, но его протурили оттуда, едва ли не за разбой. Аксютка при этомъ долженъ былъ перемѣнить духовное званіе на мѣщанское. Самое важное дѣло Аксютки то, что онъ хотѣлъ зарѣзать бывшаго своего благочиннаго. По этому дѣлу онъ былъ оставленъ въ подозрѣніи. Страшенъ этотъ человѣкъ, но напередъ можно сказать, что ему осталась одна торная дорога — владимірка, по которой идутъ сотни нашихъ каторжниковъ, и посреди этихъ сотенъ Аксютка будетъ одинъ изъ самыхъ отпѣтыхъ.

Теперь мы будемъ продолжать о другихъ.

Хищная бурса разсыпалась повсюду.

Старая, оборванная баба, бывшая нѣкогда камеліей низшаго сорта, которыхъ прозвище — ночныя крысы, торгуетъ, для поддержанія своего дряхлаго тѣла, ободранными лимонами, растрескавшимися, какъ сухая глина, пряниками, сѣропѣгими булками и другимъ неудобоваримымъ отребьемъ. Когда она завидѣла возвращавшуюся домой бурсу, то какъ мать, защищаю-

щая свое дѣтище отъ волка, она прикрыла гнилое сухожстіе грязной тряпицей и дырявымъ передникомъ.

Ее однажды обокрали, но теперь бурсакамъ не удалось утащить ни одной черствой булки изъ-подъ вретища отживающей женщины. Бурсаки на этотъ разъ ограничились одной лишь бранью съ несчастной женщиной.

Въ другомъ мѣстѣ промыслы учениковъ были удачны.

Саепеки открыли длинное и широкое окно. На доскахъ дышатъ легкимъ паромъ только-что испеченныя сайки. Хотя зоркій воровской глазъ бурсаковъ сразу же замѣтилъ, что тутъ трудно было поживиться, но ученики все-таки обнюхиваютъ мѣстность и вотъ съ радостью дѣлаютъ открытіе, что въ другомъ отдѣленіи саечной пекарни на доскахъ разложено сырое тѣсто. Саепеки не ожидали нападенія съ этого пункта и не защищали его отъ воровъ. Бурсаки, подъ предводительствомъ хищнаго Хорька, прокрались въ пекарню и стали хватать тѣсто, торопливо пряча его въ карманы сюртуковъ и брюкъ. Едва они заслышали шаги саепековъ, мгновенно скрылись и черезъ минуту ихъ не было даже на базарѣ. Спросятъ, къ чему бы ученикамъ нужно было сырое тѣсто: неужели они съѣдятъ его сырымъ? Нѣтъ, они ухитрятся спечь его на вьюшкахъ, въ трубахъ поутру топленныхъ печей, и хотя оно выйдетъ съ сажей—ничего! бурсаку и то на руку.

Теперь разскажемъ еще событіе.

Трое великовозрастныхъ зашли по дорогѣ къ пѣвчему, своему неключенному товарищу. Пѣвчаго нашли они лежащаго на постелѣ и страдающаго похмѣльемъ. Къ нему въ то время долженъ былъ зайдти сапожникъ, за тѣмъ чтобы получить съ него долгу три руб-

ля. Пѣвчій наканунѣ того дня съ клятвою и божбою обѣщался ему заплатить непремѣнно, но изъ запасныхъ денегъ у пѣвца осталось около половины.

— Что, братцы, дѣлать? вскричалъ встревоженный пѣвчій.

— Живо сюда! отвѣчалъ ему одинъ изъ великовозрастныхъ.

— А что?

— *Объегоримъ*. Ложись сейчасъ на столъ.

— Зачѣмъ?

— Не разговаривай, а ложись.

Поставили столъ въ переднемъ углу, подъ образами. Пѣвчій улегся на столъ, въ головахъ его зажгли восковую свѣчку, покрыли его бѣлой простыней, одинъ великовозрастный взялъ псалтырь, подошолъ къ пѣвчему и сказалъ ему:

— Умри!

Тотъ притворился мертвымъ. Бурсакъ сталъ читать надъ нимъ псалтырь, какъ надъ покойникомъ, скорчивъ великопостную харю.

Вошелъ сапожникъ и, услышавъ монотонное чтеніе, понялъ, что въ дому есть мертвый. Онъ набожно перекрестился.

— Кто это? спросилъ онъ.

— Товарищъ, отвѣчали ему печально.

— Который это?

— Барсукъ.

Сапожникъ сначала почесалъ въ затылкѣ, подумавъ про себя: «Эхъ, пропали мои денежки!» но потомъ умилился духомъ и сказалъ бурсакамъ:

— Вѣдь вотъ, господа, за покойникомъ-то должишко остался, да ужь Богъ съ нимъ; грѣхъ на мертвомъ искать.

— Вотъ и видно добраго человѣка! было отвѣтомъ: —его, признаться, и похоронить не на что. Началъ, братъ, ты доброе дѣло, такъ и кончилъ бы: дай что-нибудь на поминки бѣдному человѣку.

Сапожникъ вынулъ полтину и подалъ имъ. Тѣ благодарили его.

Сапожнику естественно захотѣлось взглянуть на мертваго. Онъ перекрестясь проговорилъ:

— Дай хоть взгляну на него.

Барсукъ до того притворился мертвымъ, что хоть сейчасъ тащи на кладбище. Открыли его лицо: съ похмѣлья оно было блѣдно и имѣло мертвенный видъ.

Сапожникъ, по православному обычаю, приложился губами ко лбу пѣвчаго, а тотъ, сдѣлавъ подъ простыней фигу, думалъ про-себя:

«Вотъ-те кукишъ! а не свѣчка».

Когда сапожникъ удалился, мертвый воскресъ и съ дикимъ хохотомъ вскочилъ на столъ.

— Теперь, ребята, поминки справлять.

— Четвертную!

— Огурцовъ да селедку!

То и другое было мигомъ добыто, и поя разныя духовныя канты, перемѣшивая ихъ смѣхомъ и остротами, справляли номинальную тризну о упокоеніи раба божія Барсука.

Бурсаки съ торжествомъ и гордостью передавали другъ другу разсказъ объ этомъ событіи.

Но дѣло этимъ не кончилось.

Спустя мѣсяцъ времени, сапожникъ встрѣтилъ подъ вечеръ Барсука.

Барсукъ и тутъ нашолся.

Скрестивъ руки и сверкая глазами, онъ грозно приблизился къ сапожнику и дикимъ голосомъ возопилъ:

— Неправедные да погибнутъ!

Сапожникъ растерялся: ему представилось, что онъ видитъ покойника, который воротился съ того свѣта, чтобы наказать его за то, что онъ дерзнулъ придти къ мертвому и требовать отъ него свой долгъ. Онъ перекрестился и съ ужасомъ бросился бѣжать, куда глаза глядятъ. Долго онъ потомъ разсказывалъ, какъ являлся къ нему мертвецъ и хотѣлъ утащить его едва ли не въ тартарары.

Этотъ случай еще болѣе утѣшилъ бурсу.

Послѣдній скандалъ изъ банныхъ похожденій бурсаковъ.

Мехалка, воровски пробираясь по базару и увидѣвъ, что въ пряничной лавкѣ отворена дверь, заглянулъ въ нее. Онъ увидѣлъ въ ней торговца, который стоялъ въ дальнемъ углу, къ двери спиною. Мехалка былъ не тактикъ, а стратегикъ, и, много не разсуждая, стремительно бросился на пряникъ изъ стычныхъ ковригъ, который былъ величиною съ добрую доску, и потомъ выбѣжалъ вонъ изъ лавки. За нимъ съ крикомъ «грабятъ!» устремился торговецъ. Мехалка, обремененный ношею, бѣжалъ медленно и былъ въ опасности человѣка, котораго сейчасъ треснутъ по шеѣ. Онъ употребилъ слѣдующій стратегическій пріемъ: выждавъ приближеніе къ себѣ торговца и неожиданно обернувшись къ нему, поднялъ надъ головой ковригу и ударилъ ею въ лицо торговца. Потомъ пустился съ обломкомъ ковриги, оставшейся въ его рукахъ.

Мехалка былъ замѣчательная личность. Это не воръ, а чисто разбойникъ. Извѣстно было, что онъ, выходя изъ церкви, схватилъ попавшуюся ему на-встрѣчу собаченку и разшибъ ей голову о тумбу, а потомъ закусилъ свой подвигъ сальною свѣчею. За то хотѣли

его отпороть не на животъ, а на смерть, но, по случаю страстной недѣли и пасхальной, экзекуція была отложена до осминой. Когда наступилъ день возмездія и подъ предводительствомъ смотрителя вошли въ классъ четыре солдата съ огромнымъ количествомъ розогъ, у Мехалки засверкали глаза, какъ у дикаго звѣря, и онъ, энергически сжавъ кулаки и стиснувъ зубы, бросился къ отворенному окну и вскочилъ на подоконникъ съ быстротою кошки. (Классъ былъ во второмъ этажѣ).

— Только подступись, размозжу себѣ голову о камни! вскричалъ онъ. На убѣжденія смотрителя покориться онъ отвѣчалъ, что бросится съ высоты второго этажа и тѣмъ накажетъ начальство. Смотритель плюнулъ и ушолъ. Мехалкѣ за такія дикости вручили волчій паспортъ.

Извѣстно, что впослѣдствіи онъ, Аксютка и еще одинъ артистъ нанялись въ кузницу чернорабочими. Мехалка, работая здоровымъ молотомъ по наковальнѣ, добывалъ себѣ грошъ на свой образецъ, вмѣстѣ со своими товарищами. Забрался онъ на сосѣдній дворъ, разломалъ тамъ извощичьи дрожки и все желѣзо утащилъ къ себѣ въ кузницу. Карьера его кончилась дьячествомъ и онъ сдѣлался истиннымъ мучителемъ своего священника.

Вотъ вамъ, господа, веселая картина бурсацкой бани, въ повѣсти о которой одни лишь голые факты. Къ нимъ нечего прибавлять; они сами за себя говорятъ.

Послѣ бани бурсаки, поѣвъ всего краденаго, были въ добромъ расположеніи духа, меньше раздавалось

швычковъ и подзатыльниковъ, рѣже творилось всеобщихъ смазей, и вообще въ классѣ, сравнительно, было довольно тихо и скромно.

Въ Камчаткѣ собралось нѣсколько человѣкъ и ведутъ бесѣду о старинѣ и древнихъ герояхъ бурсы. Митаха занималъ среди нихъ первое мѣсто.

— Эхъ, господа! то ли дѣло было въ старину!

— Въ старину живали дѣды веселѣй своихъ внучатъ.

— За то, братъ, и пороли, сказалъ Митаха.

— А что?

— Да вотъ вамъ случай.

— Разскажи, братъ, Митаха, разскажи.

— Только чуръ не перебивать.

Митаха началъ:

— Были у насъ три брата: *Каля*, *Миля и Жуля*. Это были силачи тогдашняго времени и обыкновенно занимались шитьемъ сапоговъ. Они однажды отправились въ городъ съ товарищами, чтобы кутнуть хорошенько на сторонѣ. Кутнули добре. Когда шли назадъ, то орали пѣсни на пять улицъ и встрѣтились съ казаками. Тѣ пригласили ихъ молчать. Наша братія ругаться. Драка. Бурсаки отдули казаковъ на обѣ корки и утекли въ училище, будучи увѣрены, что ихъ дѣло шито-крыто. Анъ нѣтъ: на другой день начались розыски. Все всплыло наружу. Вотъ была порка-то! Драли тогда подъ колокольчикомъ, среди двора, слѣва и справа; закачивали штукъ по триста.

— Братцы, я вотъ тоже знаю... Сказаговорилъ одинъ.

— Сказано, не перебивать! отвѣтили ему.

— Сволочь!

— Животина!

— *Мазепа!*

Замѣчательно, что въ бурсѣ *Мазепа* было ругательное слово, и вѣроятно основаніе тому историческое; но во времена нами описываемой бурсы изъ пятисотъ человѣкъ врядъ ли пятеро знали о существованіи Мазепы. Здѣсь это имя было слово нарицательное, а не собственное. По преимуществу называли *Мазепами* толсторожихъ. Въ бурсѣ все своеобразно и оригинально.

Бурсакъ, перебившій разсказъ, замолчалъ.

— Ну такъ что же, Митаха?

— А вотъ слушайте. Собрались всѣ ученики на дворъ, пришолъ инспекторъ, явились сторожа, и принесена огромная куча распаренныхъ лозъ. Каля, Миля и Жуля стояли въ толпѣ. Имъ, братцы, успѣли товарищи вкатить передъ сѣченіемъ по полштофу водки. Растянули Калю, потомъ Милю, потомъ Жулю. Но хотя и драли ихъ пьяныхъ, хоть они и закусывали себѣ руку до крови, однако послѣ порки ихъ отливали водой и на рогожкѣ стащили въ больницу за-мертво. Вотъ такъ *чехвостили*!

— А зачѣмъ они кусали руку?

— Фаля!

— Бардадымъ!

— Вѣдь закуси руку, такъ оттягиваетъ: укусишь руку, рукѣ больно, а сзаду и не слышишь въ то время.

— Тогда же, братцы, вышелъ дивный случай.

— Ну-ка.

— При этой страшной поркѣ былъ одинъ приходскій ученикъ, только-что привезенный изъ дому, котораго мамаша гладила по головкѣ, а здѣсь онъ увидѣлъ, что гладятъ по другому мѣсту. Онъ былъ мальчикъ худенькій, маленькій, блѣдненькій, однимъ словомъ, вовсе не бурсакъ, а сволочь. Какъ онъ увидѣлъ

такую знатную порку, такъ чуть не умеръ со страху. Онъ сталъ учиться отлично и каждый шагъ слѣдилъ за собою, чтобы не заслужить розгу. Когда сѣкли кого-нибудь, онъ дрожалъ и блѣднѣлъ. Учитель замѣтилъ это и возненавидѣлъ его, потому что терпѣть не могъ, когда кто-нибудь сильно кричалъ подъ лозами. Учителю захотѣлось попробовать, каковъ новичекъ подъ розгами. Придравшись къ какому-то случаю, онъ отпоролъ новичка такъ, что тотъ долго послѣ того таскалъ изъ тѣла своего прутья. Ученикъ послѣ порки упалъ въ обморокъ. Этимъ онъ окончательно вооружилъ противъ себя учителя, который началъ преслѣдовать его и каждый разъ поролъ жестоко. Ученику до того тяжко было жить, что онъ рѣшился бѣжать изъ училища. Его поймали. Тогда онъ сначала хотѣлъ повѣситься, но потомъ рѣшился на слѣдующую штуку. Дождался онъ ночи, досталъ перочинный ножъ, разрѣзалъ себѣ руку и своей кровью написалъ на бумажкѣ: «дьяволъ, продаю тебѣ свою душу, только избавь меня отъ сѣченья.»

Вниманіе слушателей чрезвычайно было напряжено.

— Съ этой бумажкой, продолжалъ Митаха — онъ залѣзъ ночью въ двѣнадцать часовъ подъ печь. Что тамъ съ нимъ было, неизвѣстно. Оттуда его вытащили за-мертво. Онъ говорилъ, что видѣлъ чорта. Начальство, узнавъ его продѣлку, высѣкло его подъ колоколомъ, послѣ чего, говорятъ, онъ былъ снесенъ въ больницу, гдѣ и отдалъ душу Богу.

Такой разсказъ подѣйствовалъ даже на крѣпкое воображеніе бурсаковъ. Разговоры смолкли и всѣ впали въ раздумье. Ученики понимали, а въ эту минуту особенно ясно сознали, что и при ихъ житьѣ-бытьѣ подчасъ хоть продавай душу чорту.

Когда впечатлѣніе нѣсколько ослабѣло, кто-то спросилъ:

— А кто изъ васъ, братцы, видѣлъ дьявола?

Никто не отозвался.

— А домового видѣлъ кто?

Оказалось, что домовыхъ видѣли многіе, а если кто самъ не видѣлъ, то зналъ такихъ, которые видѣли. Въ бурсѣ предразсудки и суевѣріе были такъ сильны, какъ и въ простомъ народѣ: вѣрили въ лѣшихъ, домовыхъ, водяныхъ, русалокъ вѣдьмъ, колдуновъ, заговоры и примѣты. Словомъ, эта сторона бурсацкой личности выражала глубокое невѣжество, которое начальство и не думало искоренять, потому что и само не всегда было свободно отъ суевѣрія.

Въ бурсѣ была даже доморощенная кабалистика. Такъ почти вся бурса вѣрила, что если вынуть изъ пера сухую перепонку и положить ее въ книгу, то забудешь урокъ изъ той книги; если же такую перепонку положить подъ тюфякъ спящаго, то съ нимъ случится грѣхъ, за который заставятъ поцаловать Лягву. Считалось дурнымъ—книгу послѣ урока оставить открытою, потому что урокъ забудешь. Когда кто-нибудь мистифировалъ, говоря, что идетъ учитель, ему кричали: «чего, сволочь, врешь-то? хочется, чтобы злымъ пришелъ!» Для того же, чтобы не спросилъ учитель, была примѣта у нѣкоторыхъ учениковъ держаться за какую-нибудь часть своего тѣла... Въ училищѣ одно время былъ даже свой туземный колдунъ. Это былъ ученикъ, прибывшій въ мѣстную бурсу изъ Кіева, нѣкто *Бѣгути*. Его прозвали такъ за то, что онъ, разсказывая сказку, выговаривалъ вмѣсто «бѣжали, бѣжали» — «бѣгути, бѣгути». Онъ брался угадывать, у кого

сколько въ деревнѣ коровъ, въ семействѣ сестеръ, въ карманѣ денегъ и т. д. Многіе серьезно вѣрили ему.

Кстати, мы разскажемъ продѣлку Аксютки надъ Гришкецомъ. Аксютка вотъ уже цѣлую недѣлю подговариваетъ товарищей, чтобы они показывали Гришкецу, что серьезно считаютъ его за колдуна. Когда это состоялось, многіе стали обращаться къ нему съ просьбою поворожить имъ. Гришкецъ сначала принималъ это за шутку, но товарищи выдерживали свою роль отлично, такъ что Гришкецъ наконецъ принялъ ихъ затѣю за чистую монету. Тогда онъ перепугался и сталъ умолять товарищей, чтобы они не считали его за колдуна. Но они, видя его тревогу, усилили свою назойливость. Гришкецъ едва не потерялъ разсудка. Когда Аксютка, сидя подлѣ него въ столовой, умолялъ Гришкеца научить его колдовать, то Гришкецъ обратился къ инспектору съ такими словами: «Я ей Богу, господинъ инспекторъ, не умѣю колдовать. Возьму ли я такой грѣхъ на душу?» И онъ крестясь увѣрялъ, что Аксютка вретъ все.

Чертовщина для разговоровъ бурсаковъ—предметъ неистощимый.

Но мы однако незамѣтно перешли опять къ воспоминаніямъ давнихъ дней. Мы приведемъ два разсказа.

Ученикамъ было запрещено начальствомъ купаться, и по его приказанію полиція преслѣдовала бурсаковъ на рѣкѣ. Надзиратель, видя, что ученики не унимаются, рѣшился во что бы то ни стало изловить ихъ и представить къ начальству. Каля, Миля и Жуля взбѣсились, и взявъ съ собой нѣсколько товарищей, на другой же день нарочно отправились купаться. Нагрянулъ надзиратель и накрылъ ихъ на мѣ-

стѣ преступленія; но они схватили его, зажали ему ротъ, чтобы не кричалъ, и потомъ выкупали его. Послѣ этой операціи они завязали ему брюки у сапогъ, такъ что изъ нихъ образовались два мѣшка, и набили брюки пескомъ до самаго пояса; послѣ этого съ хохотомъ бросили его и утекли во-свояси. Несчастный долго барахтался, не могши подняться съ земли. Когда его освободили, онъ заказался безпокоить учениковъ.

Одному изъ товарищей надобно было справить имянины, а денегъ было всего пять рублей. Это было лѣтомъ. Идетъ нашъ бѣдняга со своими друзьями по берегу рѣки да горюетъ. Въ одномъ мѣстѣ они натолкнулись на кучку рабочихъ, которые оставили свою барку и на берегу варили кашу. — Хлѣбъ да соль! говорятъ. — «Хлѣба-соли кушать» — Но безъ водки что за-ѣда?—«Гдѣ же ее взять?»—А вотъ деньги, сказалъ бурсакъ, подавая на полведерную. Мужики обрадовались и тотчасъ добыли водки. Бурсаки напоили ихъ до пьяна, и когда они удалились спать въ барку, то угнали ее и вмѣстѣ съ мужиками продали.

Такіе разсказы и воспоминанія о подвигахъ бурсаковъ ученики всегда выслушивали охотно и съ полнымъ одобреніемъ.

Но ударилъ звонокъ и начались классы.

Мы сказали, что начинаются классы, а начинаются они слѣдующимъ образомъ.

— Поймалъ вошь, сказалъ одинъ изъ камчатниковъ.

— Будетъ дождь.

— Я двѣ рядомъ.

— Будетъ съ градомъ.

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY

Какой-то великовозрастный ни къ селу, ни къ городу сталъ подщолкивать словами:

— Разъ-два — голова, три-четыре — прицѣпили, пять-шесть — въ рядъ снесть, семь-восемь — сѣно косимъ, девять-десять — сѣно вѣсить, одинадцать-двѣнадцать—на улицѣ бранятся.

Потомъ другой великовозрастный, вытянувъ изъ сапога берестяную тавлинку, затянулъ благимъ гласомъ какой-то кантъ и зарядилъ носъ съ присвистомъ.

Въ училищѣ нюханье табаку было развито въ высшей степени. Иначе и нельзя: во время занятій, на которыхъ одна лампа о трехъ рожкахъ давала свѣтъ на сто и болѣе человѣкъ, по-неволѣ рябило въ глазахъ, а когда ученикъ заряжалъ понюшку табаку, то глаза его дѣлались на нѣсколько минутъ свѣтлѣе. Во время классовъ, изъ которыхъ каждый по два часа, монотонные отвѣты уроковъ учителю нагоняли непобѣдимый сонъ, — и вотъ когда ученикъ понюхаетъ табаку, то по-неволѣ раскроетъ глаза. Табакъ былъ запрещенъ начальствомъ, но товарищество не хотѣло и знать этого запрещенія. Табакъ покупался у Захаренки, который мололъ его изъ махорки и потому продавалъ довольно дешево. И въ отношеніи нюханья табаку въ бурсѣ были свои особенности. Такъ нюхали со швычка, брали перстью, но особенно замѣчательно, когда табакъ раскладывался по указательному пальцу до кисти и вбирался, въ носъ сильнымъ вдыханіемъ. Бывали пари, кто больше вынюхаетъ въ одинъ пріемъ, и случалось что задорный нюхальщикъ, рѣшившись, на непосильную понюшку и принявъ ее, падалъ въ обморокъ.

До прихода учителя ученики успѣли сыграть *въ краски*. Выбрали изъ среды себя *ангела* и *чорта*, выбра-

ли хозяина; другимъ участникамъ въ игрѣ были розданы названія той или другой краски, которые не сообщались ни ангелу, ни чорту. Вотъ приходитъ ангелъ и стучитъ онъ въ двери.

— Кто тутъ? спрашиваетъ хозяинъ.

— Ангелъ.

— За чѣмъ?

— За краской.

— За какой?

— За зеленой.

— Кто зеленая краска, иди къ ангелу.

Въ свою очередь приходитъ къ хозяину чортъ, выбираетъ себѣ краску и уводитъ ее.

Такъ продолжается до тѣхъ поръ, пока не разберутся всѣ краски. Тогда сила ангела становится одесную отъ хозяина, а сила дьявола ошуюю. Каждая изъ партій образуетъ изъ себя цѣпь, хватая другъ друга сзади за животы. Ангелъ и чортъ сцѣпляются руками, — и вотъ взревѣли и ангелы, и черти — и началась таскотня. Долго шла борьба, но чортъ-таки одолѣлъ.

Вдругъ отворилась дверь. Въ классъ вошелъ господинъ огромнаго роста въ коричневой шинели. Все смолкло. Это былъ учитель Иванъ Михайлычъ Лобовъ. Цензоръ прочиталъ молитву «Царю небесный». Ученики стояли, ожидая приказанія сѣсть. Сѣли. Великій педагогъ отправился къ столу, за которымъ и сѣлъ на грязномъ стулѣ. Онъ взялъ нотату. Многіе вздрогнули. Немного помолчавъ, Лобовъ крикнулъ.

— Аксютка!

— Здѣсь, смѣло отвѣчалъ Аксютка.

— Ты опять?

— Не могу учиться.

— А отчего до сихъ поръ учился?

— Теперь не могу.

— Къ печкѣ!... *на воздусяхъ его!*

Аксютка озлилъ учителя. Онъ съ нимъ выдѣлывалъ штуки, на которыя никто не рѣшался. Этотъ, отчасти описанный нами, воръ имѣлъ отличныя способности, память у него была обширнѣйшая, и вѣроятно онъ былъ умнѣе всѣхъ въ классѣ; ничего не стоило ему прочитать урокъ раза два, и онъ отвѣчалъ его слово въ слово. Учиться значитъ было легко ему. Но онъ вдругъ прекращалъ заниматься, поддразнивая учителя на зло. Его сѣкли, но ничего не могли подѣлать съ нимъ. Тогда его поселяли въ Камчатку. Но лишь только онъ добивался своего, какъ опять начиналъ учиться отлично, его переводили на первую парту, и лишь только переводили, онъ опять запѣвалъ:

«Ай люли, люли, люли!
А въ нотатѣ все нули!»

Послѣ такой пѣсни Аксютка опять ничего не дѣлалъ. Снова повторялось сѣченіе. Онъ у Лобова нѣсколько разъ переходилъ изъ Камчатки на первую парту и обратно.

Наконецъ Лобовъ разсвирѣпѣлъ, и раздалось его грозное—*на воздусяхъ*!

Тотчасъ же выскочили четверо парней, схватили его, раздѣли, взяли за руки и ноги, такъ что онъ повисъ въ горизонтальномъ положеніи, а справа и слѣва начался свистъ лозъ.

Взвылъ Аксютка, а все-таки кричитъ:

— Не могу учиться! ей-Богу не могу!

— Положите ему подъ носъ книгу.

Положили.

— Учи!

— Не могу! хоть образъ со стѣны снять, не могу.

— Сейчасъ же и учи!

На этотъ разъ Аксютка правду кричалъ, что не можетъ учиться, потому что лежалъ подъ розгами, и учитель это сознавалъ, но все-таки продержалъ его висящимъ надъ книгой достаточно.

— Бросьте эту тварь.

Аксютка пробрался въ Камчатку.

— Дать ему *сугубое раза!*

Товарищи повскакали съ партъ, бросились на Аксютку и зарядили ему въ голову *картечи*, то-есть швычковъ.

Взвылъ Аксютка:

— Хоть убейте, не могу учиться!

Лобовъ имѣлъ обыкновеніе ходить въ классъ съ длиннымъ березовымъ хлыстомъ. Онъ поднялся съ мѣста и *вытянулъ* Аксютку вдоль спины, а тотъ взвылъ:

— Ей Богу не могу учиться!

Лобовъ мало-по-малу успокоился, и классъ продолжался обычнымъ порядкомъ. Спустя нѣсколько времени, онъ крикнулъ:

— Цензоръ, квасу!

Цензоръ отправился за квасомъ и принесъ его.

Лобовъ, прихлебывая изъ оловянной кружки квасъ, просматривалъ нотату и назначалъ по фамиліямъ, кому къ печкѣ — для сѣченья, кому къ доскѣ на колѣни, кому колѣнами на ребро парты, кому безъ обѣда, кому въ городъ не ходить. Классъ Лобова разукрасился всевозможно разставленными фигурами. Потомъ онъ сталъ спрашивать знающихъ учениковъ, поправляя отвѣчающаго, когда онъ отвѣчалъ не слово въ слово, и запивая бурсацкую премудрость

круто завареннымъ квасомъ. Онъ сидѣлъ обыкновенно въ калошахъ, не снимая своей красноватаго цвѣта шинели. Когда спрошенный изъ учениковъ кончилъ свой отвѣтъ, Лобовъ полѣзъ въ карманъ шинели и вынулъ изъ него довольно большой пирогъ, который сталъ уписывать съ апетитомъ. Бурсаки съ жадностью посмотрѣли на пожираемый пирогъ. Такъ Лобовъ имѣлъ обычай завтракать во время класса, мѣшая пищу духовную съ пищей тѣлесной.

Послѣ экзаминаціи пяти учениковъ, онъ сталъ дремать и наконецъ заснулъ, легонько всхрапывая. Отвѣчавшій ученикъ долженъ былъ дожидаться, пока не проснется великій педагогъ и не примется опять за дѣло. Лобовъ никогда уроковъ не объяснялъ — жирно дескать будетъ, а отмѣчалъ ногтемъ въ книжкѣ *съ энтихъ до энтихъ*, предоставляя ученикамъ выучить урокъ *къ слѣдующему*, то-есть классу.

Что этотъ великій педагогъ, въ своей юности, недосѣченъ, или пересѣченъ?

Морфей легонько посвистывалъ себѣ черезъ носъ педагога, а ученики, наказанные на колѣни и столбомъ, воспользовались этимъ. Поднялся легкій шумокъ и начались невинныя игры бурсаковъ, какъ-то въ шашки, *святцы* (карты), костяжки, щипчики, швычки и т. п.

Ударилъ звонокъ, учитель проснулся, и послѣ обычной молитвы удалился. По выходѣ учителя, классъ наполнился обычнымъ шумомъ.

Второй классъ, латинскій, занималъ нѣкто Долбежинъ. Долбежинъ былъ тоже огромнаго роста господинъ; онъ былъ человѣкъ чахоточный и раздражительный, и строгъ до крайности. Съ нимъ шутить никто не любилъ, ругался онъ въ классѣ до того не-

прилично, что и сказать нельзя. У него было положено за священнѣйшую обязанность въ продолженіе курса непремѣнно пересѣчь всѣхъ, и прилежныхъ, и скромныхъ, такъ чтобы ни одинъ не ушелъ отъ лозы. Его мучилъ бѣсъ какой-то бурсацкой зависти, когда изъ его класса къ концу курса остались все-таки несѣченными ни разу двое, державшихъ себя крайне осторожно. Придраться было не къ чему, но онъ выискалъ-таки случай. Однажды онъ пропустилъ было уже свой классъ, и ученики весело ожидали звонка, но вдругъ минутъ за пять до него Долбежинъ показался на концѣ училищнаго двора; лицо его было какъ-то особенно грозно (онъ былъ сильно выпивши), взоры его были устремлены на окна своего класса. Многіе струхнули. Одинъ изъ несѣченныхъ въ это время взглянулъ въ окно и потомъ быстро скрылся въ классѣ.

— Елеонскій (несѣченный!) крикнулъ, входя въ классъ, Долбежинъ.

Елеонскій, трясясь всѣмъ тѣломъ, подошелъ къ нему.

Долбежинъ ударилъ его въ лицо кулакомъ и окровавилъ его; изъ носу и рта потекла кровь.

Елеонскій ни слова не отвѣчалъ. Блѣдный и дрожащій, онъ смотрѣлъ безсмысленно на учителя.

— Отодрать его!

Елеонскаго отодрали.

Остался одинъ только несѣченный. Того напротивъ отодралъ Долбежинъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа.

— Душенька, сказалъ онъ ему, улыбаясь: — поди къ порогу.

— Да за что же?

— За то, что тебя ни разу не сѣкли.

Тотъ и не думалъ отвѣчать, что это не причина, и отправился къ порогу.

Не осталось ни одного несѣченнаго въ классѣ.

Но не смотря на все это, трудно повѣрить, его не только уважало товарищество, но и любило. Долбежинъ самъ былъ точно отпѣтый. Онъ, какъ и товарищество, терпѣть не могъ «городскихъ», и одному изъ нихъ далъ самое неприличное прозвище; фискала, пришедшаго къ нему наушничать, онъ отодралъ не на животъ, а на смерть; ученики въ родѣ Гороблагодатскаго были его любимцами. Однажды Блоха рѣшился изумить товарищество, и подъ лозами, Долбежина молчалъ, какъ-будто и не его дерутъ: Долбежинъ при всѣхъ назвалъ его молодцомъ, тогда какъ за ту же продѣлку Лобовъ вознесъ его на воздусяхъ, а потомъ просолилъ насквозь сѣченное тѣло. Долбежинъ не бралъ съ родителей взятокъ и до того былъ честенъ, что составленный имъ списокъ учениковъ, съ отмѣтками объ ихъ ученіи за треть, онъ читалъ ученикамъ и позволялъ устроивать диспуты тѣмъ, которые претендовали на высшее мѣсто. Вотъ за это-то и любили его.

Сегодня были только два случая въ классѣ. Вызванъ былъ *Копыта*. Онъ взялъ книжку латинскую и хотѣлъ было остаться переводить за партою.

— На средину! сказалъ Долбежинъ.

На середкѣ отвѣчать было хуже, чѣмъ за партой, потому что въ первомъ случаѣ товарищи *подсказывали* ученику. Отвѣчающій способенъ былъ разслышать самый тонкій звукъ, а если не разслушивалъ, то, глядя искоса, онъ угадывалъ слово по движенію губъ.

Копыта вышелъ *на середку*. Здѣсь онъ *срѣзался* (то-

же, что въ гимназіи *провинился*) и не могъ перевести одного пункта.

— Не такъ! сказалъ Долбежинъ.

Тотъ перевелъ иначе.

— Не такъ!

Копыта на новый манеръ.

— Къ печкѣ!

Копытѣ дали *всего* десять ударовъ. Онъ обрадовался, что такъ легко отдѣлался, и уже направился за парту, но услышалъ голосъ Долбежина:

— Переводи снова.

Тотъ перевелъ ему на новый манеръ.

— Еще разъ къ печкѣ!

Копытѣ дали еще десять лозъ и снова заставили переводить. На этотъ разъ Копыта сказалъ, что онъ не можетъ и придумать еще новой варьяціи, за что и услышалъ:

— Къ печкѣ!

Десять дали и—снова переводить. Копыта напрягъ всѣ усилія памяти и разсудка. Ничего не выходило.

— Ну! сказалъ Долбежинъ, и уже палецъ указательный его поднялся по направленію къ печкѣ.

Способности Копыты были страшно напряжены, мозгъ работалъ въ сто силъ лошадиныхъ, и вотъ, — точно озареніе свыше, сложилась въ головѣ новая варьяція. Онъ сказалъ ее.

— Наконецъ-то! одобрилъ его Долбежинъ. — Довольно съ тебя. Пошелъ за парту. Вались дерево на дерево!

Вслѣдъ за тѣмъ Долбежинъ обратился къ *Трезорки:*

— Вокабулы приготовилъ?

— Нѣтъ.

— Что? который это разъ?

— Если угодно, приготовлю, — отвѣчалъ Трезорка бойко.

Трезорка былъ городской и привыкъ къ довольно свободному обращенію. Его развязность взбѣсила Долбежина. Онъ поблѣднѣлъ, на лбу надулись жилы.

— Ахъ ты подлецъ! закричалъ онъ, и сильной рукой поднялъ въ воздухѣ здоровый лексиконъ Кронеберга. Лексиконъ взвился и пролетѣлъ черезъ классъ: еще немного — тамъ и влѣпился бы въ голову бойкаго мальчика. Онъ потомъ началъ ругаться и плевать; въ его чахоточной груди клокотала мокрота; дерзость озадачила его, но онъ почему-то не посмѣлъ отпороть Трезорку, — вѣроятно потому, что отецъ Трезорки былъ довольно значительное лицо въ городѣ. И дѣйствительно завязалось было дѣло, но кончилось все-таки ничѣмъ.

Въ классѣ послѣ этого скандала наступила смертная тишина. Всѣ дрожали. Одинъ только беззаботный Карась, притомъ еще сидѣвшій на первой партѣ, на глазахъ разъяреннаго учителя, ухитрился уснуть. Его вдругъ спросилъ учитель, а онъ, не слыша этого, тихо всхрапывалъ. Товарищъ его толкнулъ, но уже было поздно: у учителя сверкали глазки.

— Къ печкѣ!

— Розогъ нѣтъ, сказалъ сѣкундаторъ.

— А давеча чѣмъ сѣкъ?

— Тѣ изломались.

— Сходи за новыми.

Карась между тѣмъ клялся и божился, что всталъ въ три часа, чтобы приготовить урокъ, что у него голова болитъ, а въ существѣ дѣла на него одурь напала отъ латынщины и онъ смежилъ свои карасиныя очи.

— Я тебѣ!

Явился сѣкундаторъ, но безъ розогъ.

— Розги всѣ вышли, сказалъ онъ.

Учитель опять вспыхнулъ, поднялся со стула и отправился къ той партѣ, гдѣ сидѣлъ сѣкундаторъ. Онъ отыскалъ свѣжія розги. Карась запищалъ:

— Простите!..

Но учитель въ это время позабылъ Карася, а направился къ сѣкундатору. Взявъ пукъ длинныхъ лозъ за жидкій конецъ, онъ началъ бить его комлемъ и по спинѣ, и въ брюхо, и въ плечи, и по ногамъ.

Раздался звонокъ. Пропѣли молитву «достойно есть»... Между тѣмъ Карась спасся. Этотъ же учитель, озлившійся на Трезорку за умѣренный оттѣнокъ дерзости въ его отвѣтѣ, прощалъ и даже съ удовольствіемъ встрѣчалъ дерзости очень крупныя. Такъ однажды на публичномъ экзаменѣ пришлось держать отвѣтъ нѣкоему Ваксѣ. Долбежинъ изъ-подъ стола показалъ ему кулакъ и проговорилъ тихо: «только срѣжься, я тебѣ!» — Вакса показалъ ему свой кулакъ и прошепталъ непечатную брань. Это только утѣшило учителя.

Наконецъ Долбежинъ былъ циникъ. Онъ съ тѣмъ же Ваксой разсуждалъ о самыхъ грязныхъ вещахъ. Тотъ ему отвѣчалъ не стѣсняясь и откровенно, и оба они импровизировали самымъ грязнымъ образомъ на разныя темы.

Заглянула бурса въ столовую, «щей негодныхъ похлебала, и опять въ свой классъ идетъ.» Кормили скверно; хлѣбная мука мѣшалась съ мякиной; нерѣдко порціи говядины летѣли за окно и гнили потомъ на дворѣ; одинъ только Комедо собиралъ порцій по шести и потреблялъ ихъ; въ супѣ попадались маленькіе бѣловатые

червяки, въ кашѣ мышиный пометъ; только при одномъ экономѣ пища была безукоризненна, но такіе экономы были рѣдкость въ бурсѣ. (Впрочемъ, въ своемъ мѣстѣ мы дойдемъ и до этого экономa.)

Лобовъ граничилъ по своему характеру къ Тавлѣ, Долбежинъ къ Гороблагодатскому. Перейдемъ теперь къ характеристикѣ третьяго лица, которое, собственно говоря, не составляло цѣльнаго типа, а было помѣсью двухъ названныхъ нами. Этотъ господинъ носилъ имя Батьки.

Онъ былъ красавецъ собою, съ открытымъ груднымъ и объемистымъ басомъ, лицо — кровь съ молокомъ. Онъ между прочимъ преподавалъ такъ называемый «*Уставъ*», то-есть науку, какъ править церковныя службы. Эта наука излагалась имъ самымъ страннымъ образомъ. Вмѣсто того, чтобы выдать церковныя книги на руки ученикамъ, ознакомить съ тѣми книгами наглядным образомъ, показать по самымъ книгамъ, когда, что и гдѣ читалось и пѣлось, — вмѣсто этого выдавались записочки, въ которыхъ, по порядку службы, обозначались только первыя слова каждаго чтенія или пѣнія. Такихъ заголовковъ цѣлые листы писчей бумаги. До того трудно и тошно было ученье и зубренье, что изо ста слишкомъ учениковъ знало урокъ, случалось, только четверо. Кажется ясно, что тутъ не ученики виноваты. Правда, могло случиться, что ученики на зло учителю дѣлали стачку не учить урока, но такія стачки назывались бунтомъ и разрѣшались великимъ сѣченіемъ класса; но тутъ была не стачка, а просто физическая и умственная невозможность вызубрить все это. И это понималъ самъ Батька. Не смотря на все это, онъ поочередно сѣкъ весь классъ: такъ парта за партой и выдвигалась къ печкѣ. Хотя въ этихъ

случаяхъ сѣкундаторы были крайне снисходительны, но снисходительны только къ тѣмъ, кого любили. Сѣкундаторы были очень изобрѣтательны и свою профессію знали спеціально. Когда Батька заподозрѣвалъ сѣкундатора въ мирволеньи и шелъ свидѣтельствовать производство сѣкуціи, тогда оказывалось, что тѣло наказываемаго было покрыто синими полосами: секретъ въ томъ, что секундаторъ намазывалъ лозы чернилами, потомъ стиралъ ихъ слегка; достаточно было легкаго прикосновенія ихъ, чтобы сдѣлать фальшивый рубецъ. Чортъ знаетъ, на что расходовался умъ воспитанника! Когда приходилось, что три описанные учителя занимали уроки въ одинъ и тотъ же день, то одного и того же ученика сѣкли нѣсколько разъ. Такъ Карася, случалось, отдирали четыре раза въ одинъ день (въ продолженіе училищной жизни непремѣнно разъ четыреста). Но сегодня не было устава. Занимались другимъ предметомъ. Бѣда, когда Батька приходилъ пьянъ! Тогда лицо его было блѣдно, а черные, огромные глаза особенно глубоки и блестящи. Сегодня эта бѣда и случилась. Всѣ вздрогнули, какъ только онъ вошелъ. По лицу всѣ узнали, что будетъ классу великое горе. Взялъ онъ нотату. Мучительную и страшную минуту пережилъ классъ. Батька вызвалъ Элпаху. Элпаха, трясясь тѣломъ и содрогаясь душою, вышелъ на средину.

— Я... — голосъ его пересѣкся...

— Что ты? спокойнымъ, но глубоко, сосредоточенно-злымъ голосомъ спросилъ его Батька.

— Я... сегодня... имянинникъ...

— Такъ съ ангеломъ! Октава его упала на двѣ ноты ниже, а сердце свирѣпѣло и въ немъ развивались кровожадность и звѣрскіе инстинкты.... Страшенъ онъ былъ въ эту минуту.

— Я... заговорилъ страдалецъ: — былъ въ церкви...

— Доброе дѣло!

— Я потому и не успѣлъ выучить урока... погасающимъ голосомъ продолжалъ Элпаха, видя, какъ съ мертвенно-блѣднаго лица смотрѣли на него неподвижные, блестящіе сосредоточенной ненавистью глаза...

— Ты думаешь, что радуется твой ангелъ на небесахъ?

Элпаха молчалъ; въ его сердцѣ пробивалась слабая надежда, что его не накажутъ, потому что батькинъ гнѣвъ иногда истощался въ нравоученіяхъ, которыми увлекался онъ на полчаса и болѣе. Элпаха ждалъ, что будетъ.

— Онъ плачетъ о твоей лѣности.

Элпаха ни живъ, ни мертвъ.

— И ты долженъ плакать. Поди сюда.

Элпаха ни съ мѣста.

— Поди же сюда! — тѣмъ же ровнымъ, спокойнымъ голосомъ повторилъ Батька.

Элпаха подошелъ къ нему.

— Встань тутъ, около меня, на колѣни.

Дрожащій Элпаха всталъ.

— Твой ангелъ плачетъ, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мнѣ на колѣни.

Тотъ медленно исполнилъ это, не понимая, что съ нимъ хотятъ дѣлать. Но вотъ онъ сильно вскрикнулъ и поднялъ голову, за которую ухватился руками.

— Лежи, лежи! сказалъ ему Батька.

Отчего вскрикнулъ Элпаха? А оттого, что Батька взялъ щепоть волосъ его, сильной рукой вздернулъ ихъ кверху, вырвалъ съ корнемъ, и постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувалъ съ нихъ волоса и продолжалъ дуть, пока они летѣли въ воздухѣ.

— Лежи, лежи! повторилъ Батька.

Элпаха съ воемъ опустилъ свою голову на колѣни его, какъ на эшафотъ...

Батька взялъ вторую щепоть Элпахиныхъ волосъ, и опять выдернулъ ихъ съ корнемъ, и опять ихъ пустилъ по воздуху.

— Простите ради Бога! взмолился страдалецъ.

— Лежи, лежи! отвѣчалъ Батька. Что-то сатанинское было въ его ровныхъ октавахъ...

Еще медленнѣе и хладнокровнѣе онъ повторилъ ту же операцію въ третій разъ.

Элпаха рыдалъ мучительно.

— Теперь поди встань на колѣни посреди класса! сказалъ Батька, когда улетѣлъ послѣдній волосъ Элпахи и пропалъ въ воздухѣ.

Батька потомъ долго сидѣлъ, понуря голову. Не почувствовалъ ли онъ угрызеній совѣсти?

— Стой на колѣняхъ *цѣлый годъ!*

Значитъ, совѣсть его была спокойна. Батька имѣлъ обыкновеніе ставить на колѣни на цѣлый годъ, на цѣлую треть, на мѣсяцъ: какъ его классъ, такъ и становись. Безпощадный человѣкъ!

Въ продолженіе всего класса Батька разбойничалъ. Чего, чего онъ не придумывалъ: заставлялъ *кланяться печкѣ*, *цаловать розги*, сѣкъ и *солилъ сѣченаго*, одно слово — артистъ въ своемъ дѣлѣ, да подъ пьяную еще руку.

Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тѣмъ же причинамъ, по какимъ и Долбежина, и только меньшинство ненавидѣло его и боялось. Въ описываемый нами періодъ бурсы нравственный уровень товарищества и начальства былъ почти одинаковъ. Но впослѣдствіи увидимъ, что

въ товариществѣ и въ лучшей половинѣ начальства развились иныя начала. Что описываю теперь,—скверно, но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрѣе люди изъ начальства. И жаль, и досадно мнѣ, что нѣкоторые писатели заявили, будто я все исчерпалъ относительно бурсы въ «Зимнемъ вечерѣ бурсы». Уже въ слѣдующемъ очеркѣ вы увидите добрые задатки для будущаго въ жизни бурсаковъ, хотя и тамъ будетъ много гадкаго. Бурса будетъ въ моихъ очеркахъ, какъ и на дѣлѣ было, постепенно улучшаться,—только позвольте описать такъ, какъ было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дѣло строится не сразу, а должно пройдти многія фазы развитія. Еще очерковъ восемь, и бурса, дастъ-Богъ, выяснится окончательно. Если придется ограничиться только этими двумя очерками—«Зимній вечеръ въ бурсѣ» и «Бурсацкіе типы», — то будетъ очень жаль, потому что читатель тогда не получитъ полнаго понятія о томъ, что такое бурса, и потому относительно составитъ о ней ложное представленіе.

ЖЕНИХИ БУРСЫ.

(ОЧЕРКЪ ТРЕТІЙ).

1863.

ЖЕНИХИ БУРСЫ.

Наконецъ, Аксютка доигрался съ Лобовымъ до скверной шутки. Заглянула бурса въ столовую, щей негодныхъ похлебала, и опять въ свой классъ идетъ. Одинъ лишь Аксютка щолкаетъ зубами.

Какъ бы то ни было, всѣ болѣе или менѣе подкрѣпились: одинъ лишь Аксютка щолкаетъ зубами отъ голода, или по туземному выраженію, у него *по брюху девятый валъ ходитъ, въ брюхѣ зорю бьютъ*. Положеніе Аксютки никогда не было такъ безпомощно, какъ теперь, и въ моральномъ, и въ животномъ отношеніи. Онъ, потѣшаясь надъ Лобовымъ, по обыкновенію своему, лишь только попалъ въ камчатку, какъ опять сталъ появляться въ *нотатѣ* съ *пятками*, т. е. самыми лучшими баллами.

Это только всбѣсило учителя:—«Ты, животное, — сказалъ ему Лобовъ: — потѣшаешься надо мною: когда тебя порютъ, у тебя въ нотатѣ нули; когда шлютъ въ камчатку — пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейдти на первую парту, чтобы потомъ снова бѣсить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебѣ на первой партѣ, и пока у тебя снова не будутъ нули, до тѣхъ поръ не ходи въ столовую». Аксютка

клялся и божился, что онъ раскаялся и теперь будетъ учиться постоянно. Лобовъ ничего слышать не хотѣлъ. «Не надо твоего ученья», сказалъ онъ: — «сиди въ камчаткѣ». Аксюткино самолюбіе было сильно задѣто, и, раздувая ноздри, онъ думалъ: «посмотримъ, чья возьметъ!» И въ нотатѣ его были отличные баллы; но Лобовъ каждый разъ говорилъ ему: «и сегодня не жри!»

Въ продолженіе трехъ дней Аксютка кое-какъ перебивался, выкрадывая тамъ или здѣсь булку, сайку, ломоть хлѣба, толокно, горохъ и тому подобное. Вчера онъ забрался въ *сбитенную*, гдѣ *Ванька рыжій* продавалъ сбитень, сайки, булки, пеклеванные хлѣбы, сухари, крендели, яблоки, рѣпу, патоку, медъ и красную икру, а для избранныхъ и *водчонку*, разумѣется, по двойной цѣнѣ противъ откупной; здѣсь Аксютка успѣлъ украсть нѣсколько булокъ, насадивъ на палку гвоздь, которымъ и добывалъ изъ-за залавка съѣдомое, когда Ванька рыжій отходилъ въ другую сторону. Но сегодня была среда, а сбитенная наполнялась биткомъ только по понедѣльникамъ и вторникамъ, пока у бурсачковъ держались деньжонки, принесенныя изъ дому; а при безлюдствѣ въ сбитенной опасно было рисковать на воровство въ ней. Что было дѣлать? Бурсаки, зная, что у Аксютки девятый валъ на брюхѣ, бережно припрятывали ломти хлѣба и зорко слѣдили за нимъ. Большинство не желало дѣлиться съ нимъ запаснымъ хлѣбомъ; впрочемъ, и дѣлиться было не съ чего: утреннихъ и вечернихъ фриштиковъ въ бурсѣ не полагалось; за обѣдомъ выдавали только по два ломтя хлѣба, изъ которыхъ одинъ съѣдался въ столовой, а другой уносился въ карманѣ въ запасъ.

Между тѣмъ все училище высыпало на дворъ. Ученики строили катальную гору. Такъ какъ досокъ взять было не откуда, то вся гора была сплошь изъ снѣга. Снѣжные комы, величиною въ ростъ человѣка, двигались по огромному двору училища. Около каждаго изъ нихъ, подъ командою вожака, работало человѣкъ по десяти. Комы доставлялись къ горѣ, около которой, какъ муравьи въ муравейникѣ, кишили ученики. Дня черезъ два, по длинному расчищенному раскату, который былъ немного менѣе балаганныхъ раскатовъ Петербурга, полетитъ бурса внизъ головою на санкахъ, салазкахъ, подмороженныхъ дощечкахъ, рогожкахъ, конькахъ, а то и просто на самородномъ самокатѣ, т. е. на брюхѣ вверхъ спиною. Бурсаки представляютъ веселый и радостный видъ: раздается команда выбраннаго распорядителя, призывъ къ работѣ, звонкіе басы и теноры, хохотъ, остроты. Весело.

Аксютка щолкаетъ зубами.

На лѣвой сторонѣ двора около осьмидесяти человѣкъ играютъ *въ килу*, — кожаный, набитый волосомъ мячъ, величиною въ человѣческую голову. Двѣ партіи *сходились* стѣна на стѣну; одинъ изъ учениковъ *велъ килу*, медленно подвигая ее ногами, въ чемъ состоялъ верхъ искусства въ игрѣ, потому что отъ сильнаго удара мячъ могъ перейдти въ противоположную сторону, въ лагерь непріятеля, гдѣ и завладѣли бы имъ. Запрещалось *бить съ носка* — при этомъ можно было нанести ударъ въ ногу противника. Запрещалось *бить съ закилька*, т. е., забѣжавъ въ лагерь непріятеля, и выждавъ, когда перейдетъ на его сторону мячъ, прогонять его *до города* — назначенной черты. Нарушающему правила игры *мылили шею*.

— Кила! закричали ученики — это означало, что *городъ взятъ*.

Побѣдители въ восторгѣ и съ гордостью возвращались на свое мѣсто. Имъ весело.

Аксютка же щолкаетъ зубами.

Въ углу двора, около сбитенной и хлѣбной пекарни, нѣсколько человѣкъ прокапывали въ огромной кучѣ снѣга норы и проползали черезъ тѣ норы на своемъ брюхѣ. Въ другомъ углу двора играли въ крѣпость, стараясь выбить другъ друга изъ занятой на кучѣ снѣга позиціи, причемъ, вмѣсто картечи, употреблялись въ дѣло снѣжки. Гришкецъ и Васенда повалили Сашкеца на снѣгъ, зарыли его съ руками и ногами въ кучу снѣга, такъ что торчитъ одна лишь голова Сашкеца, — онъ беззащитенъ, и творятъ ему *смазь вселенскую*. Гришкецъ и Васенда хохочутъ, да и Сашкецъ хохочетъ — это была шутка полюбовная. Всѣмъ весело.

Аксютка щолкаетъ зубами.

На дворъ училища вошли двѣ женщины — одна старуха, другая лѣтъ тридцати слишкомъ. Спросивши, гдѣ живетъ *инспекторъ*, т. е. инспекторъ, онѣ направились къ двухъ-этажному зданію, крыша котораго заканчивалась шпилемъ со звѣздою. Скоро онѣ уже стояли въ залѣ инспектора. Старуха была женщина дряхлая, лицо въ трещинахъ, до того обожженное лѣтнимъ солнцемъ, что и зимою не сходилъ съ него загаръ; маленькіе глазки ея бѣгали, какъ двѣ перепуганныхъ мыши, и тоскливое ихъ выраженіе возбуждало жалость. Эта сгорбившаяся дама имѣла на сѣдой, въ вискахъ плѣшивой, головѣ шерстяной платокъ, на плечахъ по-

ношенную шубейку, на ногахъ мужскіе сапоги. Другая женщина была лѣтъ тридцати двухъ, высокаго роста, рябая, съ длинными мозолистыми руками: она смотрѣла изъ подлобья съ тѣмъ безпристрастьемъ, съ которымъ смотрятъ люди на что либо неизбѣжное въ ихъ жизни и съ чѣмъ они примирились. Одѣта она въ новую заячью шубку, въ новый платокъ, и на ногахъ ея не сапоги, башмаки козловые.

Онѣ прождали инспектора около получаса. Наконецъ, инспекторъ вышелъ, но, очевидно, въ дурномъ расположеніи духа.

— Что вамъ надо? сказалъ онъ грубо.

Обѣ женщины повалились въ ноги. Старая заплакала и тѣмъ напѣвомъ, какимъ голосятъ у насъ по покойникамъ, стала приговаривать:

— Батюшка, отецъ родной... Охъ, кормилецъ, наше горе большое... лишились послѣдняго хлѣбушка... батюшка, не погнѣвайся!..

Старуха стукнула въ полъ головою.

Такое раболѣпіе смягчило нѣсколько инспектора; но дурное расположеніе его духа не миновалось окончательно.

— Говори, зачѣмъ пришли...

Старуха отъ грознаго голоса начальника трепетала, терялась и понесла дичь:

— Померъ голубчикъ нашъ... пришибло сердечнаго... испилъ кваску, сначала таково легко...

Инспекторъ вышелъ изъ себя:

— Чтобы чортъ васъ побралъ, паскудныя бабы! крикнулъ онъ, топнувъ ногою...

Обѣ женщины замерли...

— Сейчасъ на ноги и говори толкомъ, а не то метлой выгнать велю!.. Шлюхи!.. и поспать не дадутъ!..

— Батюшка!.. начала было опять старуха...

— Иванъ! закричалъ инспекторъ: — гони ихъ въ шею!..

Обѣ женщины вскочили на ноги. Старушка бросилась изъ пріемнаго зала въ переднюю. Все это со стороны казалось очень страннымъ, особенно послѣдній маневръ старой женщины; теперь должно было, по видимому, ожидать, что инспекторъ окончательно выйдетъ изъ себя, но, напротивъ, взглядъ его прояснился и онъ сталъ спокойно ходить вдоль комнаты, дожидаясь терпѣливо старухи.

Та скоро вернулась, въ одной рукѣ — съ кулькомъ, въ другой — съ узломъ. То и другое она положила къ ногамъ начальника.

— Что это? спросилъ онъ.

— Не побрезгуй, батюшка, деревенскимъ гостинцемъ, и...

— Покажи, что тутъ?

Старуха, торопливо развязывая кулекъ, вынимала изъ него сахаръ, чай, бутылку рому, сушеные грибы и яблоки, а въ узлѣ оказалось десятка четыре аршинъ холста...

Инспекторъ не безъ удовольствія, но и не безъ достоинства сказалъ:

— Хорошо, спасибо... Въ чемъ же твое дѣло?

— Это вотъ дочка моя, говорила старуха: — сиротой осталась... были у преосвященнаго... закрѣпилъ за ней мѣстечко... отцовское...

— Ну, такъ что же?

— Къ тебѣ послалъ.

— *За женихами?*

— *За женихами*, батюшка, и старуха опять чебурахъ въ ноги.

— Хорошо, хорошо.

— Да не озорниковъ какихъ, батюшка! Старуха при этомъ вытянула свою руку, разжала кулакъ, и на ладони ея очутился серебряный рубль.

Инспекторъ взялъ старухинъ рубль и положилъ его себѣ въ карманъ съ полнымъ спокойствіемъ, точно такъ, какъ авдиторъ беретъ съ подъавдиторнаго взятку.

— У меня двое есть, а, можетъ быть, найдутся и еще охотники.

Послѣ того инспекторъ распросилъ, гдѣ мѣсто, какія обязательства, доходы, составъ причта, спросилъ адресъ старухи и обѣщалъ отпустить учениковъ на другой день на смотрины.

Старуха и невѣста, поблагодаривъ инспектора, отправились во-свояси. Онѣ остановились на дворѣ и посмотрѣли на пестрѣющую толпу учениковъ.

«Кого-то изъ нихъ Богъ пошлетъ кормильцемъ?» подумала старуха.

«Съ кѣмъ-то изъ нихъ подъ вѣнецъ идти?» подумала невѣста.

Эта невѣста была *закрѣпленная невѣста*, вступавшая въ бракъ единственно для того, чтобы не умереть съ голоду. У насъ на Руси не рѣдкость, что бракъ устроивается потому, что женихъ получитъ повышеніе по службѣ и приданое, а невѣста пристроится, получитъ имя жениха и чинъ его. Но все это дѣлается болѣе или менѣе въ приличныхъ формахъ, такъ или иначе маскируется, и потому не поражаетъ сильно своимъ безобразіемъ и извращеніемъ честныхъ цѣлей брака. Случаевъ такихъ вездѣ не мало. Но нигдѣ святость брака такъ не попирается, какъ въ сферѣ бурсацкихъ ти-

повъ. Здѣсь нарушеніе брака, извращеніе его—узаконено и освящено обычаемъ. Бурсакъ, сѣченный, быть можетъ, разъ четыреста, унижаемый и уродуемый нравственно, умственно и физически, часто въ продолженіе четырнадцати лѣтъ, наконецъ, послѣ такой педагогической дрессировки, заслужившій дипломъ, дающій, по видимому, ему право получить мѣсто въ приходѣ, — не иначе можетъ достигнуть этого, какъ обязавшись взять *такую-то*, по назначенію отъ *начальства*, *казенную*, *закрѣпленную* дѣвицу. Выходитъ что-то въ родѣ того, когда, бывало, *помѣщики женили* своихъ крестьянъ, а не то, чтобы крестьяне *сами женились*. Когда умираетъ то или другое лицо духовное и у него остается семейство, — куда ему дѣться? Хоть съ голоду умирай!.. Домъ (если онъ церковный), земля, сады, луга, родное пепелище — все должно перейдти преемнику. Русскіе священники, діаконы, причетники — представители православнаго пролетаріата... У нихъ нѣтъ собственности... До поступленія на мѣсто всякій попъ нашъ гладенъ и хладенъ, при поступленіи приходъ его кормитъ; умираетъ онъ всегда съ тяжелой мыслью, что его сыновья и дочери пойдутъ по міру. Вотъ это-то пролетаріатство духовенства, безземельность, необезпеченность извратили всю его жизнь. Чтобы не дать умереть съ голоду осиротѣвшимъ семействамъ духовныхъ лицъ, рѣшились пожертвовать однимъ изъ высочайшихъ учрежденій человѣческихъ — бракомъ. Мѣсто *закрѣпляютъ* — техническое, замѣтьте, чуть не оффиціальное выраженіе. По смерти главы семейства, мѣсто его остается за тѣмъ, кто согласится взять замужъ его дочь, либо родственницу. Кандидатамъ на мѣста объявляется объ открывшейся вакансіи, со взятіемъ *такой-то*. Начинается хожденіе жениховъ

въ домъ невѣсты. Большею частію это дѣлается на скорую руку, всегда назначается срокъ для выбора невѣсты, вслѣдствіе чего *посягающіе* не имѣютъ времени узнать одинъ другого. И бывали такіе случаи, что невѣста, находясь за двѣсти верстъ, не успѣвала ко времени пріѣхать въ главный эпархіальный городъ; претендентъ на поповское мѣсто не имѣлъ средствъ и времени съѣздить къ невѣстѣ; тогда обѣ стороны списывались; давалось заочное согласіе, и, получивши уже указъ о поступленіи на мѣсто, женихъ ѣхалъ къ невѣстѣ; при такихъ порядкахъ нерѣдко выходили скандальныя столкновенія — невѣста попадалась старая, рябая, сварливая дѣвчина, и женихъ еще до свадьбы порывался побить ее. Но когда невѣста пріѣзжала въ городъ, такъ и тогда умѣли обдѣлывать дѣла и спускали залежалый и бракованный товаръ съ удивительною ловкостію: щоки невѣсты штукатурились, смотрины назначались вечеромъ, при слабомъ освѣщеніи, — и рябое выходило гладкимъ, старое молодымъ... Бывало и то, что до самаго вѣнца роль невѣсты брала на себя ея родственница, молодая и недурная собою женщина, иногда замужняя, и уже только въ церкви по лѣвую руку женихъ видѣлъ какого нибудь монстра, въ родѣ тѣхъ древнихъ изображеній, которыя въ старину сначала задымляли и коптили, а потомъ промѣнивали на лукъ и яйца. Что было дѣлать? Бурсакъ, наголодавшись послѣ бурсы вдоволь, стиснувъ зубы и скрѣпивъ сердце смотрѣлъ на свою будущую сожительницу, но... махнувъ рукою, поступалъ согласно внушенію Ольги, сдѣланному ею князю Игорю, и, стоя подъ вѣнцомъ, думалъ думу, какъ бы въ первую же ночь изломать бока своей, чортъ бы ее взялъ, подругѣ жизни. Нечего говорить, что, при подобномъ надуваньи и фаль-

шѣ, бракъ есть зло и поруганіе самыхъ святыхъ правъ человѣчества. Но, когда при смотринахъ и сватовствѣ товаръ показывали лицомъ, и тогда рѣдко-рѣдко бракъ былъ счастливымъ. Если часто бываетъ, что послѣ долгаго знакомства, бракъ неудаченъ, что сказать о томъ, когда онъ устроивался на авось... Въ свѣтскихъ искусственныхъ бракахъ большею частію оскорбляется женщина; но въ бурсацкихъ и женщина и мужчина... Въ свѣтскихъ мужчина говоритъ: «я сытъ и есть у меня имя, иди за меня — ты будешь сыта и получишь имя»; въ бурсацкихъ же не то: женихъ кричитъ: «ѣсть нечего»; невѣста кричитъ: «съ голоду умираю»—и исходъ одинъ: соединиться обѣимъ сторонамъ. Все это — порожденіе проклятаго пролетаріата въ нашемъ духовенствѣ. Кого же тутъ винить?

Вотъ и дьячиха привезла, по смерти своего мужа, свою задеревенѣлую дочь и успѣла закрѣпить за ней мѣсто. Преосвященный послалъ ее въ училище, чтобы изъ готовящихся къ исключенію выбрать жениха.

Въ тѣ времена, когда въ бурсѣ свирѣпствовали Лобовъ, Батька, Долбежинъ и тому подобные педагоги, въ ней уже нарождался новый типъ учителей, какъ будто болѣе гуманныхъ.

Къ нимъ принадлежалъ Павелъ Ѳедоровичъ Красновъ.

Павелъ Ѳедоровичъ былъ изъ молодыхъ, окончившихъ курсъ семинаріи, студентовъ. Это былъ мужчина красивый, съ лицомъ симпатическимъ, по натурѣ своей человѣкъ добрый, деликатный.

Хотѣлось бы намъ отнестись къ нему вполнѣ сочувственно, но какъ это сдѣлать?

Онъ и не думалъ изгонять розги, а напротивъ защищалъ ее, какъ необходимый суррогатъ педагогическаго дѣла.

Но онъ, наказывая ученика, не давалъ никогда болѣе десяти розогъ. Преподавая ариѳметику, географію и греческій языкъ, онъ не заставлялъ зубрить слово въ слово, а это въ бурсѣ почиталось едва ли не признакомъ близкаго пришествія антихриста и кончины вѣка сего. Онъ позволялъ ученикамъ дѣлать себѣ вопросы, возраженія, требовать объясненій по разнымъ предметамъ, и снисходилъ до отвѣтовъ на нихъ, а это уже окончательный либерализмъ для бурсы. Увлекаясь своимъ положительно добрымъ сердцемъ, онъ входилъ иногда въ нужды своихъ учениковъ. Такъ мы упомянули въ первомъ очеркѣ объ одномъ несчастномъ, который былъ бы почти съѣденъ чесотными клещами, если бы не Павелъ Ѳедорычъ: онъ сводилъ его въ баню, вымылъ, выпарилъ, остригъ его голову, сжегъ всю его одежду, далъ ему новую и обласкалъ бѣднягу. Былъ случай, что по классамъ Краснова, за его болѣзнію, пришлось справлять уроки Лобову. Лобовъ вознесъ Карася и *отчехвостилъ* его на воздусяхъ. То же самое хотѣлъ онъ сдѣлать съ цензоромъ класса, парнемъ лѣтъ подъ двадцать, но цензоръ утекъ отъ него; тогда Лобовъ записалъ его въ журналъ, и дѣло все-таки пахло розгой. Узнавъ о томъ, какъ въ классѣ свирѣпствовалъ Лобовъ, Красновъ вышелъ изъ себя, разорвалъ въ клочья журналъ и разсорился съ Лобовымъ. Онъ былъ справедливъ относительно списковъ, изъ которыхъ не дѣлалъ для учениковъ тайны, а напротивъ вызывалъ недовольныхъ на диспуты. Разъ только случилось, что Красновъ избилъ своего ученика собственноручно и безпощадно; но и то по той причинѣ,

что бурсакъ рѣшился острить во время отвѣта урока самымъ площаднымъ образомъ, а Павелъ Ѳедорычъ былъ щекотливъ на нервы. Словомъ, Красновъ, какъ частное лицо, неоспоримо былъ честный и добрый человѣкъ.

Но посмотрите, чѣмъ онъ былъ, какъ учитель бурсы.

— Ивановъ! говоритъ онъ.

Ивановъ поднимается съ задняго стола бурсацкой камчатки, за которою Красновъ слѣдилъ постоянно и зорко, вслѣдствіе чего для желающихъ *почивать на лаврахъ*, то есть лѣнтяевъ, онъ былъ нестерпимый учитель. Красновъ донималъ ихъ не столько сѣченьемъ, сколько систематическимъ преслѣдованіемъ; и вотъ это-то преслѣдованіе, основанное на психологической тактикѣ, сильно отзывалось іезуитствомъ. Красновъ въ нотатѣ видитъ, что у Иванова стоитъ сегодня нуль, но все-таки говоритъ:

— Прочитай урокъ, Ивановъ.

Но Ивановъ не отвѣчаетъ ничего. Онъ думаетъ про себя: «вѣдь знаетъ же Красновъ, что у меня въ нотатѣ нуль... что же спрашиваетъ? — только мучитъ!»

— Ну, что же ты?

Ивановъ молчитъ... Лучше бы ругали Иванова, тогда не было бы ему стыдно передъ товарищами, потому что ругань начальства на вороту бурсака, ей же богу, не виснетъ; а теперь Ивановъ поставленъ въ комическое положеніе: надъ его замѣшательствомъ потѣшаются свои же, и такимъ образомъ главная поддержка противъ начальства — товарищество для него не существуетъ въ это время.

— Ты здоровъ ли? спрашиваетъ ласково Павелъ Ѳедорычъ.

Сбычившись и выглядывая изъ подлобья, Ивановъ говоритъ:

— Здоровъ.

— И ничего съ тобой не случилось?

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего, слышится отвѣтъ Иванова какимъ-то псалтирно-панихиднымъ голосомъ.

— Но ты точно разстроенъ чѣмъ-то?

Отъ Иванова ни гласа, ни послушанія.

— Да?

Но Иванову точно ротъ занили.

— Что же ты молчишь?.. Ну, скажи же мнѣ урокъ.

Наконецъ, Ивановъ собирается съ силами. Краснѣя и пыхтя, онъ дико вскрикиваетъ:

— Я... я... не... зна-аю.

— Чего не знаешь?

— Я... урока.

Павелъ Ѳедорычъ притворяется, что не дослышалъ.

— Что ты сказалъ?

— Урока... не знаю! повторяетъ Ивановъ съ натугой.

— Не слышу; скажи громче.

— Не знаю! приходится еще разъ сказать Иванову.

Товарищи хохочутъ.

Ивановъ же думаетъ про себя: «черти бы побрали его!.. привязался лѣшій!»

Учитель между тѣмъ прикидывается изумленнымъ, что *даже* Ивановъ не приготовилъ уроковъ.

— Ты не знаешь? Да этого быть не можетъ!

Новый хохотъ.

Ивановъ радъ провалиться сквозь землю.

— Отчего же ты не знаешь?

Опять начинается травля до тѣхъ поръ, пока Ивановъ не начинаетъ лгать.

— Голова болѣла.

— Угорѣлъ вѣрно?

— Угорѣлъ.

— А ты, можетъ быть, простудился?

— Простудился.

— И угорѣлъ, и простудился?.. Экая, братецъ ты мой, жалость!

Товарищи, видя, что Ивановъ сбился съ толку, помираютъ со смѣху. А мученикъ думаетъ: «Господи ты Боже мой, когда же отпорютъ наконецъ», и рѣшается покончить дѣло разомъ:

— Не могу учиться.

— Отчего же, другъ мой?

— Способностей нѣтъ.

— А ты пробовалъ учить вчера?

— Пробовалъ.

— О чемъ же ты училъ?

Вотъ тутъ доходитъ дѣло до самой мучительной минуты: хоть убей, но разжать рта, точно губы съ пробоемъ, а на пробоѣ замокъ. Ивановъ не обезпокоился не только что выучить урокъ, но даже узнать, что слѣдовало учить. Павелъ Ѳедорычъ, боясь, что Иванову подскажутъ товарищи, всталъ со стула и подошелъ къ нему съ вопросомъ:

— Что жъ ты не говоришь?

Ивановъ замкнулся, и не отомкнуться ему несчастному.

Павелъ Ѳедорычъ кладетъ на него руку. Ивановъ переживаетъ мучительную моральную пытку, да и другимъ камчатникамъ вчуже становится жутко.

— Зачѣмъ ты смотришь въ парту? Смотри прямо на меня.

У Иванова нервная дрожь. Не поднять ему своей головы — тяжела она, точно пивной котелъ, который только бьетъ по плечамъ богатыря.

Между тѣмъ Павелъ Ѳедорычъ беретъ Иванова за подбородокъ.

— Не надо быть застѣнчивымъ, мой другъ.

Мѣра душевныхъ страданій переполнена. Ивановъ только тяжело вздыхаетъ. Наконецъ, послѣ долгаго выпытыванія, съ тѣмъ глубокимъ отчаяніемъ, съ которымъ бросаются изъ третьяго этажа внизъ головой, Ивановъ принужденъ сознаться, что онъ не знаетъ, что задано. Но у него была теперь надежда, что послѣ этого начнутся только распеканія и порка, значитъ, скоро и дѣлу конецъ, — напрасная надежда.

— Зачѣмъ ты забрался въ камчатку? Посмотри, что здѣсь сидятъ за апостолы. Ну, хоть ты, Краснопѣвцевъ, скажи мнѣ, что такое шхера?

Краснопѣвцеву что-то подсказываютъ.

— Шхера есть, отвѣчаетъ онъ бойко, не что иное, какъ морская собака.

Всѣ хохочутъ.

— Ну ты Воздвиженскій... поди къ картѣ и покажи мнѣ, сколько частей свѣта.

Воздвиженскій подходитъ къ висящей на классной доскѣ ландкартѣ, беретъ въ руки кій и начинаетъ путешествовать по европейской территоріи.

— Ну, поѣзжай, мой другъ.

— Европа, начинаетъ другъ.

— Разъ, считаетъ учитель.

— Азія.

— Два считаетъ учитель.

— Гишпанія, продолжаетъ камчатникъ, заѣзжая кіемъ въ Бѣлое море, прямо къ моржамъ и бѣлымъ медвѣдямъ.

Раздается общій хохотъ. Учитель считаетъ.

— Три.

Но ученый мужъ остановился на Бѣломъ морѣ, отыскивая здѣсь свою милую Гишпанію, и здѣсь зазимовалъ.

— Ну, путешествуй дальше. Али уже всѣ пересчиталъ страны свѣта?

— Всѣ, отвѣчалъ нашъ мудрый географъ.

— Именно всѣ. Ступай, вались дерево на дерево, заключилъ Павелъ Ѳедорычъ.

Онъ нарочно вызываетъ самыхъ ядреныхъ лѣнтяевъ, отличающихся крутымъ, безголовымъ невѣжествомъ.

— Березинъ, скажи, на которомъ мѣстѣ стоятъ десятки?

— На десятомъ.

— И отлично.

— А сколько тебѣ лѣтъ?

— Двадцать съ годомъ.

— А сколько времени ты учишься!

— Девятый годъ.

— И видно, что не безъ успѣха учился восемь лѣтъ. И впередъ старайся также. А вотъ, послушайте, какъ переводитъ у насъ Тетеринъ. Слѣдовало перевести: «Діогенъ, увидя маленькій городъ съ огромными воротами, сказалъ: — «мужи Мидяне, запирайте ворота, чтобы вашъ городъ не ушелъ».

Мужи по гречески ἄνδρες (андресъ). Вотъ Тетеринъ и переводитъ: «Андрей, затворяй калитку — волкъ идетъ». Онъ же росписался въ полученіи казенныхъ

сапоговъ слѣдующимъ образомъ: «Петры Тетеры получили сапоги». — Ну, послушай, Петры Тетеры, что такое море?

— Вода.

— Какова она на вкусъ?

— Мокрая.

Про Петры же Тетеры разсказывали, что онъ слово «maximus» переводилъ словомъ «Максимъ»; когда же ему стали подсказывать, что «maximus» означаетъ «весьма большой», онъ махнулъ «весьма большой Максимъ». — Ну, а ты, Потоцкій, проспрягай мнѣ «богородица».

— Я богородица, ты богородица, онъ богородица, мы богородицы, вы богородицы, они, онѣ богородицы.

— Дѣльно. Проспрягай «дубина».

— Я дубина...

— Именно. Довольно. Ѳедоровъ, поди къ доскѣ и напиши, «охота».

Тотъ пишетъ «охвота».

— Напиши «глина».

У того выходитъ «гнила».

Такимъ образомъ Павелъ Ѳедорычъ потѣшался надъ камчатниками, заставляя ихъ нести дичь. Ивановъ радовался въ душѣ, что учительское вниманіе было отвлечено отъ него. Напрасная радость: то былъ новый маневръ, пущенный въ ходъ учителемъ.

— Что, Ивановъ, хороши эти гуси?

Ивановъ опять приходитъ въ ажитацію.

— Какъ бы ты назвалъ этихъ господъ? Не назвалъ ли бы ты ихъ дикарями? Платоновъ, что такое дикарь?

— Дикій человѣкъ.

— А умѣешь ты говорить по гречески?

— Нѣтъ.

— А я слышалъ, что да. Идетъ онъ съ такимъ же, какъ самъ, гусемъ. Одинъ гусь говоритъ: «альфа, вита, гамма, дельта»; другой гусь говоритъ: «эпсилонъ, зита, ита, ѳита». Не правда, что ли? Тогда еще пирожникъ назвалъ васъ язычниками. Вотъ въ родѣ его одинъ господинъ пріѣзжаетъ къ отцу на каникулы. Отецъ его спрашиваетъ: «какъ сказать по латынѣ: лошадь свалилась съ моста?» — Молодецъ отвѣчаетъ: «лошадендусъ свалендусъ съ мостендусъ».

Ивановъ опять оживился надеждой, что его забыли.

— И не стыдно тебѣ, Ивановъ, сидѣть среди такихъ олуховъ? Я вѣдь знаю, что ты не станешь спрягать «дубину», не скажешь, что десятки стоятъ на десятомъ мѣстѣ, не поѣдешь въ ледовитый океанъ съ какой-то «Гишпаніей», зачѣмъ же ты забрался къ этимъ дикарямъ?

— Простите, шепталъ Ивановъ.

— Въ чемъ тебя простить? И Павелъ Ѳедорычъ опять добивается того, что Ивановъ самъ себѣ дѣлаетъ приговоръ:

— Лѣнился...

— Дѣло ли будетъ, если я прощу тебя?

Пускается въ ходъ новый маневръ. Извѣстно, что для школьника мучительна не столько самая минута возмездія, сколько ожиданіе его. Это понималъ Павелъ Ѳедорычъ и пускалъ въ ходъ всю практическую психологію.

— Простить тебя? А потомъ самъ же будешь бранить за это, зачѣмъ дозволялъ тебѣ лѣниться; скажешь, не дуракъ же я былъ — учителя не хотѣли обратить на меня вниманія.

— Простите, говорилъ Ивановъ.

— Да ты знаешь ли, что съ тобой можетъ случить-

ся, если, чего избави Боже, тебя исключатъ? Знаешь ли, что̀ предстоитъ всѣмъ этимъ камчатникамъ?

Камчатка внимательно насторожила уши.

— Теперь по Руси множество шляется заштатныхъ дьячковъ, пономарей, церковныхъ и консисторскихъ служекъ, выгнанныхъ послушниковъ, исключенныхъ воспитанниковъ, — знаете ли, что хочетъ сдѣлать съ ними начальство? — оно хочетъ верстать ихъ въ солдаты.

— Простите! говорилъ Ивановъ, думая съ тоскою: «Боже мой, скоро-ли же сѣчь-то начнутъ?.. проклятый Красновъ!.. всю душу вытянулъ».

— Я слышалъ за вѣрное, что скоро наборъ, рекрутчина. Ожидай бѣды...

Мы имѣли случай въ первомъ очеркѣ замѣтить, что не разъ проносилась грозная вѣсть о верстаніи въ солдаты всѣхъ безмѣстныхъ исключенныхъ. Теперь прибавимъ, что такой проектъ начальство дѣйствительно не разъ хотѣло осуществить, но въ духовенствѣ всегда въ этомъ случаѣ подымался ропотъ; оно и понятно: многіе сильные міра были или сами дѣти причетниковъ, или имѣли причетниками своихъ дѣтей и другихъ родственниковъ. Однако, тѣмъ не менѣе, грозная вѣсть о солдатчинѣ заставляла трепетать бурсаковъ.

Павелъ Ѳедорычъ пользовался этимъ обстоятельствомъ съ полнымъ успѣхомъ.

— Какъ же тебя простить, говоритъ онъ Иванову:— неужели тебѣ хочется подъ красную шапку?

— Я буду учиться.

— Какъ же ты давеча говорилъ, что не можешь учиться?

Скверно на душѣ Иванова, потому что учитель доводитъ его до того, что онъ самъ сознается:

— Лгалъ.

Травля продолжается далѣе. Приходилось, послѣ долгихъ выпытываній, соглашаться, — что и дѣлалось замогильнымъ тономъ, — въ томъ, что онъ долженъ быть наказанъ; потомъ, сколькими ударами розогъ. Когда ученикъ былъ доводимъ до истомы нравственной и едва не полупомѣшательства, тогда только учитель отсылалъ его къ печкѣ, гдѣ и давалъ десять ударовъ розгами, причемъ внушалось, что ученикъ, каждый разъ, при незнаніи урока, будетъ получать это ординарное количество стежковъ по тому мѣсту, откуда ноги ростутъ. Рѣшившись обратить лѣнтяя на путь истины, Павелъ Ѳедорычъ всегда доводилъ свою работу до благопріятнаго результата, преслѣдуя цѣль неутомимо и энергически.

— Ивановъ! послѣ класса приходи ко мнѣ на квартиру!

Пригласивши къ себѣ на квартиру, Павелъ Ѳедорычъ заставляетъ Иванова учить урокъ въ рекреаціонные часы, такъ что если и послѣ этого захотѣлось бы лѣниться, то ему пришлось бы всю училищную жизнь просидѣть надъ книгой, не нашлось бы и въ праздничные дни свободной минуты — вѣчно подъ носомъ проклятый учебникъ, и лѣнтяй, со скрежетомъ зубовнымъ, вгрызается въ ненавистныя строки. Мало по малу долбня всасываетъ его и поглощаетъ всецѣло.

Конецъ ли?

Нѣтъ, все-таки не конецъ. Павелъ Ѳедорычъ сносится съ другими учителями относительно неофита. Долбежинъ и Батька говорятъ неофиту: «а, голубчикъ, у другихъ ты учишься, а у меня нѣтъ?... Запорю, животное, убью!» Тѣ учителя въ свою очередь начинали *доспкать* лѣнтяя, каждый *до своей науки*. Что тутъ ста-

нешь дѣлать? По неволѣ съѣшь всю бурсацкую науку, хотя въ душѣ созрѣетъ и навѣкъ укоренятся глубокая ненависть и безпощадное отвращеніе къ той наукѣ. Правда, ученикъ, досѣченный до хорошаго аттестата, будетъ благодаренъ, но все же не за бурсацкую науку, но за аттестатъ, дающій ему извѣстныя права.

Милостивые государи, какъ вамъ нравится подобное варварство въ педагогикѣ, къ которому однако прибѣгалъ даже Павелъ Ѳедорочъ, человѣкъ съ сердцемъ положительно добрымъ? Что же это значитъ? Если бы Лобовъ, Долбежинъ, Батька и Красновъ не употребляли противоестественныхъ и страшныхъ мѣръ преподаванія, то увѣряю васъ, рѣдкій бурсакъ сталъ бы учиться, потому что наука въ бурсѣ трудна и нелѣпа. Лобовъ, Долбежинъ, Батька и Красновъ по неволѣ прибѣгали къ насилію нравственному и физическому. Значитъ, вся причина главнымъ образомъ не въ учителяхъ и не въ бурсакахъ, а въ бурсацкой наукѣ, чтобы ей сгинуть съ бѣлаго свѣта. Мало-мальски развитый семинаристъ всегда вспоминаетъ о ней съ ужасомъ.

Камчатка *почивала на лаврахъ* до сего дня спокойно и безпечно; но сегодня въ ней ярые толки и шумъ. Павелъ Ѳедорычъ возбудилъ тѣ толки и шумъ своими угрозами о солдатчинѣ. Но не на всѣхъ камчатниковъ грозная вѣсть произвела одинаковое впечатлѣніе. Камчатники распадались на два типа по роду бурсацкихъ наукъ. Науки были: *божественныя*, которыя нынѣ называются богословскими, и *внѣшнія*, которыя нынѣ называются свѣтскими. Одни камчатники отрицали только *внѣшнія* науки и съ усердіемъ занимались зако-

номъ божіимъ, священною исторіею, церковнымъ уставомъ и церковнымъ пѣніемъ. Эти спеціально готовились въ дьячки и пономари. Представителями такого типа въ особенности были двое — *Васенда* и *Аггнусъ*. Васенда былъ великовозрастный, такъ что кончить курсъ ему пришлось бы не юношей, а тридцатилѣтнимъ мужемъ. Онъ махнулъ на все рукою и принялся за божественныя науки. Это былъ человѣкъ честный, добрый, обладавшій громадною физическою силою, но, какъ всѣ силачи, спокойный и сосредоточенный; но главное, онъ былъ замѣчательный скопидомъ и хозяинъ. Такъ онъ и выглядитъ кремнемъ-причетникомъ, у котораго хозяйство никакъ не будетъ хуже, по крайней мѣрѣ, дьяконскаго. Заглянемъ въ его ученическій сундукъ, когда Васенда выдвигаетъ его изъ подъ кровати. Въ углу небольшой деревянный образокъ Василія Великаго, благословеніе матери, вдовы-дьячихи; на внутренней стѣнкѣ крышки сундука прибиты два ремня, и за нихъ вложено нѣсколько дестей писчей бумаги; по краямъ, около бумаги, художественная выставка произведеній конфектнаго и леденечнаго искусства: генералъ, у котораго носъ чуть не поперекъ лица; голая женщина, кормящая грудью голубка, а за нею амуръ, какъ будто бы страдающій водяной; потомъ лубочная гравюра, вырѣзанная изъ Бовы и изображающая то, какъ сей богатырь побиваетъ метлою рать несмѣтную; далѣе картинка изъ священной исторіи, на которой вы можете видѣть изгнаніе нашихъ прародителей изъ рая, и тому подобныя изображенія; эти изображенія перемѣшаны съ леденечными билетиками; тутъ же, между прочимъ, налѣплена числительница, показывающая дни и мѣсяцы на цѣлый годъ. Внутри сундука въ одномъ углу кадушка, въ ко-

торой грибы со сметаной, а въ другомъ мѣшокъ съ толокномъ. На днѣ лежатъ книги, все божественныя, ни одной внѣшней — ихъ Васенда продалъ, какъ ненужныя. Въ другой сторонѣ сундука аккуратно уложено чистое бѣлье и новенькая верхняя одежда. Кромѣ того, подъ образкомъ находится маленькій ящичекъ, въ которомъ хранятся его деньги, письма, новѣйшій пѣсенникъ, нюхательный табакъ, пустая склянка, перочинный ножъ, гребенка, мыло и тому подобное. Вотъ вамъ сундукъ Васенды, окованный прочными желѣзными полосами съ крѣпчайшимъ замкомъ. У Васенды отличный дубленый тулупъ и неизносимые осташи съ голенищами по колѣно. Его скопидомство доходило даже до крайности: такъ онъ цѣлый годъ писалъ однимъ перомъ, едва касаясь бумаги и каждый разъ бережно завертывая его въ бумажку. Онъ ужь и теперь такъ и выглядитъ степеннымъ и практическимъ дьячкомъ; и дѣйствительно онъ умѣетъ, что угодно, и купить, и продать; походка у него важная, осташи блестятъ... Вотъ этотъ-то господинъ и былъ представителемъ лучшаго типа бурсацкой камчатки. Въ самомъ дѣлѣ, изъ него вышелъ прекрасный, зажиточный деревенскій дьячекъ. Вѣсть о солдатчинѣ мало тревожила его: онъ вѣрилъ въ свою звѣзду.

Азинусъ былъ ученикъ высокаго роста, сутуловатый, съ выдавшимися лопатками на спинѣ, на длинныхъ ногахъ; широкія скулы, бойкіе сѣрые глаза и постоянно вздернутый къ верху носъ, вѣчно нюхающій что-то въ воздухѣ, придавали лицу его выраженіе той хитрости, которою отличаются мелкіе плуты съ узкимъ лбомъ. Онъ ходитъ въ тиковомъ халатѣ, въ дырявыхъ сапогахъ и ватной шапкѣ зимой и лѣтомъ. Азинусъ былъ сынъ заштатнаго пономаря, горькаго

пьяницы, жившаго подаяніемъ. Мать Азинуса, бѣдная старуха, забитая своимъ мужемъ, переслала своего сына въ училище съ однимъ дальнимъ своимъ родственникомъ, но при этомъ, по неопытности или старческой разсѣянности, не озаботилась передачею ему документовъ, необходимыхъ для поступленія въ бурсу. Родственникъ привезъ Азинуса, тогда еще осмилѣтняго мальчика, на огромный дворъ училища и пустилъ его на волю божью отыскивать самому себѣ науку. Азинусъ долго ходилъ по двору, не зная, куда дѣться. Къ вечеру онъ проголодался и, увидя въ восемь часовъ огромную массу воспитанниковъ, примкнулъ къ нимъ и очутился въ столовой, гдѣ, долго не думая, принялся за щи и кашу. Послѣ ужина ученики отправились сначала на молитву, а потомъ по спальнямъ, — онъ за ними; въ спальнѣ онъ нашелъ незанятую кровать, гдѣ и уснулъ спокойно. Поутру онъ опять вмѣстѣ съ другими сходилъ на молитву, а потомъ попалъ въ приходскій классъ; тутъ онъ водворился на задней партѣ. Такъ онъ прожилъ около трехъ мѣсяцевъ, пока, наконецъ, учитель не обратилъ на него вниманія. Стали наводить справки, Азинуса въ спискахъ не оказалось. Его покормили въ послѣдній разъ обѣдомъ и велѣли убираться за ворота, на всѣ четыре стороны. Вотъ такъ младенчество — лучшая пора нашей жизни! Онъ нѣсколько дней питался милостынею, Богъ знаетъ, гдѣ ночуя, пока не наткнулся на другого нищаго, своего отца, который отвелъ сынка къ знакомому дьячку, окончательно опредѣлившему маленькаго Азинуса въ бурсу, которая его окончательно изувѣчила. Онъ сначала оказывалъ успѣхи, но скоро плюнулъ на все, и, выживъ извѣстный періодъ сѣченія, засѣлъ въ камчатку навсегда. Здѣсь сложился его ха-

рактеръ, въ высшей степени безалаберный. Главнымъ его занятіемъ были четъ и нечетъ, юла, три листика, мѣна ножами и тому подобныя коммерческія игры бурсы. Онъ сдѣлался настоящимъ цыганомъ уличища, промѣнивая и вымѣнивая, продавая и покупая, что угодно. Деньжонки и вещи, пріобрѣтаемыя имъ, шли у него безъ толку. Всѣ ученики, остающіеся на Рождество или Пасху въ училищѣ, умѣли чѣмъ нибудь запастись для праздника; Азинусъ же часто проѣдалъ деньги наканунѣ его, а потомъ шлялся по спальнямъ, льстилъ, кланялся, прислуживался, ругался и лгалъ, выпрашивая кусокъ булки, яйцо или клокъ масла у своихъ товарищей. При такомъ характерѣ онъ совершенно изолгался. До сихъ поръ передаютъ его разсказы. Такъ онъ однажды говорилъ, что въ страшную мятель зимою ѣхалъ куда-то, на него напали волки. Что было дѣлать? Я, говоритъ, со страху спрятался въ рожь. Когда его спрашивали, какимъ образомъ зимой попался онъ въ рожь, тогда Азинусъ ругался, разсыпалъ смази и, свертывая изъ полъ халата хвостъ, описывалъ имъ въ воздухѣ круги. Нерѣдко онъ сообщалъ своимъ слушателямъ о томъ, какъ онъ видѣлъ самъ привидѣнія, домовыхъ, мертвецовъ и чертей. Но онъ не только что вралъ, но не прочь былъ и стянуть что нибудь. Однажды онъ путешествовалъ на родину верстъ за полтораста съ четырьмя копѣйками въ карманѣ, спалъ въ лѣсу, питался незрѣлыми ягодами, иногда заходилъ въ харчевни, обѣдалъ въ нихъ и потомъ утекалъ, не плативши денегъ за обѣдъ. Этотъ молодецъ, когда прибылъ на родину, то у него оставалась еще одна копѣйка въ экономіи. Азинусъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ противоположность Васендѣ. Но и онъ не обратилъ вниманія на вѣсть о солдатчи-

нѣ, хотя это сдѣлалъ единственно по безалаберности своего характера.

Вообще камчатка, отрицающая внѣшнія науки и изучающая только божественныя, не была сильно взволнована словами Павала Ѳедорыча. Къ тому были основанія. Начальство смотрѣло на божественную камчатку довольно благосклонно: она что нибудь да дѣлала. Бывали проекты (и это знали камчатники) о преобразованіи священныхъ заднихъ партъ въ спеціальный классъ, такъ называемый, *причетническій*. И потому ученики, подобные Васендѣ или Азинусу, были спокойны.

Но иное совсѣмъ происходило въ другой половинѣ камчатки. Здѣсь почивали на лаврахъ абсолютные нигилисты, отрицавшіе и внѣшнія, и божественныя науки. Тамъ сидѣли нѣкоторыя убогія личности, которыя и сами убѣдились, и начальство убѣдили, что не имѣютъ способностей и учиться не могутъ, хотя странно считать кого бы то ни было неспособнымъ даже къ самому ограниченному элементарному образованію. Такъ былъ одинъ ученикъ, сынъ финскаго священника, который просидѣлъ въ приходскомъ классѣ шесть лѣтъ, и едва-едва научился читать, послѣ чего его исключили. Его прозвище *Азбучка забалдырь Евангилье Свитцы*—за то, что онъ азбуку называлъ азбучкой, а псалтырь забалдырью. Такіе примѣры не рѣдкость въ бурсѣ. Столько же времени и въ томъ же классѣ сидѣлъ Чабря. Иные до второуѣзднаго класса доплетались только черезъ четырнадцать лѣтъ — время, котораго достаточно для того, чтобы приготовиться на степень доктора какой угодно науки, срокъ, который однимъ годомъ только меньше срока нынѣшней солдатской службы. Эхъ, бѣдняги, какую-жъ лямку вы тянули:

солдатскую, а васъ еще солдатчиной стращали!.... Нашли, чѣмъ испугать!... Но вы все же таки пеняли тогда на начальство, дрожали отъ страха за свою судьбу: вамъ, конечно, не хотѣлось такую же службу вынести вторично.

Мы видѣли, что дѣйствительно неспособные ученики были сегодня сильно встревожены. Но во внѣшней камчаткѣ были и способные ученики, сердце которыхъ тоже дрогнуло отъ словъ Краснова, не столько отъ того, что ихъ головы хотѣли накрыть красной шапкой — эти лѣнтяи были народъ беззаботный, мало думающій о будущемъ, — сколько отъ той бѣды, которую испыталъ сегодня ихъ товарищъ Ивановъ. Излѣнившись, они не могли взяться за книжку, а съ другой стороны, особенно умные изъ лѣнтяевъ инстинктивно и, право, справедливо чувствовали отвращеніе къ бурсацкой наукѣ. Однако, тѣмъ не менѣе, нервная дрожь пробѣгала по ихъ тѣлу, когда они вспоминали Павла Ѳедорыча. Они чувствовали, что, вслѣдъ за Ивановымъ, стоитъ ихъ очередь, что зоркій глазъ Краснова отыщетъ ихъ въ камчаткѣ и заставитъ ихъ прочувствовать всю моральную пытку своей психолого-педагогической системы. Грустно, скучно сегодня въ камчаткѣ: но, читатель, подождите немного, и вы увидите, что̀ сегодня же радостно взволновало не только камчатку божественную, не только камчатку внѣшнюю, но и весь классъ бурсаковъ.

Дайте только разсказать мнѣ, какую штуку отмочилъ сегодня Аксютка въ сообществѣ съ Ірвe,—иначе разсказъ нашъ не будетъ вамъ понятенъ.

Аксютка все еще щолкаетъ зубами.

Стемнѣло. Лампы, какъ мы уже имѣли случай за-

мѣтить, не зажигались въ классахъ до занятныхъ часовъ. Аскютка пробрался въ первоуѣздный классъ, гдѣ въ потемкахъ обыскивалъ карманы и парты учениковъ.

— Гдѣ бы *стилибонить*? шепталъ онъ.

Отправился онъ въ приходскіе классы. Успѣхъ былъ тотъ же, и Аксютка со злости загнулъ какому-то несчастному трехъ-этажные салазки.

— Все стрескали, подлецы! проговорилъ онъ.

Съ голодомъ Аксютки естественно росло непобѣдимое желаніе похитить что нибудь и съѣсть, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивались его хитрость, изворотливость и предпріимчивость. Онъ отыскалъ своего друга и вѣрнаго пажа-Ірве, и отправился вмѣстѣ съ нимъ въ тотъ уголъ двора, у воротъ, гдѣ была пекарня. Они пришли къ пекарнѣ; Ірве спрятался въ темномъ углу ея, Аксютка, что есть силы, сталъ ломиться въ двери.

— Голубчикъ, Цѣпа, дай хлѣбца.

Цѣпка былъ солдатъ добрый. Онъ голодныхъ бурсаковъ часто надѣлялъ хлѣбомъ, а кого любилъ, такъ и ржаными лепешками. Но этотъ хлѣбопекъ не могъ терпѣть Аксютку: онъ былъ увѣренъ, что Аксютка стянулъ у него новыя голенища.

Отмѣтимъ здѣсь еще странное явленіе бурсы. Служители училища были чѣмъ то въ родѣ властей для учениковъ; у инспектора они имѣли значеніе гораздо большее, нежели всякій второклассный старшой. Свидѣтельство *сторожа* (такъ ученики звали прислугу) или жалобы его всегда уважались начальствомъ. Ученикъ противъ сторожа ничего предпринять не могъ. Это объясняется тѣмъ, что вахтеръ, гардеробщикъ, поваръ, хлѣбникъ, привратникъ и сѣкундаторъ изъ сторожей, очевидно, служили въ видахъ начальства. Всѣ они изъ урѣзанныхъ продуктовъ, разумѣется,

ученическихъ, должны были, во что бы то ни стало, приготовить для начальства хлѣбъ, мясо, крупу, холстъ сукно и тому подобное. Естественно, что жалоба на каждаго изъ нихъ была какъ бы жалобою на само начальство; напримѣръ, сказать, что поваръ мало каши даетъ, значило сказать, что экономъ крадетъ казенную крупу, что экономъ дѣлится съ смотрителемъ, училищный смотритель съ семинарскимъ, этотъ съ академическимъ и такъ далѣе: выйдетъ, что жалоба о кашѣ есть жалоба противъ высшаго начальства, чуть не заговоръ и бунтъ. Да, на бурсацкомъ языкѣ такія жалобы дѣйствительно и назывались бунтами, и преслѣдовались, какъ бунты.

Служители сознавали свое положеніе и пользовались имъ.

Они жили гораздо лучше тѣхъ, кому служили: одежду носили казенную, ѣли въ волю и хорошо, могли высказать свои неудовольствія и грозить оставленіемъ службы, у нихъ всегда бывали жирные щи со свѣжей говядиной, жирно промасленная каша, а хлѣба не порціями, какъ у бурсаковъ, но сколько угодно. Живя почти на всемъ готовомъ, они, кромѣ того, получали жалованья отъ восьми до двѣнадцати, а вахтеръ и семнадцать руб. ассигнаціями,—они были богаче самыхъ богатыхъ бурсаковъ. Многіе изъ нихъ имѣли случай красть казенное. Поваръ получалъ отъ нѣкоторыхъ учениковъ еженедѣльную плату за то, что кормилъ ихъ утромъ и вечеромъ кашей. Захаренко, секундаторъ, открыто бралъ взятки: каждый праздникъ онъ обходилъ классы и объявлялъ: «что же, господа, Алексѣю Григорьичу (такъ величали Захаренко) на табачекъ?» Къ нему сыпались на подставленную ладонь гроши и пятаки. За недѣлю, когда сборъ былъ

скуденъ, ученики замѣчали, что онъ сѣкъ ихъ съ бо́льшею исправностію и аппетитомъ. Кромѣ того, Захаренко продавалъ ученикамъ нюхательный табакъ, сам-тре. Словомъ, служители составляли низшее начальство. Если къ этому прибавить, что нѣкоторые изъ нихъ наушничали инспектору, то понятно будетъ ихъ вліяніе на учениковъ. Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, когда Захаренко, подъ пьяную руку, проводилъ пальцемъ по головѣ ученика, какъ по бубну, приговаривая: «эй, прокислая кутья, ваше дѣло гадить, наше убирать». Или что удивительнаго, если Еловый билъ бурсака мѣтлой по затылку, Трехполѣнный давалъ трепку, и тому подобное? Въ большинствѣ случаевъ такія обиды терпѣливо сносились учениками.

Но Аксютка, какъ отпѣтая личность, не обращалъ вниманія на служительскія власти. Онъ продолжалъ ломиться къ Цѣпкѣ въ хлѣбную.

— Кто тутъ? послышался голосъ Цѣпки.

— Это я, Цѣпа.

— Я тебѣ дамъ такого хлѣбца, что не съѣшь.... прочь пошелъ.

— Цѣпа, ей Богу, ѣсть хочется!

— Ну, пошелъ, пошелъ!.. не проѣдайся!..

Аксютка перемѣнилъ тонъ. Онъ сталъ ругаться:

— Цѣпка, чортъ, дай же хлѣба! Жалко что ли тебѣ куска какого нибудь? Собака ты эдакая, чтобъ подавиться тебѣ сапогомъ, который ты шьешь!

— Ахъ ты, бѣсовъ сынъ! проворчалъ Цѣпка.

Цѣпка воткнулъ шило въ деревянный обрубокъ, служившій ему столомъ, и, стиснувъ зубы, схватилъ метлу и стремительно бросился къ двери. Онъ пріударилъ за Аксюткой. Аксютка бѣгалъ очень хорошо; онъ мастеръ былъ играть въ пятнашки, и на небольшомъ

пространствѣ умѣлъ *увертываться*, дѣлая неожиданные повороты то въ ту, то въ другую сторону. Дворъ былъ великъ, и потому Цѣпкѣ было бы трудно поймать Аксютку, но Аксютка побѣжалъ къ воротамъ. Цѣпка крикнулъ привратнику, стоящему тамъ:

— Держи его!

Привратникъ схватилъ тоже метлу и бросился на Аксютку. Аксютка перемѣнилъ рейсъ. Къ его несчастію, былъ шестой часъ вечера, часъ, въ который служители мели спальныя комнаты. Они теперь выходили съ разныхъ концовъ двора.

— Держи его!

Аксютку всѣ знали. Служители ополчились на него со швабрами. Аксюткѣ приходилось плохо. Его травили съ четырехъ концовъ, — онъ озирался хищнымъ волкомъ. «Намнутъ, черти, шею»! думалъ онъ. Но вотъ ноздри его поднялись и опустились. Онъ быстро бросился къ Цѣпкѣ. Цѣпка, не подозрѣвая ничего въ этомъ новомъ маневрѣ, бѣжалъ къ нему съ распростертыми руками. Другіе служители, видя, что Аксютка почти въ рукахъ Цѣпки, опустивъ швабры, кричали:

— Хватай его!

Но Аксютка, налетѣвъ на Цѣпку, неожиданно упалъ ему подъ ноги. Разлетѣвшійся Цѣпка полетѣлъ кубаремъ вверхъ ногами. Аксютка направилъ свой бѣгъ къ классу, который уже былъ освѣщенъ, потому что начались занятія. Цѣпка, человѣкъ бѣдовый въ сердцахъ, сталъ клясться и божиться, что убьетъ Аксютку. Онъ поднялся съ земли, схватилъ метлу и отправился къ классу, куда скрылся Аксютка.

— Теперь поймаетъ... попался! говорили служители и разошлись въ разныя стороны.

Цѣпка ворвался въ классъ съ страшными ругательствами и помахивая метлою. Аксютка, увидѣвъ его, вскочилъ на первую парту, съ первой на вторую и побѣжалъ надъ головами товарищей. Цѣпка послѣдовалъ его примѣру, и огромный солдатъ носился съ метлою въ храмѣ бурсацкой науки... Картина была великолѣпная... Ученикамъ стало весело, — такіе спектакли приходилось видѣть не часто. Изъ-подъ ногъ разъяренныхъ враговъ летѣли на полъ дождемъ книги, грифельныя доски, чернильницы и линейки.

— Го-го-го! начали бурсаки.

— Ату его! подхватили другіе.

Третьи свиснули.

Кто-то книгой пустилъ въ Цѣпку. Цѣпка не обращалъ вниманія на крикъ, атуканье и ревъ бурсаковъ. Онъ распалился страшно. Двадцать двѣ парты, какъ клавиши, играли подъ здоровенными его ступнями. Но вотъ Аксютка, соскочивъ на полъ, скрылся подъ партой; Цѣпка хотѣлъ послѣдовать его примѣру, но какой-то бурсакъ дернулъ его за ногу и онъ растянулся среди класса плашмя. Невозможно привести здѣсь той свирѣпой брани, которою онъ осыпалъ весь классъ.

Аксютка, выглядывая изъ-подъ парты, говорилъ ему:

— Цѣпка, встань, да на другой бокъ.

Цѣпка бросился къ нему; но Аксютка уже изъ-подъ другой парты:

— Право, Цѣпка, дай, — голенищи подарю.

Цѣпка понялъ, что подъ партами ему не угоняться за врагомъ. Онъ, обозвавъ бурсаковъ прокислой кутьей и жеребячьей породой, направился къ двери. Его проводили крикомъ, свистомъ, атуканьемъ и крѣпкими остротами.

Покажется страннымъ, какимъ образомъ подобный гвалтъ и ревъ могъ недоходить до начальства. Къ тому способствовало самое устройство училища. Все зданіе раздѣлялось на два корпуса—старый и новый. Въ *старомъ*, года за три до описываемаго нами періода, помѣщалась семинарія, а въ *новомъ* училище. Семинарія потомъ была переведена въ новое же зданіе, училище осталось въ прежнемъ. Въ училищѣ изъ начальства жили только смотритель и инспекторъ, другіе учителя помѣщались въ старомъ корпусѣ *). Такимъ образомъ училище, по необходимости, управлялось властями, выбранными изъ учениковъ же. Кромѣ того квартира смотрителя и инспектора была на противоположномъ концѣ двора, далеко отъ классовъ, такъ что никакой гвалтъ и ревъ не доходили до начальства. Служители составляли, какъ мы уже имѣли случай сказать, нѣчто въ родѣ начальства, и значитъ, были ненавидимы товариществомъ, вслѣдствіе чего скандалы въ родѣ описаннаго не доходили до инспектора и смотрителя.

Мало по малу все успокоилось въ классѣ. Аксютка пробрался въ камчатку. Скоро явился и Сатана (онъ же и Ipse)...

— Ну что, сатана?

---

*) Между прочимъ, описывая бурсу, мы опустили очень важное обстоятельство, что повело ко многимъ недоразумѣніямъ. Мы забыли сказать, что описываемая нами бурса—было закрытое учебное заведеніе. Ученики ея не жили, какъ въ другихъ бурсахъ, на вольныхъ квартирахъ. Всѣ, человѣкъ до пяти-сотъ, помѣщались въ огромныхъ каменныхъ зданіяхъ, постройки временъ Петра I-го. Эту черту не слѣдуетъ опускать изъ вниманія, потому что въ другихъ бурсахъ вольныя квартиры порождаютъ типы и бытъ бурсацкой жизни такіе, которыхъ нѣтъ въ закрытомъ зданіи. Быть можетъ, здѣсь же должно искать причину и того, что формы бурсацизма въ нашемъ училищѣ сложились такъ оригинально и такъ неискоренимо. Традиція, при закрытости заведенія, имѣла полную силу и жизненность.

– Оплетохомъ!

— Лихо!... Ну-ка, давай сюда!

Ірѕе вынулъ цѣлый хлѣбъ...

— Да ты молодецъ!.. я тебя за это жалую смазью...

Сатана принялъ смазь и проговорилъ:

— Азъ есмь Ірѕе!

Аксютка уписывалъ хлѣбъ съ волчьимъ аппетитомъ. Но послѣ завтрака, онъ все-таки не успокоился духомъ. «Чортъ ихъ побери, думалъ Аксютка: этакъ когда нибудь и съ голоду умрешь. Ужь не закатить ли завтра нуль въ нотатѣ? Э, нѣтъ, подожду—еще потѣшусь надъ Лобовымъ. А дѣло все-таки гадко. Но ладно, «*Богъ напиталъ, никто не видалъ; а кто и видѣлъ, такъ не обидѣлъ*», заключилъ Аксютка бурсацкимъ присловьемъ. «Утро вечера мудренѣе»...

— Эхъ, Аксенъ Иванычъ, сказалъ ему Ірѕе, какъ бы отвѣчая его мыслямъ: — воззри на птицы небесныя: онѣ не сѣютъ, не жнутъ, не собираютъ въ житницы, но Отецъ небесный питаетъ ихъ.

— Аминь!—сказалъ Аксютка и рѣшился продолжать свои продѣлки съ Лобовымъ.

Еще не утихъ гомерическій хохотъ бурсы, какъ вошелъ въ классъ лакей инспектора и спросилъ:

— Гдѣ дежурный старшой?

— Здѣсь, отвѣчалъ старшой.

— *Тебя* инспекторъ зоветъ.

Лакей ушелъ.

Сразу по всѣмъ головамъ прошла одна и та же мысль: вѣрно, Цѣпка нажадовался инспектору на Аксютку, у котораго уже дрожали отъ предчувствія бѣды поджилки, но и кромѣ его многіе струхнули, потому что многіе принимали участіе въ скандалѣ.

Старшой застегнулся на всѣ пуговицы и отправился къ инспектору, не безъ внутренняго трепета, потому что въ его дежурство случилась эта милая шутка веселыхъ бурсачковъ. На классъ напало уныніе. Минуты еле тянулись въ ожиданіи дежурнаго. Наконецъ онъ явился. Его встрѣтило мертвое молчаніе.

Дежурный окинулъ взоромъ классъ. Всѣ ждали.

— Женихи! крикнулъ онъ.

У всѣхъ отлегло отъ сердца.

— Женихи? отвѣчали ему.

Классъ наполнился радостнымъ ропотомъ. Туманъ съ физіономій исчезъ, по нимъ пробѣжала свѣтлая полоса. Всѣ приподняли головы. У всѣхъ была одна мысль: «среди насъ есть женихи, значитъ, мы не мальчики, а народъ самостоятельный».

Но что сдѣлалось съ камчаткой? Тамъ воодушевленный говоръ, потому что насталъ часъ торжества, часъ величія камчатки.

Взоры всѣхъ были обращены въ эту счастливую страну.

Полно азбукѣ учиться,
Букваремъ башку ломать!
Не пора ли намъ жениться,
Въ печку книги побросать?

Шумъ усиливался.

— Тише! крикнулъ цензоръ.

Въ классѣ нѣсколько стихло.

— Кто женихи?

Вышли Васенда, Азинусъ, Ерра-Кокста, Рябчикъ.

— И я женихъ,—съ этими словами присоединился къ нимъ Аксютка.

Классъ захохоталъ.

Ірзе отъ восторга вертѣлъ хвостомъ халата.

— Никого больше?

Больше никого не оказалось.

— Женихи къ инспектору!... живо!

Всѣ пятеро отправились къ инспектору. Классъ, глядя на Аксютку, который съ уморительными гримасами подпрыгивалъ и билъ себя по бедрамъ, весело смѣялся.

Когда женихи скрылись за дверями, классъ наполнился сильнымъ говоромъ, точно на рыночной площади торгъ во всемъ разгарѣ. Но это не былъ тотъ безшабашный гвалтъ, когда бурсаки тянули *холодно* или дули *разноголосицу*: онъ скорѣе походилъ на тотъ шумъ, который наполнялъ классъ во время полученія билетовъ на каникулы. Въ камчаткѣ же шло положительное ликованіе — она высылала отъ себя жениховъ, героевъ дня. Событіе во всѣхъ головахъ поднимало мечты: «когда нибудь и мы освободимся отъ бурсы». Отъ двѣнадцати-лѣтняго мальчика до двадцати-двухъ-годовалаго парня, отъ послѣдняго лѣнтяя до перваго ученика, — всѣ думали одну радостную думу. Все училище было охвачено трепетомъ. Богъ вѣсть, какимъ образомъ магическое слово «женихи» быстрѣе ласточки облетѣло по всѣмъ классамъ, сладостно волнуя бурсацкія души. Урокъ нейдетъ на умъ, книги въ партахъ, ученики сбились въ кучки и цензоръ снисходителенъ на этотъ разъ — не разгоняетъ ихъ. Всѣ сразу почему-то вспомнили свою родину, домъ, отца съ матерью, братьевъ съ сестрами. Самые молодые бурсаки, и тѣ разсуждаютъ о невѣстахъ, о женитьбѣ, о поповскихъ и дьяческихъ мѣстахъ и доходахъ, о славленьи и т. п. Многіе толкуютъ о днѣ исключенія ихъ: кто сбирается въ дьячки, кто въ послушники, кто въ чиновники, а кто такъ и въ военную службу.

Женихи вернулись отъ инспектора.

— Ну что? спрашивали ихъ съ любопытствомъ.

— Везетъ ли, Аксенъ Иванычъ? говорилъ Ipse.

— Вотъ тебѣ — читай.

Ipse взялъ изъ рукъ Аксютки осьмушку исписанной бумаги и началъ по ней читать громко:

«Билетъ».

«Ученикъ, Аксенъ Ивановъ, уволенъ въ городъ для свиданія со своею невѣстою, Ириною Вознесенскою, «18... года 23 октября, съ 4 часовъ пополудни до 9 часовъ вечера».

Далѣе слѣдовала подпись инспектора.

— Браво, Аксютка! кричали товарищи.

У Васенды и Азинуса были такіе же билеты.

Но остальные два претендента пробирались на священныя парты камчатки съ унылымъ и понуреннымъ видомъ.

— Вы что?

— Ихъ сначала будутъ румянить, и ужь потомъ на смотрины.

Раздался смѣхъ.

Униженные и оскорбленные, усѣвшись на мѣсто, положили съ отчаяніемъ свои побѣдныя головы на руки.

— Этому, поясняетъ Аксютка, указывая на великовозрастнаго бурсака: — инспекторъ сказалъ: «я тебя замѣчалъ въ нетрезвомъ видѣ — какой же выйдетъ изъ тебя мужъ... Нѣтъ, вмѣсто свадьбы, устрою тебѣ баню».

— Поздравьте, господа, дополнилъ Аксютка: — молодыхъ съ законнымъ бракомъ.

Хохотъ.

— А этому, говорилъ Аксютка, указывая на друго-

го отверженнаго жениха: — оказалось всего четырнадцать лѣтъ.

— Вотъ такъ женихъ!

— Смазь ему, ребята!

— Салазки жениху!

Несчастнаго окончательно унизили и оскорбили широчайшей смазью и безпощадными салазками. Въ другое время онъ протестовалъ бы, но теперь стыдно было, что онъ, четырнадцати-лѣтній мальчикъ, задумалъ *брачиться* съ тридцати-двухъ-лѣтней древностью. Кромѣ того, его мучилъ страхъ грядущихъ румянъ. Съ горя, стыда и страха онъ заплакалъ.

Къ нему подошелъ Тавля, приподнялъ ему голову, ущемилъ двумя перстами носъ жениха и потянулъ черезъ парту.

— У-у-у! затянулъ онъ.

Классъ захохоталъ.

— Молокососъ!

Тавля послѣ того еще надралъ ему уши.

Бѣдняга рыдалъ, но отъ стыда не рѣшился просить пощады. Съ той поры его прозвали «мозглымъ женихомъ». Онъ въ тотъ же вечеръ ударился въ бѣги. Когда будемъ говорить о бѣгунахъ бурсы, разскажемъ и о его похожденіяхъ.

Около жениховъ были шумъ и толкотня. Распрашивали о приходѣ, о невѣстѣ, о доходахъ, давали совѣты и снаряжали на завтрашній день къ невѣстѣ. Общая внимательность и предупредительность показывали то напряженное состояніе духа учениковъ, въ которомъ они находились. Это выразилось тѣмъ, что товарищи охотно предлагали женихамъ кто новенькій сюртучокъ, кто брюки, кто жилетъ, даже сапоги и бѣлье. Азинусъ на другой день сбросилъ съ себя тиковый халатъ и ды-

рявые сапоги, у которыхъ, вмѣсто подметокъ, были привязаны дощечки деревянныя, и явился франтомъ хоть куда. Все это напоминаетъ намъ тѣхъ бѣглыхъ арестантовъ, которыхъ г. Достоевскій изобразилъ въ «Мертвомъ домѣ». Какъ тамъ товарищи радовались за освободившихся отъ каторги, такъ и здѣсь радовались за освободившихся отъ бурсы.

Вечеръ закончился блистательнымъ скандаломъ. Тавля женился на Катькѣ. Достали свѣчь, купили пряниковъ и леденцовъ, выбрали поѣзжанъ и поѣхали за Катькой въ камчатку. Здѣсь невѣста, недурной мальчикъ лѣтъ четырнадцати, сидѣла одѣтая во что-то въ родѣ импровизированнаго капота; голова была повязана платкомъ по бабьи, щеки ея были нарумянены линючей красной бумажкой отъ леденца. Поѣзжане, наряженные мужчинами и бабами, вмѣстѣ съ Тавлей отправились къ невѣстѣ, а отъ ней къ печкѣ, которую Тавля заставилъ принять на себя роль церкви. Явились попы, дьяконы и дьячки, зажгли свѣчи, началось вѣнчанье съ пѣніемъ «Исаіе ликуй!» Гороблагодатскій *отломалъ апостолъ*, закричавъ во всю глотку на концѣ: «а жена да боится своего мужа». Тавля поцаловалъ у печки богомъ данную ему сожительницу. Послѣ того поѣздъ направился опять въ камчатку, гдѣ и начался великій пиръ и столованье. Здѣсь гостямъ подавались леденцы, пряники, толокно, моченый горохъ, и даже часть украденнаго Аксюткою хлѣба шла въ угощеніе поѣзжанъ и молодыхъ. Поднялись пляски и пѣнье. Въ конецъ занятныхъ часовъ появилась и святая мать — сивуха. На другой день, черезъ фискаловъ, все извѣстно было инспектору и послѣдовало румяненье тѣхъ мѣстъ, откуда у бурсаковъ ростутъ ноги.

На другой день у Васенды, Азинуса и Аксютки были дѣйствительные смотрины.

Васенда, какъ человѣкъ положительный и практическій, нашелъ невыгоднымъ закрѣпленное мѣсто, приданое и обязательства, а невѣсту черезчуръ заматорѣвшею во днѣхъ своихъ, на видъ рябою, длинною и чорствою. Онъ рѣшился остаться въ камчаткѣ до лучшей суженой.

Азинусъ, по безалаберности своего характера, а отчасти потому, что ему надоѣла и опротивѣла бурса, махнувъ на все рукою, рѣшился вступить въ законный бракъ съ дамою, которая была старше его, по крайней мѣрѣ, десятью годами. Впослѣдствіи изъ него вышелъ мерзѣйшій мужъ, а изъ его супруги того же достоинства баба.

Аксютка вовсе и не думалъ жениться. Онъ отправился на смотрины единственно изъ желанія потѣшиться, поѣсть у невѣсты, стянуть что нибудь и погулять внѣ училища, на свободѣ. Онъ укралъ у «нареченной» шолковый платокъ и три мѣдныхъ гривны.

Одинъ изъ жениховъ, какъ мы уже видѣли, удралъ изъ училища и теперь состоялъ въ бѣгахъ.

Пятый женихъ на другой день получилъ отъ инспектора румяны, то есть блистательную порку.

БѢГУНЫ И СПАСЕННЫЕ БУРСЫ.

(ОЧЕРКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.)

1863.

БѢГУНЫ И СПАСЕННЫЕ БУРСЫ.

Главное дѣйствующее лицо настоящаго очерка — Карась. Что это за рыба?

Карась былъ довольно самолюбивая рыба. Два его брата, уже бурсаки, смотрѣли на него, какъ на *маленькаго*, не допускали его не только въ серьезныя, по ихъ понятію, предпріятія, но даже и въ простыя игры, и именно на томъ основаніи, что онъ *не ѣлъ еще семинарской каши*, а между тѣмъ, онъ слышалъ иногда отъ нихъ разсказы о разнаго рода играхъ бурсаковъ, о бурсацкихъ богатыряхъ, ихъ похожденіяхъ, продѣлкахъ съ начальствомъ, разсказы, которые казались ему очень привлекательны: все это породило въ немъ страстное желаніе—какъ можно скорѣе, всецѣло, по самыя уши окунуться въ болото бурсацкой жизни.

Насталъ давно ожиданный имъ день. Сняли съ Карася дѣтскую рубашку и, вмѣсто нея, надѣли сюртучокъ, — съ той минуты онъ почувствовалъ себя годомъ старше; онъ имѣлъ уже *свою* кровать, *свой* сундукъ, *свои* книжки,—это еще прибавило ему росту; дали ему на булки двадцать копѣекъ, капиталъ, рѣдко бывавшій въ его рукахъ, — тогда карасиная гордость сдѣлалась непомѣрна. Пришолъ часъ разставанія съ роднымъ до-

момъ: помолились Богу, благословили Карася, у матери слезы на глазахъ, отецъ серьезенъ, сестренки задумались,—лишь Карась радуется и скачетъ, какъ сумасшедшій, онъ блаженствуетъ отъ той мысли, что еще нѣсколько минутъ, и онъ будетъ бурсакъ, бурсакъ съ головы до ногъ, вдоль и поперегъ.

Карася отвели въ бурсу. Здѣсь онъ простился съ отцомъ очень невнимательно. Ему хотѣлось поскорѣе присоединиться къ ученикамъ, которые играли на большомъ дворѣ бурсы въ *лапту*, *касло*, *отскокъ*, *свайку*, *рай и адъ*, *казаки-разбойники*, *краденую палочку* и т. п. Долго не думая, онъ, по уходѣ отца, отправился на дворъ, гдѣ и присоединился къ кучкѣ бурсачковъ, игравшихъ въ *рай и адъ*, т. е. скакавшихъ на одной ногѣ среди начерченной на землѣ фигуры, при чемъ носкомъ сапога они выбивали изъ разныхъ ея отдѣленій камешекъ...

«Это очень весело», подумалъ Карась.

Но въ то же время онъ услышалъ насмѣшливый голосъ.

— *Новичокъ!*

— *Городской*, прибавилъ кто-то.

— *Маменькинъ сынокъ!*

«О комъ это?» думалъ Карась.

Его щипнули.

«Обо мнѣ», рѣшилъ онъ. Сердце его замерло отъ предчувствія чего-то нехорошаго...

— Смазь новичку!

«Это что такое?» подумалъ Карась.

На него налетѣлъ довольно взрослый бурсакъ и схватилъ его лицо въ свою грязную пясть. Карась вовсе не ожидалъ такого привѣтствія. Онъ озлился, но не ему, поступившему въ училище на десятомъ году, было бо-

роться съ здоровыми бурсаками. Однако Карась не обратилъ вниманія на свое слабосиліе. Онъ размахнулся ногою и ударилъ ею своего обидчика въ животъ. Бурсакъ застоналъ и хотѣлъ дать трепку Карасю, но Карась ударился въ бѣги.

— Ай, да новичокъ! слышалъ онъ сзади себя одобреніе.

«Вона,—еще хвалятъ!» думалъ утекающій Карась.

Въ пять часовъ вечера братья отвели Карася во второй приходскій классъ, гдѣ онъ и водворился на задней партѣ и скоро познакомился съ своимъ сосѣдомъ, котораго звали *Жирбасомъ*.

— Ты будешь учить урокъ? спросилъ Жирбасъ.

— Буду.

— Зачѣмъ?

— А учитель спроситъ.

— Быть можетъ, и не спроситъ.

— Такъ развѣ не учить?

— Не стоитъ.

— И не буду же учить.

Такъ Карась началъ свое духовное образованіе. Однако же чѣмъ развлечься? впереди предстояли еще три учебныхъ часа.

— Что жь мы будемъ дѣлать? спросилъ Карась.

— Давай играть *въ трубочисты*.

Но лишь только Жирбасъ сталъ *загадывать*, пряча грифель, подходитъ къ Карасю какая-то каналья и, показывая ему небольшую стклянку, говоритъ:

— Хочешь, *посажу тебя въ эту бутылочку?*

— Въ эту?... Какимъ образомъ?...

— Да ужь будешь сидѣть... хочешь?

— Шутишь, братъ!.. Ну-ка сади!

— Вотъ тебѣ шапка—трись ею...

— И буду сидѣть въ бутылочкѣ?

— Будешь.

Карась беретъ поданную ему шапку и начинаетъ очень усердно тереться тою шапкой.

— Входишь въ бутылочку, лѣзешь, говорили окружающіе Карася товарищи, а сами хохотали.

— Чего вамъ смѣшно? спрашивалъ глупый Карась.

— Довольно! говорятъ ему: — сѣдъ въ бутылочку.

— Какъ такъ? спрашиваетъ Карась, отнимая отъ лица шапку.

Раздается дружный, веселый смѣхъ...

— Гдѣ жъ я въ бутылочкѣ?

— Дайте ему зеркальцо.

Подали зеркало. Заглянувъ въ него, Карась не узналъ своей рожицы: вся она была черна, какъ у трубочиста. Только тутъ Карась смекнулъ, что шапка, которою онъ терся, была вымазана сажею, и ее трудно было примѣтить на черномъ сукнѣ. Карасю было досадно и стыдно.

— Самъ выпачкался, говорили ему.

— Не на кого и жаловаться...

— Фискалить? да мы его *вздуемъ!*

— Не буду я фискалить, отвѣтилъ Карась: — а вы все-таки подлецы!

Карасю пришлось выносить насмѣшки своихъ товарищей. Вымывъ рожицу изъ ведра, стоявшаго въ углу класса, Карась обратился къ Жирбасу, надѣясь на его сочувствіе...

— Черти этакіе! сказалъ онъ...

Но Жирбасъ, услышавъ такія слова, отвѣчалъ на нихъ оскорбительнымъ для карасинаго уха смѣхомъ.

— Жирная скотина! проворчалъ Карась...

Это было началомъ его раздора съ Жирбасомъ.

Этотъ раздоръ съ каждой минутой развивался сильнѣе и сильнѣе, при тѣхъ случаяхъ, когда Карасю приходилось, какъ новичку, терпѣть разнаго рода шутки и продѣлки со стороны своихъ товарищей.

Къ Карасю подошелъ цензоръ и спросилъ его:

— *Видалъ ли ты Москву?*

— Никогда не видалъ.

— Такъ я тебѣ покажу ее.

Съ этими словами цензоръ схватилъ карасиную голову въ свои руки, ущемилъ ее между ладонями и приподнялъ новичка въ воздухѣ...

— Ай, пусти! запищалъ Карась.

Цензоръ, потѣшившись надъ рыбою, опустилъ ее на парту. Жирбасъ опять смѣялся. Его рожа для Карася становилась противна.

— Жирная харя! сказалъ онъ вслухъ.

Это нисколько не обидѣло Жирбаса. Онъ только пуще захохоталъ. Карась нашелъ, что благоразумнѣе будетъ, если онъ и на этотъ разъ смирится — иначе его досада только усилитъ насмѣшки сосѣдей.

Но вотъ, спустя немного времени, подходитъ къ Карасю какой-то верзила. Строгимъ начальницкимъ тономъ онъ отдаетъ ему приказъ:

— Ступай на первую парту. Видишь, тамъ сидитъ большой ученикъ. Ты спроси у него *волосянки*.

Карась повинуется.

— Дай *волосянки*, говоритъ онъ, подходя къ указанному ученику.

— Изволь, сколько хочешь, отвѣчалъ тотъ, и вцѣпившись въ волоса несчастнаго Карася, начинаетъ трепать его очень чувствительно... Карась пищитъ, на глазахъ его слезы.

Вернувшись на свое мѣсто, онъ слышитъ новый

смѣхъ Жирбаса. Рожа этого сосѣда дѣлается для него ненавистна.

— Вотъ тебѣ! говоритъ озлившаяся рыба и даетъ толчекъ по боку сосѣда.

Но и это не дѣйствуетъ на Жирбаса.

— *Чкни* еще, говоритъ онъ, подставляя другой бокъ, а самъ заливается обиднымъ смѣхомъ.

— Свинья, привѣтствуетъ его Карась и отворачивается въ сторону, съ твердымъ намѣреніемъ не говорить ни слова съ сосѣдомъ.

Карась сидитъ насупившись. *Смазь*, *бутылочка*, *Москва*, *волосянка* показались ему очень солоны... Онъ опасается, чтобы еще не провели его на чемъ нибудь. Къ нему подходитъ одинъ второкурсникъ. Карась смотритъ на него подозрительно...

— Что, бѣдняга, тебя обижаютъ? говоритъ второкурсникъ ласково...

Карась отвѣчаетъ на этотъ вопросъ сердитымъ взглядомъ.

— Они новичковъ всегда обижаютъ, продолжалъ второкурсникъ.—Ты мнѣ скажи, если кто тебя тронетъ.

Карась пойманъ былъ на ласковое слово...

— Чего они лѣзутъ ко мнѣ, проговорилъ онъ жалобно: — вѣдь я ихъ не трогаю?..

— Теперь ничего не бойся: я заступлюсь...

— Заступись, братъ...

Второкурсникъ сѣлъ подлѣ него и сталъ распрашивать, откуда онъ, гдѣ его отецъ, есть ли у него мать, братья и сестры. Карась довѣрчиво раскрылъ предъ новымъ знакомымъ свою душу: его привѣтливость была очень кстати и во-время для огорченнаго Карася...

— Хочешь булки? сказалъ онъ, развязывая узелокъ...

Второкурсникъ не отказался и сталъ еще ласковѣе.

— Давай, я тебѣ штуку покажу, говоритъ онъ... Напиши: «*я иду съ мечомъ судія*».

Карась написалъ.

— Читай теперь сзаду напередъ, отъ правой руки къ лѣвой.

И отъ правой руки къ лѣвой выходитъ: «*я иду съ мечемъ судія*».

Это очень понравилось Карасю...

— Подожди, я тебѣ еще покажу штуку, говоритъ второкурсникъ.

Онъ отлучился куда-то не надолго и, вернувшись, опять садится подлѣ Карася...

— Напиши, говоритъ: «*лей воду, лей, ей богу, не скажу я никому*».

Карась, въ надеждѣ, что еще увидитъ что нибудь въ родѣ «судіи съ мечемъ», взялъ карандашъ и написалъ, что требовалось.

Но едва успѣлъ онъ кончить послѣднее слово, какъ второкурсникъ окатилъ его водою изъ ковша, который онъ держалъ за спиною. Мокрый Карась понять не могъ, что это значитъ.

— Это еще что? спросилъ онъ.

— Самъ, отвѣчалъ второкурсникъ, далъ росписку, что никому не скажешь...

— Ахъ, ты подлецъ, подлецъ!...

Но подлецъ лишь только смѣялся. Отвратительный Жирбасъ вторилъ ему. Карась былъ униженъ и оскорбленъ. Онъ не вынесъ смѣха Жирбаса и, увлекшись злобой, довольно сильно ударилъ его по шеѣ... Но, казалось, Жирбасъ былъ неуязвимъ. Онъ послѣ удара, схватившись за животъ, раскатился пущимъ смѣхомъ...

Карась стиснулъ зубы и, закрывъ лицо руками, сбирался плакать.

Въ то время проходилъ мимо него *Силычъ*, парень лѣтъ осьмнадцати, товарищъ ему, десятилѣтнему мальчугану. Силычъ остановился около Карася, положилъ на его плечо руку, а другою ни съ того, ни съ сего, сильно ударилъ въ его спину. Духъ замеръ въ Карасѣ, потому что ударъ пришелся противъ сердца. Онъ со стономъ еле поднялъ свою голову.

— За что? проговорилъ онъ...

— *Такъ себѣ*, отвѣтилъ Силычъ...

И дѣйствительно, Силычъ, человѣкъ, какъ увидимъ далѣе, добрый, самъ не зналъ, зачѣмъ сдѣлалъ подобную гадость. Онъ ударилъ не по злости, не для потѣхи, не потому, что рука затеклась кровью и просила моціону, а именно *такъ себѣ* безсознательно, какъ-то само ударилось, нечаянно... Онъ спокойно пошелъ далѣе, а Карась, наконецъ, не вынесъ, и зарыдалъ...

Жирбаса при этомъ прорвало неудержимымъ смѣхомъ...

— Что, голубчикъ, вѣрно, не ѣдалъ еще такихъ штукъ?..

Въ Карасѣ вспыхнула вся злость, накопившаяся въ продолженіе занятныхъ часовъ...

— Подожди же, жирная тварь, говорилъ онъ, и съ этимъ словомъ, схвативъ въ одну руку линейку, а въ другую довольно толстую книгу, онъ принялся отработывать Жирбаса — линейкой по бокамъ, а книгою по головѣ. Жирбасъ былъ старше Карася и сильнѣе, но оказался трусомъ. Онъ и не думалъ въ свою очередь сдѣлать нападеніе.

— Ай, да новичокъ! одобряли Карася.

— Молодчина!

— Ты корешкомъ-то его!

Карась послушался добраго совѣта, повернулъ книгу корнемъ внизъ и влѣпилъ ее въ темя ненавистнаго Жирбаса.

— Браво!

— Хлестко!

— Свисни еще его!

Карась послушался и этого совѣта...

Наконецъ, Жирбасъ вырвался изъ его рукъ и, закричавъ: «я смотрителю пожалуюсь», скрылся за дверями.

Расположеніе товарищей къ Карасю перемѣнилось по уходѣ Жирбаса.

— Попался, голубчикъ! говорили ему.

— Такъ что же?

— А то, что накормятъ *березовой кашей!*

Карась струсилъ, но, не желая обнаружить этого, проговорилъ храбро:

— Пусть кормятъ! а самъ думалъ: «неужели меня въ первый же день отпорятъ? только этого не хватало».

Черезъ нѣсколько минутъ Карася повели къ смотрителю, и, дѣйствительно, *въ первый же день* принятія въ бурсацкую вѣру, онъ получилъ посвященіе въ количествѣ пяти ударовъ розгами, причемъ ему было внушено: «только на первый разъ къ тебѣ снисходительны; впередъ будемъ драть больнѣе!» — Соображая, въ какомъ размѣрѣ должна усилиться порка въ будущее время, онъ въ горькомъ раздумьи возвращался въ классъ...

— Ну, что? спрашивали его товарищи...

Карась, опять не желая показаться трусомъ, отвѣчалъ:

— Отодрали — вотъ и все.

— И тебѣ ни почемъ?

— Дери, сколько хочешь — мнѣ все одно!

— Э, да ты молодецъ! похваливали его товарищи.

Карасиное самолюбіе ощутило пріятное щекотаніе, и онъ продолжалъ врать:

— Меня хоть по поламъ раздери, не струшу!

— Полно, такъ ли?

— Ей Богу, мнѣ ни почемъ.

— Ахъ ты, поросенокъ, осадилъ его одинъ изъ второкурсниковъ: — а дирали ль тебя *на воздусяхъ?*

— *На воздусяхъ?* спросилъ въ недоумѣніи Карась...

— Да, ты вотъ откушай этой похлебки, тогда и говори, что *дерутъ — вѣдь не рѣпу сѣютъ.*

Карась, сдѣлавшись на нѣсколько минутъ предметомъ общаго вниманія, думалъ: «значитъ, и мы не изъ послѣднихъ?», но эту думу рефлектировала другая: «что это такое *на воздусяхъ?* что нибудь слишкомъ жестокое, если меня пугаютъ такой деркой?» — Но сила послѣдняго вопроса скоро была ослаблена тѣмъ, что онъ, за нѣсколько минутъ до ужина, подслушалъ мнѣніе нѣсколькихъ второкурсниковъ о своей личности. Они говорили: «изъ новичка, кажется, выйдетъ добрый парень. Фискалить онъ не любитъ, порки мало боится, Жирбасу отлично съѣздилъ по головѣ. Изъ него выйдетъ порядочный бурсакъ, только слѣдуетъ пошлифовать его хорошенько. Мы и пошлифуемъ его!» — Такія рѣчи настроили Карася на доброе расположеніе духа. Онъ соображалъ такъ: «всѣ эти смази, волосянки, треухи и бутылочки есть ни что иное, какъ шлифованье. Это меня испытываютъ они. Значитъ, надо держать ухо востро!» — Онъ рѣшился показать себя молодцомъ и уже взыгрался духомъ, намѣреваясь заявить среди

новыхъ товарищей свой характеръ, вполнѣ достойный бурсака. — «Что такое на воздусяхъ? и какое еще предстоитъ мнѣ шлифованье?» — когда эти мысли приходили ему въ голову, онъ старался прогонять ихъ тѣмъ, что «изъ него, вѣроятно, выйдетъ добрый парень». — «Посмотримъ, что будетъ!» говорилъ онъ себѣ.

Сходилъ онъ въ училищную столовую, «щей негодныхъ похлебалъ», поѣлъ каши и, послѣ молитвы, пришелъ въ спальную...

— Ты что? спросилъ его братъ, по прозванью *Носатый*.

— Меня отодрали, отвѣчалъ хвастливо Карась.

— Уже?

— Эгэ!

Братъ, выслушавъ подробности дѣла, одобрилъ поведеніе Карася... Но Карась, сообщая брату о томъ, за что его высѣкли, не сказалъ ему о своихъ слезахъ, которыя были вызваны у него сажаніемъ въ бутылочку, смазями, окачиваніемъ воды и затрещинами; въ немъ начиналъ развиваться ложный бурсацкій стыдъ, который запрещаетъ краснѣть отъ лозы.

Карась, главное дѣйствующее лицо этого очерка, будетъ описанъ нами съ особенными подробностями, потому что онъ во многихъ характерныхъ событіяхъ училища и семинаріи принималъ дѣятельное участіе и притомъ прожилъ въ бурсѣ четырнадцать лѣтъ, періодъ, который мы хотимъ прослѣдить въ своихъ статейкахъ о бурсацкомъ воспитаніи. При этомъ замѣтимъ, что мы *лично* и *очень хорошо* знакомы съ господиномъ, носящимъ прозвище Карася, и эту правдивую исторію пишемъ съ его словъ.

Мы сказали, что Карась уже взыгрался духомъ отъ

той мысли, что онъ покажетъ своимъ новымъ товарищамъ свой характеръ, вполнѣ достойный бурсака, и что потомъ все пойдетъ ладно.—«Обживемся», думалъ онъ. Но онъ и не предполагалъ, что главное горе было впереди. Онъ не носилъ имени Карася при поступленіи въ училище. Это прозвище онъ получилъ нѣсколько дней спустя, и оно-то было причиною тѣхъ его несчастій, о которыхъ поведемъ разсказъ.

Дѣло было такъ.

Не прошло и четырехъ дней, а Карась началъ уже задумываться о домѣ, скучать и потихоньку отъ товарищей плакать. Желаніе его обурсачиться пропало. Все въ училищѣ ему казалось гадко и противно. Съ каждой минутой открывались предъ нимъ гадости, описанныя въ нашихъ очеркахъ, и онъ скоро постигъ весь контрастъ между домашнимъ и училищнымъ бытомъ. Семейная жизнь теперь казалась ему полнымъ блаженствомъ, выше котораго нѣтъ на свѣтѣ, бурсацкая — царствомъ безконечныхъ мученій. Онъ усиленно всматривался въ чорную бездну, которая легла между той и другой жизнью... Домой хотѣлось, домой!.. Теперь самыми счастливыми для него минутами были тѣ, когда онъ видѣлся съ своими братьями; но онъ ошибся и въ братьяхъ, когда думалъ, что, поступивъ въ бурсу, онъ сдѣлается равенъ имъ. Карась принадлежалъ къ *приходчинѣ*, на которую старшіе классы смотрѣли свысока и съ пренебреженіемъ. Съ товарищами онъ не успѣлъ сойдтись. Тоска грызла Карасиное сердце, и ему приходило не разъ въ голову: «не дать ли тягу изъ училища? — но куда бѣжать?» Въ это время Карась и придумалъ дѣло, которое показалось ему очень хорошимъ.

Карась еще дома зналъ, что въ училищѣ такъ называемымъ *пѣвчимъ* не житье, а масляница. Въ эпар-

хіальномъ главномъ городѣ той бурсы, въ которую поступилъ онъ, было нѣсколько духовныхъ пѣвческихъ хоровъ: ученическій, семинарскій, академическій, архіерейскій и, кромѣ того, два хора при городскихъ церквахъ. Дисканты и альты (иногда басы и теноры) въ эти хоры набирались изъ учениковъ. Родители всегда возставали противъ того, что ихъ дѣтей верстали въ пѣвчіе. Хоры положительно портили дѣтей *). Мальчики теряли учебное время на спѣвкахъ, *заказныхъ* обѣдняхъ, свадьбахъ и т. п. Въ прошломъ очеркѣ мы приводили факты бурсацкаго невѣжества, но самое глухоголовное невѣжество царило въ пѣвческихъ хорахъ. Дѣльные бурсаки разсказываютъ, что за *четырнадцать* лѣтъ они помнятъ только *одного* умнаго человѣка, бывшаго въ маленькихъ пѣвчихъ, да и тому не удалась жизнь: поступивъ, по окончаніи семинарскаго курса, псаломщикомъ въ одинъ изъ университетскихъ заграничныхъ городовъ, съ намѣреніемъ получить полное образованіе, онъ кончилъ тѣмъ, что застрѣлился. Хоры, дѣлая мальчиковъ дураками, въ то же время развращаютъ ихъ. Присутствуя очень часто на поминкахъ, на которыхъ, какъ извѣстно, нашъ православный людъ ѣстъ и пьетъ безъ всякой мѣры, дѣти не только видятъ пьяныхъ, но привыкаютъ и сами пить водку. Равнымъ образомъ, они нерѣдко бываютъ при кутежахъ большихъ пѣвчихъ, слышатъ циническіе разсказы о полуведерныхъ, о любовныхъ похожденіяхъ, картежной игрѣ, о дракахъ и разнаго рода скандалахъ. Кромѣ того, маленькіе пѣвчіе получаютъ деньжонки,

*) При нашей характеристикѣ хоровъ должно помнить, что она вполнѣ относится не ко всѣмъ имъ, изъ нихъ отчасти должно исключить хоры при учебныхъ заведеніяхъ; хотя и эти хоры не совсѣмъ безвредны, но о нихъ рѣчь будетъ когда нибудь послѣ.

особенно такъ называемые *исполатчики*, — деньжонки идутъ у нихъ не путемъ. Понятно, что очень легко погибнуть мальчику въ пѣвческомъ хорѣ.

Карась не зналъ ничего этого. Онъ рѣшился поступить въ хоръ. Впрочемъ, онъ поступалъ въ учебный хоръ, въ которомъ хотя тоже баловались дѣти, но все же не развращались. Поступивъ въ семинарскій хоръ, Карась могъ отлучаться изъ училища два раза въ недѣлю на спѣвки, причемъ хоть сколько нибудь удавалось подышать чистымъ воздухомъ; кромѣ того, въ семинаріи пѣвчихъ поили иногда чаемъ и давали деньги; наконецъ, пѣвчіе состояли подъ особымъ покровительствомъ семинарскаго начальства. Смекнувъ все это, Карась, въ то время, когда ему противна стала бурса, поступилъ въ хоръ; но не смекнулъ Карась того, что онъ, не смотря на свой сильный альтъ, не имѣлъ никакого пѣвческаго таланта. Это ему дорого обошлось. Лучше бы и въ самомъ дѣлѣ быть ему безгласной рыбой, а не пѣвчимъ. За постоянный фальшъ въ пѣніи начали драть ему уши, подчивать пинками, щипками и ударами камертона въ голову. Тогда Карась пустился на хитрости. Его сотрудники поютъ, а онъ только ротъ разѣваетъ. «Не замѣтятъ», думаетъ:—«скажутъ, что я пою». Но регента трудно было провести такими штуками.

— Ты, галчонъ, что только ротъ разѣваешь? сказалъ онъ Карасю.

— Я пою.

— Врешь, каналья.

— Ей-Богу же пою!

Карась перекрестился.

Карась крестится, а его за ухо.

— Пой, шельмецъ, громче!.. шибче!..

Карась заревѣлъ во все горло. Пѣніе вышло такъ хорошо, что всѣ расхохотались и самъ регентъ не выдержалъ. Одинъ же озорникъ, изъ маленькихъ пѣвчихъ, по прозванію *Леха*, указывая на мученика пальцемъ и задыхаясь отъ смѣху: проговорилъ:

— Ка...ка...ка...ррась!..

— И вправду, Карась... Широкой, какъ Карась, подхватили другіе.

— Его надо въ прудъ!

Пошла потѣха.

Карась не былъ на столько благоразуменъ, чтобы обратить дѣло въ шутку. На возвратномъ пути Леха дразнилъ его и, когда они пришли въ училище, бурсачки, окруживъ его, стали кричать:

— Карась!

— Рыба!

— Съ ершомъ подрался!

Карась сталъ браниться; его начали дергать за полы и щипать: тогда Карась принялся за палки и каменья. Весело стало ученикамъ; толпа увеличилась. Наконецъ кто-то сшибъ Карася съ ногъ.

— *Мала куча!*

На Карася повалили другихъ, на другихъ третьихъ и пошла исторія.

— Гдѣ ты, Карасище? кричали сверху.

Карасю животъ тискали, Карась задыхался, Карась землю ѣлъ, Карась плакалъ...

Послѣ долгихъ усилій онъ вырвался кое-какъ и ударился бѣжать въ классъ. Бурсаки бросились за нимъ въ погоню. Въ классѣ окружили его снова.

— Давайте *нарекать* Карася...

Схватили его за руки и всевозможными голосами,

съ крикомъ, визгомъ, лаемъ, стономъ, начали кричать въ самыя уши его:

— Карась, карась, карась!

Гвалтъ поднялся страшный, и среди него ученики не слышали, какъ раздался звонокъ, возвѣщающій классныя занятія. Прошло довольно времени, и уже въ сосѣдній классъ пришолъ учитель, знаменитый Лобовъ, а шумъ не унимался. Несчастнаго Карася щипали, сыпали въ голову щелчки, кидали въ лицо жеванную бумагу, Карась точно въ котлѣ варился; онъ постепенно былъ оглушонъ и ощипанъ. Шутка зашла такъ далеко, что ему уже казалось, будто изъ міра дѣйствительности онъ перешолъ въ міръ полугорячечнаго, безобразнаго сна. Ревъ былъ до того невыносимъ, что Карасю представлялось, что реветъ кто-то внутри самой головы его и груди. Начиналъ онъ шалѣть, предметы въ глазахъ путались, линіи перекрещивались, цвѣта сливались въ одну массу. Еще минута, и онъ упалъ бы въ обморокъ. Но Карася такъ жестоко щипнули, что вся кровь бросилась въ лицо его, въ вискахъ и на шеѣ вздулись жилы, и онъ съ остервенѣніемъ и въ безпамятствѣ бросился на перваго попавшагося подъ руку; пальцы его, вцѣпившись въ волоса жертвы, закостенѣли.

Дѣло кончилось крайне омерзительно...

Въ классъ вошолъ Лобовъ, котораго взбѣсилъ шумъ бурсаковъ. Всѣ разбѣжались по мѣстамъ; лишь одинъ Карась таскалъ свою жертву, которая, къ несчастію, пришлась ему подъ силу.

— Взять его! приказалъ Лобовъ.

Никто ни съ мѣста.

— Взять его!

На Карася бросились ученики большого роста и въ одно мгновеніе обнажили тѣ части корпуса, которыя

въ бурсѣ служатъ проводниками человѣческой нравственности и высшей правды.

— *На воздусяхъ его!*

Карась повисъ воздухѣ.

— Хорошенько его!

Справа свиснули лозы, слѣва свиснули лозы; кровь брызнула на тѣлѣ несчастнаго, и страшнымъ воемъ огласилъ онъ бурсу. Съ правой стороны опоясалось тѣло двадцатью пятью ударами лозъ, съ лѣвой столькими же. Нервы его были уже измучены тогда, когда его нарекали Карасемъ, щипали и заушали, а во время наказанія они совершенно потеряли способность къ воспріятію моральныхъ впечатлѣній: память его была отшиблена, мысли... мыслей не было, потому что въ такія минуты разсудокъ не дѣйствуетъ; нравственная обида... и та созрѣла послѣ, а тогда онъ не произнесъ ни одного слова въ оправданіе, ни одной мольбы о пощадѣ, раздавался только крикъ живого мяса, въ которое впивались красными и темными рубцами жгучія, острыя, яростныя лозы... Тѣло страдало, тѣло кричало, тѣло плакало... Вотъ почему Карась, когда послѣ его спрашивали, что въ его душѣ происходило во время наказанія, отвѣчалъ: «не помню». Нечего было и помнить, потому что душа Карася умерла на то время.

— Бросьте его!

Въ жизни человѣка бываетъ періодъ времени, отъ котораго зависитъ вся моральная судьба его, когда совершается переломъ его нравственнаго развитія. Говорятъ, что этотъ періодъ наступаетъ только въ юности; это неправда: для многихъ онъ наступаетъ въ самомъ розовомъ дѣтствѣ. Такъ было и съ Карасемъ. Слышали мы отъ него мнѣніе такого рода: «всѣ увѣрены, что дѣтство есть самый счастливый, самый невинный, са-

мый радостный періодъ жизни, но это ложь: при такой системѣ нашего воспитанія, въ которой участвуютъ подобные педагоги, — это самый опасный періодъ, въ который легко развратиться и погибнуть на вѣки». Это Карась испыталъ на себѣ...

Карась, послѣ *нареканія* и порки, не могъ опомниться, и на долгое время потерялъ способность соображать. На другой день его посѣтилъ отецъ. Лишь только онъ увидѣлъ отца, изъ глазъ его полились слезы. Родное селеніе, кладбище, домъ съ садомъ, семья, домашніе товарищи, игры — все это живой картиной встало предъ его воображеніемъ. Онъ теперь хорошо понялъ, какъ мила домашняя жизнь, которая казалась ему такой простой, и какъ гнусна бурсацкая, къ которой онъ когда-то стремился.

— Домой хочу, говорилъ онъ, глотая соленую слезу.

Отецъ его былъ человѣкъ въ высшей степени добрый. Ему сдѣлалось жалко сына...

— Тятенька, возьмите меня домой.

— Нельзя, отвѣчалъ отецъ:—надобно учиться: всѣ учатся, а ты не маленькій... Сначала только скучно, а потомъ привыкнешь... Ты веди себя хорошо, хорошо и жить будетъ.

Но отецъ вдругъ прервалъ свою рѣчь. Онъ подумалъ: «всѣ мы говоримъ дѣтямъ подобныя вещи, но они никогда не утѣшаютъ ихъ». Отецъ вздохнулъ.

— Зачѣмъ вы меня отдали сюда?

Сынъ заплакалъ.

— Обижаютъ, что ли, тебя?..

Сынъ ничего не отвѣчалъ...

Отецъ видѣлъ, что что-то не ладно... Онъ опять сказалъ ласково:

— Что же, тебѣ худо здѣсь?..

Не только дѣти, но и взрослые, когда посѣщаетъ ихъ горе, дѣлаются несправедливыми къ своимъ близкимъ людямъ и друзьямъ, отплачивая на нихъ свое горе. У Карася появилась досада на своего добраго отца.

«Зачѣмъ меня отдали въ эту проклятую бурсу?» разсуждалъ онъ, не говоря отцу ни слова. — «Зачѣмъ меня заперли сюда?.. Отецъ меня не любитъ мать тоже, братьямъ и сестрамъ я не нуженъ... Большіе всегда обижаютъ маленькихъ... Когда такъ, не хочу домой... пусть ихъ... мнѣ все одно... Что и дома, когда тамъ всѣ ненавидятъ меня?.. Имъ пріятно, что я мучусь... нарочно отдали сюда, чтобъ меня сѣкли, били, ругали... Отпустятъ въ субботу домой, не пойду домой».

Такъ разсуждалъ Карась, а самому страстно хотѣлось домой. Казалось, тутъ бы и раскрыть свою душу передъ отцомъ, но Карась ропталъ и думалъ про себя: «къ чему? не поможетъ!» Онъ рѣшился ничего не говорить отцу, который такъ и не узналъ, какую моральную и физическую пытку перенесъ его сынъ въ первые дни училищной жизни.

Когда ушолъ отецъ, къ тоскѣ по родномъ домѣ присоединился страхъ. Карась и не подозрѣвалъ, что онъ, сравнительно съ большинствомъ новичковъ, довольно счастливо началъ бурсацкую карьеру. Товарищи знали, что онъ вошелъ въ училище съ веселымъ лицомъ, а не со слезами, на первую пожалованную ему смазь отвѣчалъ ногой въ животъ обидчика, когда его сажали въ бутылочку, давали ему волосянку, показывали Москву, обливали водой, когда билъ его Силычъ,—онъ и не думалъ жаловаться начальству, значитъ, изъ него не

выйдетъ фискала; онъ лихо отколотилъ Жирбаса, получилъ въ первый же день порку; когда дразнили его на дворѣ, онъ хватался за палки и каменья, а не бѣжалъ къ инспектору: даже во время самаго *наречения* его, вцѣпился въ волоса одного бурсака: — все это были факты такого рода, которые внушали уваженіе къ Карасю. Для него скоро бы прошло время, въ которое его считали бы новичкомъ и въ которое больше всего терпитъ бурсакъ: но онъ потерялъ способность резюмировать. — Лобовъ отшибъ эту способность на время. Не будь Лобова, дѣло еще пошло бы кое-какъ. Но въ это-то время душевнаго отупѣнія предъ нимъ и развернулась широкая, бездонная, зіяющая пропасть бурсацкихъ ужасовъ, силу которыхъ онъ испыталъ на своей кожѣ, мясѣ и костяхъ. Карась находился теперь подъ полнымъ подавляющимъ вліяніемъ этой силы: мертвая безнадежность, глухое отчаяніе легли на его сердце; и если бы товарищи продолжали мучить его, а начальники драть безпощадно, не давъ отдохнуть для борьбы, онъ превратился бы или въ дурака, или подлеца. Вспоминая это страшное время, Карась говоритъ: «многія честныя дѣти честныхъ отцовъ возвращаются домой подлецами; многія умныя дѣти умныхъ родителей возвращаются домой дураками. Плачутъ отцы и матери, отпуская сына въ бурсу, плачутъ и принимая его изъ бурсы». Карась уединился отъ всѣхъ и замкнулся. Онъ всѣхъ боялся.

Но должно же было разрѣшиться чѣмъ нибудь это пассивное страданіе? Оно могло пока разрѣшаться только внутреннимъ путемъ. Въ душѣ его проявляется страшная злость и ненависть, однако боящаяся обнаружить себя. Она горячитъ воображеніе Карася, и въ головѣ его возникаютъ странныя идеи и картины. Онъ

переносится въ область фантазіи, единственный уголокъ, гдѣ можетъ онъ пріютиться безопасно.

«Хоть поджегъ бы кто ненавистную бурсу!» думаетъ онъ; эта мысль очень нравится ему, и онъ быстро доходитъ почти до образныхъ созерцаній.

Карась представляетъ себѣ, какъ онъ, съ зажженной паклей въ рукахъ, опускается въ подвалы училища, строитъ тамъ огромные костры, и вышедши оттуда, ждетъ, скоро ли пламень своими огненными языками начнетъ лизать проклятыя бурсацкія гнѣзда. Злость его видитъ, какъ пожаръ охватилъ бурсу... трещатъ, нагибаются, падаютъ стѣны... разрушаются гнусные классы... горятъ противныя книги и учебники, журналы и нотаты... гибнутъ въ огнѣ начальники и учителя, цензора и авдиторы... Съ галлюцинаціонною ясностію стоитъ передъ Карасемъ нарисованная имъ картина... Слышитъ онъ трескъ и громъ разрушающагося зданія, вопль умирающихъ... «Это кто стонетъ?» спрашиваетъ Карась. — «А! это Лобовъ»... Карась съ сладострастнымъ наслажденіемъ любуется своими образами и живетъ злорадостной мыслью... Нервы его въ полугорячечномъ состояніи; пульсъ бьетъ девяносто въ секунду; голова горитъ... Когда въ дѣйствительности силы связаны, тогда у мальчика съ сильнымъ воображеніемъ является въ неестественныхъ образахъ гиперболическая месть. Доводя злыя мечты до послѣдняго развитія, Карась повторяетъ одно и то же нѣсколько разъ, опредѣляя каждую подробность ихъ, каждую мелочь. Но такое психическое состояніе не можетъ продолжаться долго; душа утомляется и начинаетъ незамѣтно пробиваться здравая мысль. Карась, погруженный въ свирѣпыя мечтанія, почему-то вдругъ вспоминаетъ, какъ онъ однажды подшибъ неча-

янно камнемъ голубя и потомъ цѣлую ночь не могъ заснуть отъ мученій совѣсти... Онъ ясно начинаетъ понимать всю ложь и безобразіе своихъ картинъ, гонитъ ихъ прочь, на душѣ дѣлается пусто и противно, остается одна тошнота отъ неумѣренныхъ и безплодныхъ мечтаній.

Яркій звонокъ возвѣстилъ часъ вечернихъ занятій.

Дѣйствительность, отъ которой онъ закрывалъ глаза и затыкалъ уши, врывалась насильно въ сознаніе, обнаруживая все ребячество его раздраженнаго воображенія. Онъ сидѣлъ въ классѣ, на задней партѣ, понуря тоскливо голову. Уличенный совѣстью, онъ теперь гналъ отъ себя мечты, и такимъ образомъ ни во внѣшнемъ, ни во внутреннемъ мірѣ не осталось мѣста, куда бы можно было спрятаться, а между тѣмъ душа и тѣло просятъ дѣятельности. Въ этомъ мучительномъ состояніи Карась не знаетъ, что и дѣлать. Очень тяжело ему.

«Господи, думаетъ онъ въ невыносимой тоскѣ: хоть захворать бы мнѣ!» Это было толчкомъ, отъ котораго развились фантазіи въ новомъ направленіи. Кромѣ внутренняго міра — нигдѣ не было пріюта. И вотъ Карась болѣетъ... Онъ при смерти... Родная семья плачетъ около его постели и прощается съ нимъ «до радостнаго утра»... Карась готовится къ переходу въ вѣчность... послѣдній часъ... Но далѣе мечта сбивается съ пути, потому что умирать не хочется. Карасю является какой-то святой мужъ, исцѣляетъ его и велитъ идти спасаться въ пустыню... Рисуется ему пустынная, мирная, ангельская жизнь, трудные подвиги, церковныя пѣсни, бесѣды съ Богомъ... Изъ него выходитъ великій подвижникъ... къ нему стекаются жители окрестностей... Долгіе годы онъ постится, молится, изну-

ряетъ свою плоть, благодѣтельствуетъ людямъ... и онъ уже видитъ, какъ онъ приближается къ кончинѣ... какъ. . . . . .

. . . . . .

— Карасище!...

Это былъ голосъ не съ того свѣта, а изъ бурсацкаго міра.

— Ты братъ *Носатаго*?

Карась видитъ предъ собою страшнаго Силыча и инстинктивно сокращаетъ свою шею...

«Боже мой, онъ опять пришелъ бить меня!» думаетъ Карась.

— Братъ тебѣ Носатый? повторяетъ Силычъ...

— Братъ, отвѣчаетъ Карась, не понимая, къ чему идетъ дѣло...

— И ладно, коли братъ... Теперь ты ничего не бойся... Я за тебя, потому что твой братъ мой первѣйшій другъ... Жалуйся мнѣ, кто будетъ обижать тебя... Слышишь?

— Слышу. Но, вспоминая коварнаго второкурсника, Карась недовѣрчиво смотрѣлъ на новаго покровителя...

— Тише! закричалъ Силычъ звонкимъ голосомъ...

Больше ста человѣкъ приготовились слушать Силыча со вниманіемъ. Это показываетъ, какое онъ имѣлъ вліяніе въ классѣ.

— Встань! сказалъ онъ Карасю.

Карась поднялся на ноги...

— Вотъ эту рыбу, обратился онъ къ классу, показывая на Карася: — никто не смѣетъ обижать!.. Кости переломаю тому, кто тронетъ Карася...

Карасю стало легко на сердцѣ...

— А ты, Карась, жалуйся мнѣ... Скажи, кто тебя трогалъ?

— Не знаю.

Онъ дѣйствительно не зналъ, на кого указать...

— Не бойся; говори, кто тебя обижалъ?

— Никто не обижалъ...

— Быть не можетъ...

— Да всѣ обижали...

Это было вѣрнѣе.

— Кто твой авдиторъ?

— *Рыжикъ*.

— Хорошо. Я скажу ему, чтобы онъ не смѣлъ тебя *жучить* (строго выслушивать урокъ).

— Спасибо, Силычъ...

— Будетъ просить булки, не давай...

— Ладно, Силычъ...

— Такъ слушайте же, опять обратился Силычъ къ классу: — бѣда тому, кто даже пальцемъ тронетъ Карася!..

Но на этотъ разъ послышался отвѣтъ нѣкоего *Паникадилы:*

— Ну, не велика еще бѣда...

Силычъ посмотрѣлъ въ ту сторону, откуда слышался голосъ. Онъ ничего не отвѣчалъ, а только сердито сжалъ кулакъ...

— Не бойся, сказалъ онъ Карасю, и сталъ гулять по классу...

Изъ міра фантазій, Карась быстро и охотно перешолъ въ міръ дѣйствительности. Точно гора свалилась съ его плечъ... Оглядывая товарищей, онъ видѣлъ, что впечатлѣніе, произведенное Силычемъ, было очень велико... Легко, весело, вольно стало ему. Онъ на-

чалъ наблюдать жизнь занятныхъ часовъ и скоро увлекся ею...

Но онъ и не подозрѣвалъ, что сдѣлался теперь предметомъ раздора между Силычемъ и Паникадиломъ...

Что такое Силычъ?

Носатый, братъ Карася, до поступленія въ училище, ходилъ въ частную школу, гдѣ и познакомился на понюшкѣ табаку съ сыномъ вдовы дьячихи, Силычемъ. Впослѣдствіи они стали друзьями. Оба они поступили во второй приходскій классъ бурсы... Силычъ остался на второй курсъ — вотъ почему и встрѣчаемъ его, осьмнадцатилѣтняго парня, товарищемъ Карася и вмѣстѣ съ нимъ склоняющимъ: «перо, пера, перу», долбящимъ: «единъ Богъ», изучающимъ «сумму» и «разность». Силычъ былъ средняго роста, не красиво скроенъ, но крѣпко сшитъ и обладалъ замѣчательной силой... Онъ однажды пришолъ въ гости къ своему пріятелю, Носатому. Отправились на рѣку. Тамъ мужики ловили рыбу. Одинъ изъ рыбаковъ сматывалъ веревку съ ворота. — «Дядя», говоритъ Силычъ.—«давай я буду сматывать, а ты останови воротъ за палку». — Ты, кутья, должно быть, съ ума сошелъ, отвѣчалъ мужикъ. — «Такъ верти же хорошенько».—Мужикъ завертѣлъ воротъ, такъ что палки его сливались для глаза въ одинъ сплошной кругъ, съ каждой минутой усиливая скорость оборотовъ; — Силычъ подставилъ свою крѣпкую ладонь, толстая палка ворота влѣпилась въ нее—и воротъ остановился неподвижно. Мужикъ только подивился на него. При такихъ крѣпкихъ мышцахъ, Силычъ обладалъ не меньшею и ловкостью. Приходитъ онъ еще разъ къ Носатому въ гости. Теперь они пошли гулять въ поле, но лишь только стали под-

ходить къ забору, какъ услышали сзади себя голосъ мужика, который ругался, зачѣмъ они траву мнутъ... Друзья полѣзли черезъ заборъ на кладбище: мужикъ за ними, Силычъ смѣло встрѣтилъ его. — «Что тебѣ надо?» спросилъ онъ мужика. Тотъ оказался нѣсколько пьянымъ и, разгоряченный виномъ, хотѣлъ ударить Силыча. Его рука уже описала полукругъ въ воздухѣ, но въ то время, когда долженъ былъ совершиться ударъ, Силычъ быстро наклонился, всталъ предъ мужикомъ снова и, скрестивъ руки, сказалъ: «бей еще!» — И на этотъ разъ мужикъ не могъ поймать лицо Силыча. Тогда только Силычъ произнесъ: «съ трехъ разъ не попалъ! теперь держись за землю, а не то упадешь», и съ этими словами сшибъ мужика съ могилы... И вотъ этакой-то господинъ, за одно съ Карасемъ, склонялъ: «перо, пера, перу», долбилъ «единъ Богъ» и т. п. Что же дѣлать? Его поздно отдали въ бурсу, и до нея онъ добывалъ для матери копѣйку, справляя службы за дьячковъ, читая по покойникамъ, занимаясь славленіемъ Христа, молебнами и обѣднями. Будучи ученикомъ, онъ въ семьѣ и среди знакомыхъ принимался какъ взрослый человѣкъ. Силычъ былъ человѣкъ добрый. Онъ никогда не употреблялъ своихъ здоровыхъ кулаковъ на то, чтобы вынудить взятку или добиться отъ кого нибудь низкой послуги. Если же онъ и давалъ кому затрещину, какъ, напримѣръ, Карасю, при первомъ съ нимъ знакомствѣ, то изъ этого еще ничего не слѣдуетъ: въ бурсѣ затрещина — все одно, что въ лавкѣ мелкая монета. Но поступить подъ защиту такого господина, значило обезпечить себя отъ всевозможныхъ обидъ, съ чьей бы то ни было стороны... Силычъ былъ и не глупъ, и не его бѣда, что такъ поздно онъ началъ склонять «перо, пера, перу»...

Что такое Паникадило?

Чтобы опредѣлить его, надо сказать напередъ, что такое *озубки*. *Озубками* въ бурсѣ называются куски хлѣба, остающіеся на столѣ отъ обѣда и ужина, и притомъ такіе куски, которые имѣютъ на себѣ слѣды чьихъ-либо зубовъ. Въ бурсѣ есть повѣрье, что съѣденный озубокъ сообщаетъ силу, того, кому онъ принадлежитъ. Многіе постоянно ѣли чужіе озубки, чтобы сдѣлаться богатырями. Паникадило, великовозрастный ученикъ, ѣлъ ихъ уже нѣсколько лѣтъ. Онъ постоянно бахвалился своей силой, которая была дѣйствительно велика. Онъ со всѣми передрался въ классѣ, кромѣ Силыча. Силычъ былъ для него бѣльмомъ на глазу, за то, что удержалъ въ своихъ рукахъ пальму кулачнаго первенства. Онъ и боялся Силыча, и не хотѣлъ вѣрить, чтобы тотъ смогъ дать ему трепку. Этотъ вопросъ давно мучилъ Паникадилу, и онъ рѣшилъ, что должно получить отвѣтъ сегодня...

Карась, между тѣмъ, совершенно успокоился. Онъ опять сошелся съ Жирбасомъ, который оказался круглымъ дуракомъ. — «Это не бѣда!» подумалъ Карась и сталъ играть съ нимъ въ трубочисты.

— Въ которой рукѣ? спрашивалъ онъ Жирбаса.

Въ это время подошелъ къ нему Паникадило, взялъ его за воротникъ сюртука, положилъ спиной на парту и сталъ загибать ему салазки...

— Оставь! кричалъ Карась.

Паникадило гнулъ ему ступни за самыя плеча.

— Силычъ! завопилъ Карась.

— Что? откликнулся тотъ.

— Заступись!..

Явился Силычъ. Паникадило того и ждалъ... Онъ бросилъ Карася.

Начались предварительные переговоры.

— Ты зачѣмъ, сволочь, трогаешь его?

— А тебѣ что?

— Не слышалъ, что я говорилъ?

— На это ухо глухъ.

— Значитъ, вытряски захотѣлось?

— Ну-ко тронь!

— А ты думаешь, не трону?..

Силычъ подвинулся къ Паникадилѣ...

— Задѣнь только, задѣнь!..

Паникадило подвинулся къ Силычу.

— Слышь, не лѣзь!

Силычъ толкнулъ Паникадилу плечомъ...

— Ты не толкайся!

Толчокъ былъ отданъ обратно...

Въ такой формѣ бурсаки, желающіе подраться, бросаютъ другъ другу перчатку.

Началось плюходѣйствіе.

Спеціалисты сразу же рѣшили: «намнутъ Паникадилѣ бока», и дѣйствительно, не прошло пяти минутъ, какъ Силычъ сидѣлъ верхомъ на Паникадилѣ, мялъ его и спрашивалъ:

— *Живота, или смерти?*

— Пусти!... чортъ съ тобой!..

— Карася будешь трогать?

— Да ну тебя!

— То-то!

Потрясши Паникадилу за шиворотъ, Силычъ отпустилъ его съ миромъ.

Паникадило, отправляясь на свое мѣсто, думалъ про себя: «чорта съ два: эти проклятые озубки ничего не значатъ. А впрочемъ, я, быть можетъ, мало ѣлъ ихъ?» И послѣ того, онъ продолжалъ ѣсть озубки, и, быть

можетъ, по настоящую минуту кушаетъ ихъ, но болѣе никогда онъ не рѣшался схватываться съ Силычемъ...

Такимъ образомъ, куча плюхъ, смазей и салазокъ, тычковъ, швычковъ и плевковъ, зуботрещинъ, заушеній и заглушеній пронеслась довольно благополучно надъ головой Карася.

И опять повторимъ: — не для всѣхъ проходятъ первые дни бурсацкой жизни такъ счастливо, какъ они счастливо миновались для Карася... Но ни для кого они не остаются безъ послѣдствій; не остались безъ нихъ и для Карася.

Первыя впечатлѣнія бурсы на Карася были таковы, что не помоги Силычъ, то онъ, какъ говоритъ самъ, превратился бы въ подлеца, либо въ дурака. Эти впечатлѣнія опредѣлили, главнымъ образомъ, весь дальнѣйшій характеръ его бурсацкой жизни.

По отношенію къ начальству онъ сдѣлался полнѣйшимъ, закаленнымъ, пропеченнымъ бурсакомъ.... Главное начало товарищества, ненависть къ своему начальству, въ немъ укоренилось и развилось болѣе, нежели въ комъ другомъ. Онъ получилъ доучилищное воспитаніе довольно гуманное и честное; но бурса должна была положить на него свое клеймо. Лобовская порка сдѣлала то, что онъ, послѣ нея, никогда уже не могъ обращаться съ своимъ начальникомъ просто, спокойно и откровенно. Довѣренность къ начальству въ немъ была убита сразу и навсегда. Это главнымъ образомъ выразилось въ томъ, что онъ никогда не могъ смотрѣть начальнику прямо въ глаза, а всегда изъ подлобья; никогда не говорилъ естественнымъ голосомъ, а заунывнымъ и фальшивымъ,

гробовымъ и нижне-тоннымъ; всегда предъ начальникомъ ежился и потому не любилъ встрѣчаться съ нимъ. Онъ каждую минуту точно чувствовалъ себя провинившимся, хотя бы ни въ чемъ не былъ виноватъ. Это странное чувство, заставлявшее держать себя такъ, не было слѣдствіемъ страха, потому что, какъ увидимъ ниже, Карась не былъ очень трусливъ, часто рѣшался на дерзости и штуки, на которыя рѣшались немногіе. Дѣло вотъ въ чемъ. Карась положительно сознавалъ, что онъ ненавидитъ бурсу, ея воспитателей, ея законы, учебники, щи и кашу — и въ то же время долженъ покоряться начальству, улыбаться передъ нимъ, кланяться, а иногда и льстить даже. Держать себя прямо, высказываться безъ обиняковъ было нельзя, потому что запорятъ, и вотъ Карась навсегда сбычился предъ начальствомъ. Тутъ дѣйствовалъ не страхъ, а совѣстливость. Когда сколько нибудь честному человѣку, уважающему свою личность, приходится гнуть спину, гнуть невольно, насильно, неизбѣжно, подъ страхомъ всевозможнаго заушенія, тогда онъ будетъ гнуть ее, какъ человѣкъ, котораго мучитъ совѣсть. Въ Карасѣ такъ и устроилось; либо онъ дерзокъ съ начальникомъ, либо смотритъ какимъ-то чудакомъ. Многіе педагоги, вѣроятно, чутьемъ чуютъ, что они не хорошіе педагоги, когда преслѣдуютъ такихъ учениковъ, какъ Карась, когда они строго говорятъ ученику: «смотри прямо мнѣ въ глаза, имѣй лицо веселое и спокойное, отвѣчай урокъ твердо и чотко!» — «Кто не можетъ смотрѣть прямо въ глаза начальнику», утверждаютъ такіе педагоги, «у того совѣсть нечиста». — Спорить нельзя, что это вѣрно. Какъ же, ученикъ сознаетъ вѣдь, что онъ не терпитъ своего учителя, и, не смотря на это, дол-

женъ улыбаться передъ нимъ: на душѣ становится скверно, и улыбка выходитъ странная. Разумѣется, Карась и самъ не понималъ, отчего онъ и говоритъ, и улыбается, и кланяется, при встрѣчѣ съ начальникомъ, не по людски; онъ не развился еще до анализа и не могъ опредѣлить, что тутъ дѣйствовала именно совѣсть; онъ это только инстинктивно слышалъ въ себѣ и уже гораздо позже сознательно разобралъ источникъ своихъ отношеній къ властямъ. Впрочемъ, изъ всего этого никоимъ образомъ не слѣдуетъ, чтобы потупленность ученика предъ учителемъ всегда была слѣдствіемъ затаенной ненависти перваго къ послѣднему: она можетъ происходить отъ простой застѣнчивости. Но мы говоримъ только о Карасѣ. Такая замаскированная ненависть Карася изрѣдка разрѣшалась откровенно съ его стороны дерзостью, а безъ покрововъ сказывалась очень сильно за спиной начальства.

Но и въ этотъ періодъ своего развитія, когда характеръ его еще не успѣлъ вполнѣ сложиться, Карась сталъ нѣсколько оригинально къ своимъ властямъ, сравнительно съ другими бурсаками, протестовавшими противъ начальства. Карась занялъ почти исключительное положеніе въ бурсѣ. По крайней мѣрѣ, половины вредныхъ условій, имѣющихъ злое вліяніе на бурсака, для него не существовало. Его человѣческое достоинство было защищено простой, грубой, мышечной силой перваго богатыря класса, и эта грубая сила спасла его. Ему не пришлось предъ товарищами кланяться, льстить, говорить второклассникамъ на ночь сказки, давать имъ деньги и булки, искать въ ихъ головахъ тварей разнаго рода, чесать пятки, бѣгать за водой и т. п. Въ продолженіе бурсацкой жизни

онъ только три раза далъ взятку, и то подошли особые случаи. Онъ, подъ покровительствомъ Силыча, еще будучи новичкомъ, скоро пріобрѣлъ всѣ выгоды и льготы второкурсника. Четырехъ лѣтъ, пока не исключили Силыча, достаточно было, чтобы привыкнуть Карасю держать себя независимо: онъ знать не хотѣлъ ни авдиторовъ, ни цензоровъ, ни старшихъ. Но при такомъ положеніи онъ не воспользовался кулаками Силыча, чтобы угнетать другихъ: его самого чуть не оглушили на вѣки, онъ этого никогда не забывалъ и съ тѣхъ поръ относился къ властямъ изъ товарищей и къ физической бурсацкой силѣ отрицательно, притомъ Силычъ и самъ не любилъ взятокъ и утѣсненій, потому не сталъ бы помогать въ томъ и Карасю. Карась въ рѣдкихъ случаяхъ прибѣгалъ къ его помощи; большею частію, при нуждѣ, онъ самъ дрался, и если бывалъ при этомъ поколоченъ, то обыкновенно либо ругался, либо пускалъ въ противника камнемъ, книгой, линейкой, если же, при схваткѣ съ болѣе сильнымъ врагомъ, не случалось подъ рукой оружія, то онъ употреблялъ въ дѣло зубы, когти и ноги, то есть, кусался, царапался и лягался. Нерѣдко былъ Карась битъ, бивалъ и другихъ, но все это было въ порядкѣ бурсацкихъ вещей — и только. Поэтому-то покровительство Силыча, при такомъ направленіи его, не навлекло на Карася непріязни товарищей. Многіе даже любили его. Испытавъ на себѣ горькую участь беззащитнаго человѣка въ бурсѣ, онъ нерѣдко употреблялъ кулаки Силыча, иногда же свои зубы, когти и ноги, въ пользу угнетенныхъ. Въ продолженіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ училищной жизни онъ постоянно былъ авдиторомъ, часто терпѣлъ наказанія за преувеличиваніе балловъ, и только разъ увлекся взяткой. По-

стоянный его протестъ въ защиту заколоченныхъ личностей выразился въ томъ обстоятельствѣ, что онъ особенно любилъ дураковъ. Такъ безъ него совершенно погибъ бы *Петры Тетеры*, упоминаемый нами въ прошломъ очеркѣ. Тетеры, обладавшій воловьею силою, по характеру былъ чистѣйшій теленокъ. Всѣ его колотили, плевали на него, обижали его. Карась въ продолженіе полугода защищалъ его и успѣлъ-таки поставить своего Тетеры на ноги, даже до того, что самъ однажды получилъ отъ него трепку. Карась, не будучи самъ дуракомъ, любилъ глупцовъ, проводилъ съ ними цѣлые часы, бесѣдовалъ съ ними, игралъ, дѣлился добромъ своимъ, помогалъ имъ. Въ этомъ, по видимому, странномъ явленіи выразился-таки своего рода протестъ противъ нѣкоторыхъ сторонъ бурсацкой жизни. Карась былъ привязанъ къ своему родному дому, но большинство умныхъ бурсаковъ, къ которымъ онъ обратился бы со своими интимностями, непремѣнно сдѣлало бы ему смазь, потому что интимности на языкѣ бурсаковъ носятъ названіе *телячьихъ нѣжностей*. Ни съ кѣмъ такъ не былъ откровененъ Карась, какъ съ дураками, только съ ними говорилъ о родномъ домѣ, вспоминалъ домашнюю жизнь, дѣлилъ семейныя тайны, только съ ними былъ задушевенъ не по бурсацки, а по человѣчески. Карась, по чувству ложнаго стыда и боязни насмѣшекъ, не только скрывалъ внутреннюю, самую дорогую для него жизнь, но даже напускалъ на себя цинизмъ и самъ смѣялся надъ телячьими нѣжностями, такъ что это разнорѣчіе между внѣшнимъ выраженіемъ и внутреннимъ содержаніемъ составило почти вторую натуру Карася. Но душа требовала отзыва и Карась окружилъ себя особаго рода дураками. Это родъ дураковъ честныхъ, добрыхъ,

милыхъ, задушевныхъ. Благодаря Бога, такихъ дураковъ не мало на бѣломъ свѣтѣ. Только въ семинаріи Карась вступилъ въ дружбу съ умными людьми. Но неужели, спросятъ, въ бурсѣ Карась не нашелъ ни одного человѣка умнаго, съ которымъ могъ бы поговорить по душѣ? Какъ не найдти, но на первыхъ порахъ онъ не сошелся съ ними, а потомъ такъ и пошло на долгое время.

Но всего оригинальнѣе относился Карась къ бурсацкой наукѣ. Поступивъ въ училище, Карась зналъ болѣе половины того, что требовала программа его класса. Учиться ему было легко. Надъ чѣмъ товарищи просиживали по цѣлому занятію, онъ приготовлялъ въ полчаса. Но это самое и повредило впослѣдствіи его бурсацкой карьерѣ. У него было очень много свободнаго времени, и Карась, учась такимъ образомъ два года, привыкъ гулять и ничего не дѣлать. Когда перешолъ онъ въ слѣдующій классъ, отъ него потребовались болѣе усиленныя занятія и притомъ занятія бурсацкія, требующія особыхъ туземно-спеціальныхъ способностей, которыя и развили въ себѣ товарищи въ продолженіи двухъ лѣтъ, пущенныхъ Карасемъ на вѣтеръ: Карасю хотѣлось и тогда гулять по старому. *Долбежники* скоро обогнали его, онъ спускался все ниже и ниже, и дѣло дошло до того, что нотата была осквернена карасинымъ нулемъ. Стали его сѣчь. «Чтожъ,» думалъ Карась: «посѣчете, да и бросите: самимъ надоѣстъ!» — Онъ неудержимо стремился въ камчатку, и, несмотря на розги, достигъ своей цѣли. Здѣсь лѣнь его развилась до послѣднихъ предѣловъ. Въ первый годъ онъ, по крайней мѣрѣ, носилъ въ классъ книги, но на другой бросилъ и этотъ, по его мнѣнію, дурной обычай. Въ

сундукѣ его безобразно были перемѣшаны между собою клочья порванныхъ вдоль и поперегъ разныхъ грамматикъ, ариѳметикъ и хрестоматій; писчая бумага шла на безпутное маранье, перья на свистульки и пушки, заряженныя картофелемъ, рѣпою и жеванною бумагою, ножъ перочинный для порчи столовъ и строганья палокъ. Въ началѣ Карась приходилъ къ своему авдитору каждое утро, чтобы сообщить ему свой ученый нуль, но потомъ, для сокращенія занятій, онъ объявлялъ ему нуль на цѣлую недѣлю; но, наконецъ, ему надоѣло и это, — онъ однажды сказалъ авдитору: «*на вѣки мнѣ нуль*!» Изрѣдка являлось въ немъ какое-то темное сознаніе необходимости учиться, онъ брался за книжку, но книжка валилась изъ рукъ. Въ одно время двоюродный братъ Карася, кончившій курсъ семинаристъ, сталъ требовать къ себѣ нотату и слѣдить за его ученіемъ; но Карась нашолся и тутъ: онъ сдѣлалъ другую нотату, свою, и этотъ документъ, съ отличными отмѣтками противъ своей фамиліи, отсылалъ къ брату, за что и получалъ отъ него гостинцы. Сначала онъ лѣнился собственно потому, что было ему пріятно лѣниться, но послѣ дошло до того, что его «*на вѣки нуль*» было возведено въ сознательный принципъ. Учитель Красновъ, обративъ на него вниманіе, заставилъ его сидѣть надъ книгой и въ неучебное время, въ своей квартирѣ; противъ системы Краснова не устоялъ Карась и сталъ зубрить учебники, но когда его насильно заставили занять второе мѣсто въ спискѣ, тогда-то и созрѣлъ окончательно его бурсацкій «*на вѣки нуль*!» Онъ возненавидѣлъ вколоченную науку, и она помѣстилась въ его головѣ, какъ непрошенный гость, значитъ, въ сущности дѣла, онъ продолжалъ отрицать ее—разница въ томъ,

что прежде онъ не понималъ, что такое отрицалъ, а теперь, выучивъ урокъ, зналъ, что вотъ именно этотъ урокъ, эти слова ему не нужны. Тогда онъ сталъ слѣдить и изучать каждый урокъ, какъ злѣйшаго своего врага, который безъ его воли владѣлъ его мозгами, и постепенно, съ каждымъ днемъ открывалъ въ иныхъ учебникахъ множество чепухи и безобразія; это развивало въ немъ анализъ и критицизмъ, и впослѣдствіи, отвѣчая бойко урокъ, онъ въ то же время думалъ про себя: «какую я дичь несу».

Вотъ вамъ болѣе или менѣе подробная характеристика того, что создала изъ Карася бурса. Отношенія его къ начальству выразились во всегдашней потупленности, которая была признакомъ совѣстливости, рождавшейся отъ сознанія своей непріязни къ нему; отношенія къ наукѣ оказались вѣчнымъ нулемъ; среди товарищей, исключая послѣднихъ трехъ семинарскихъ лѣтъ, онъ не нашелъ отзыва той сторонѣ жизни, которая была всего дороже для него, составляла главный мотивъ всего его бурсацкаго существа, т. е. отзыва своей привязанности къ дому, и одни лишь дураки были его задушевными пріятелями.

Этотъ-то мотивъ и былъ главнымъ двигателемъ тѣхъ похожденій и дѣйствій Карася, которыя мы хотимъ изложить далѣе, и которыя случились на четвертомъ году его пребыванія въ бурсѣ.

Воздухъ первоуѣзднаго класса наполняется странными напѣвами и голосами.

— *Братіе, не деритe платія, а беритe нитки и зашивайте дырки*, читаетъ кто-то на манеръ чтенія «апостола».

— Не мѣшай, говоритъ ему сосѣди...

— Замолчишь ли ты, сволочь?

— *Печали и болѣзни вонъ полѣзли.*

— Слушай, скотина, перестань!..

— Братцы, ударьте его хорошенько!

Вдругъ чтецъ замычалъ: — ему сдѣлали очень невкусную смазь. Въ классѣ сегодня *обиходъ церковнаго пѣнія*, и чтецъ былъ наказанъ за то, что мѣшалъ другимъ пѣть.

— Я, говоритъ *Лапша Голопузу* (оба отличные знатоки обихода): — *шарахну по нотамъ.*

— А я, отвѣчалъ тотъ: — *дерану по тексту.*

— Валяй!

— Лупи!

— *Ми ре-ми-фа-соль фа-ми-ре*, запѣваетъ Лапша.

— *Все-е-мі-і-рну-у-ю*, аккомпанируетъ Голопузъ каждымъ слогомъ въ каждую ноту Лапши.

Шарахнуть по нотамъ, когда другой пѣвецъ въ то же время дерганетъ по тексту, и при этомъ не сбиться— составляло вѣнецъ церковно-обиходнаго пѣнія.

Къ пѣвцамъ подходитъ четырнадцалѣтній Карась. Лицо его озабочено; онъ, по всему видно, ожидаетъ учителя съ тоской и страхомъ.

— Братцы, началъ онъ...

— Поди прочь, не мѣшай, отвѣтилъ Голопузъ.

Но Лапша былъ добрѣе:

— Чего тебѣ? спросилъ онъ...

— Не знаю, какъ «*Господи возвахъ*» на седьмой гласъ! Покажи, Лапша.

— Слушай! — и Лапша запѣлъ...

Въ обиходѣ церковнаго пѣнія, употребляется *8 гласовъ* или напѣвовъ на текстъ «Господи, воззвахъ»; слова однѣ и тѣ же, а напѣвы разные. Это сильно затруд-

няло бурсаковъ. Аборигены еще бурсы и придумали разныя присловья, по образцу которыхъ не трудно было припомнить, какъ поется тотъ или другой гласъ... Но Карась не былъ одаренъ музыкальнымъ ухомъ, за что давнымъ давно его выгнали изъ семинарскаго хора. Черезъ нѣсколько минутъ онъ перепуталъ напѣвы... Посмотрѣлъ Карась на Лапшу и Голопуза, думая, не пойдти ли опять къ нимъ, но, махнувъ рукою, оставилъ это намѣреніе. «Все равно, не пойму», заключилъ онъ и печально опустилъ на ладони голову.

Горекъ пришолся ему обиходъ церковнаго пѣнія.

Учителемъ обихода поступилъ нѣкто Всеволодъ Васильевичъ Разумниковъ. Онъ одинъ преподавалъ обиходъ въ нѣсколькихъ классахъ. Разумниковъ обладалъ хорошимъ баритономъ, отлично зналъ ноту и порядочно игралъ на скрипкѣ.

О Разумниковѣ мы должны сказать нѣсколько словъ, потому что онъ былъ однимъ изъ лучшихъ педагоговъ бурсы. Мы упоминали о немъ въ первомъ очеркѣ, какъ о честномъ экономѣ училища. Онъ учредилъ должность *коммиссара*, выбраннаго изъ старшихъ учениковъ, обязанностью котораго было наблюдать за количествомъ и качествомъ пищи. Прежде, служителя, въ завѣдываніи которыхъ находились жизненные продукты, имѣя каждый по нѣскольку родственниковъ, содержали ихъ на счетъ бурсацкаго питанія; но лишь только коммиссаръ вступилъ въ свои права, онъ тотчасъ уличилъ повара въ кражѣ тридцати фунтовъ мяса и двухъ мѣшковъ гречневой крупы, за что поваръ былъ изгнанъ изъ училища. По крайней мѣрѣ третья часть продуктовъ, прежде похищаемая служителями, была возвращена ученикамъ.

Кромѣ того, Разумниковъ никого и никогда не на-

казывалъ лишеніемъ обѣда и ужина, какъ будто боялся подозрѣнія, что онъ, изъ экономическихъ *) разсчетовъ, заставляетъ голодать провинившихся. Онъ всегда стоялъ противъ педагогическаго изреченія: satur venter non studet libenter. Ученики за это любили его.

Онъ, кромѣ того, преподавалъ «Законъ Божій» и «Священную исторію». И здѣсь онъ пошолъ далѣе своихъ сотрудниковъ. Онъ запретилъ носить въ классъ учебники и отвѣчать по нимъ. Разсказавъ ясно и толково урокъ, онъ тутъ же въ классѣ заставлялъ повторять его со своихъ словъ. Когда ученикъ не могъ отвѣтить, онъ заставлялъ другого растолковывать незнающему; если и этотъ оказывался плохъ, онъ поднималъ третьяго, четвертаго, и т. д. Урокъ учился сразу всѣми учениками и оживлялся спорами. Но и послѣ этого многіе плоховато знали урокъ, особенно слабые, а Разумниковъ хотѣлъ, чтобы у него всѣ безъ исключенія учились хорошо. Для достиженія такой цѣли, онъ постановилъ: «*авдиторы отвѣчаютъ за незнаніе своихъ подъавдиторныхъ*». Авдиторы выбирались изъ лучшихъ учениковъ, успѣвали хорошо выслушать урокъ во время, и потому они были обязаны учить своихъ подъавдиторныхъ, въ приготовительные занятные часы. Для устраненія случаевъ, когда ученикъ, по интригѣ съ

*) Провинившихся въ училищѣ иногда бывало до ста человѣкъ сразу. Лишить такое количество, пятую часть всѣхъ учениковъ, обѣда либо ужина, очевидно, было выгодно въ экономическомъ отношеніи. Почти всѣ экономы брали это во вниманіе и старались распространить наказаніе голодомъ. И дѣйствительно, наказаніе голодомъ было не маловажнымъ источникомъ такъ называемыхъ остаточныхъ суммъ. Скоро ли педагоги убѣдятся, что голодный ученикъ такъ же дикъ и негоденъ для науки, какъ и объѣвшійся, не знаемъ. Только навѣрно можемъ сказать, что эту простую истину позже всѣхъ поймутъ экономы учебныхъ заведеній.

авдиторомъ, явился бы въ классѣ съ нулемъ, ссылаясь на то, что авдиторъ не хотѣлъ ему помочь, требовалось на то подтвержденіе со стороны товарищества, иначе незнающій подвергался сугубому наказанію, а авдиторъ былъ правъ. Такіе пріемы для бурсы были слишкомъ прогрессивны. Лѣнтяи были уничтожаемы Разумниковымъ. Но главное достоинство его нововведеній состояло въ томъ, что съ нимъ сама собою падала власть авдиторовъ и второкурсныхъ, они изъ притѣснителей должны были превратиться въ помощниковъ своихъ подчиненныхъ, изъ начальниковъ въ ихъ братьевъ. Такимъ образомъ Разумниковъ положилъ начало къ уничтоженію власти товарища надъ товарищемъ. Онъ не уничтожилъ наказаній, и даже былъ очень строгъ, но все-таки явленіе такого учителя въ бурсѣ было рѣдкостью въ описываемое нами время.

Одно лишь лежитъ на совѣсти Разумникова — это обиходъ. Положимъ, что косноязычныхъ и безголосыхъ онъ оставилъ въ покоѣ, но держался вреднаго убѣжденія, что всякій, имѣющій какой-нибудь голосъ, при стараніи, непремѣнно постигнетъ нотное искусство. Горше всѣхъ пришлось отъ него Карасю, тѣмъ болѣе, что у Разумникова была система наказаній особаго рода: онъ наблюдалъ, на кого какое наказаніе дѣйствуетъ сильнѣе. Онъ понялъ, что для Карася всего хуже неувольненіе въ родительскій домъ. Не смотря на то, что Карась доказывалъ учителю свою бездарность изгнаніемъ его изъ пѣвческаго хора, онъ ничего слушать не хотѣлъ.

Вошелъ учитель обихода въ классъ и, вмѣстѣ съ учениками, пропѣлъ звучнымъ голосомъ «Царю небесный», послѣ чего прямо обратился къ Карасю:

— Пропой на седьмой гласъ...

Уши рѣжаретъ Кась.

Учитель говоритъ Лапшѣ:

— Покажи ему.

Лапша заливается.

— Повтори, говоритъ Карасю.

Уши рѣжетъ Карась.

— И нынѣшній праздникъ не ходи въ городъ...

— Всеволодъ Васильевичъ, я уже три недѣли не былъ дома...

— И четвертую не ходи...

— Простите...

— А я вотъ что тебѣ скажу, отвѣчалъ твердымъ, безъаппелляціоннымъ голосомъ учитель: — если ты не выучишься пѣть, я тебя на всю Пасху не отпущу...

Учитель отошелъ отъ него.

Карась поблѣднѣлъ и затрясся всѣмъ тѣломъ. Несчастный Карась! Замѣчательно широкая глотка, которою онъ былъ награжденъ отъ природы, служила вѣчнымъ источникомъ его несчастій. Еще дома ему досталось, когда онъ закричалъ на поповну, дразнившую его, такъ яростно, что его голосъ былъ слышенъ за рѣкой. Въ бурсѣ его нарекли Карасемъ въ тотъ моментъ, когда онъ, по приказу регента, пустилъ нотку, которая надорвала животы слушателямъ. Въ послѣдствіи, въ семинаріи, голосъ его развился до необъятнаго горлобасія, его выбрали опять въ хоръ, и регентъ, по прозванію *Капелла* (онъ же *Редакція*, *Конструкція* и *Мелочная лавочка*), употреблялъ его, какъ стѣнобитную машину, какъ хоровой таранъ: подойдетъ крѣпкая нота, мигнетъ регентъ — и рявкнетъ Карась, а при тихихъ нотахъ ему велятъ молчать,—это оскорбляло Карася. Однажды Карась упражнялъ свой голосъ въ комнатѣ по сосѣдству съ семинарскимъ экономомъ, онъ

едва не оглушилъ его громовыми нотами, за что экономъ, схвативъ Карася за шиворотъ, потащилъ къ ректору и только по добротѣ своей помиловалъ его. Инспекторъ ненавидѣлъ его, говоря, что человѣкъ, обладающій рыканіемъ льва, долженъ имѣть характеръ звѣрскій: должно быть, судилъ по себѣ, ибо, обладая семипушечнымъ басомъ, несравненно сильнѣйшимъ карасинскаго, по натурѣ былъ настоящій звѣрь, за что и получилъ прозвище не рыбье, какъ Карась, а звѣриное, ибо имя его *Медвѣдь*. Даже по окончаніи курса, Карась, хвативши однажды чарочку, другую, и вышедши на улицу, пустилъ такую руладу, что городовой долженъ былъ внушить ему, что подобныя рулады суть не что иное, какъ нарушеніе общественной тишины и порядка. Одно изъ сильныхъ несчастій, причиною которыхъ былъ голосъ, посѣтило его теперь. «Съ такимъ альтомъ», думалъ Разумниковъ: «не возможно не научиться пѣть». Неувольненіе на Пасху для Карася было глубокимъ несчастіемъ, которое подвигло его на многія скандальныя похожденія.....

Онъ отъ словъ Разумникова тихо плакалъ.

Кому горе, а кому радость. День поступленія Разумникова въ училище былъ днемъ торжества и счастія нѣкоего Лапши... Лапша былъ чудакъ, парень шальной и благой. Широкоехидное, сѣраго цвѣта, лицо, голова, почти вросшая въ плечи, выдавшаяся впередъ неестественно грудь и остальная часть туловища, помѣщенная на короткихъ ногахъ, — дѣлали фигуру его въ высшей степени странною, попеременно то жалкою, то уморительною. Лицо его освѣщалось какимъ-то не-

разгаданнымъ, постоянно мѣняющимся, внутреннимъ свѣтомъ: оно серьезно, даже угрюмо, но вдругъ Лапша безъ всякой причины покраснѣетъ, а потомъ раскатится смѣхомъ, и все это совершается въ немъ быстро и неуловимо. Онъ при всемъ этомъ не былъ дуракомъ. Въ лицѣ его вы видите образчикъ бурсацкой застѣнчивости, которая особенно развилась отъ его несчастнаго безобразія. Не будь этой застѣнчивости, онъ, быть можетъ, и не сидѣлъ бы въ камчаткѣ.... Таковъ былъ Лапша. Но онъ дѣлался совершенно инымъ человѣкомъ, когда пѣлъ что нибудь: значитъ, талантъ. Голосокъ онъ имѣлъ довольно пріятный и владѣлъ тонко развитымъ слухомъ. Всегдашней, самой задушевной мечтой его было имѣть свою скрипку и выучиться играть на ней, но мечта такъ и осталась мечтой: теперь онъ гдѣ-то пастухомъ монастырскихъ коровъ и, говорятъ, отлично играетъ на рожкѣ...

Подходитъ къ Лапшѣ Карась.

— Что тебѣ? говоритъ Лапша, ежась, двигая плечами и выпячивая свое странное лицо.

— Поучи меня обиходу.

Лапшу медомъ не корми, а только дай въ руку обиходъ.

— Пойдемъ. Сначала надо ноты выучить.

Отправились они въ камчатку и затянули «утъ, ре, ми, фа» и т. д.

— Не такъ: надо тономъ выше!

Карась усиливается тономъ выше.

— Черезчуръ высоко, теперь ниже надо!

Карась на новый манеръ.

Долго они упражнялись въ церковногласіи. Вспотѣли оба.

Но вотъ Лапша съежился, перегнулся, вытянулся,

сдѣлалъ сначала тоскливую рожу, а потомъ вдругъ поднесъ къ носу Карася кукишъ...

— Это что?

— Кукишъ!

Лапша послѣ этого захохоталъ.

— Да что съ тобой?

— Не буду учить...

— Голубчикъ!... Лапша!...

— Не поймешь ничего...

Лапша убѣжалъ...

Остервенѣніе напало на Карася. Онъ грызъ свои ногти и, мигая глазами, усиливался удержать злую, соленую слезу, которая ползла на щеку.

— Когда такъ, къ чорту все!

Онъ ударилъ объ полъ обиходомъ...

— Проклятое училище! проговорилъ онъ...

Карась началъ вести себя неприлично. Если бы не проклятое наказаніе, Карась, отъ среды до воскресенья, провелъ бы время, мирно почивая на лаврахъ, но теперь онъ былъ раздраженъ и жизнь его пошла ломанымъ путемъ.

Подходитъ къ нему одинъ изъ его любимыхъ дураковъ, бѣдная Катька.

— Нѣтъ ли у тебя хлѣбца?

— Этого не хочешь ли?

Карась предлагаетъ голодному Катькѣ туго натянутую фигу. Катька отходитъ отъ него печально...

Карась идетъ развлечься на улищный дворъ.

— Карасики, пучеглазики? говоритъ ему Тальянецъ, второкурсный мужланъ старшаго класса, ученикъ съ вывороченными ногами.

— Кривы ножки, кочережки! отвѣчаетъ Карась...

Тальянецъ начинаетъ его преслѣдовать.

— На кривыхъ ногахъ пять верстъ дальше! отвѣчаетъ Карась, пускаетъ въ него комомъ грязи и удаляется опять въ классъ.

Подходитъ къ нему другой дуракъ, *Зябуня*.

— Карасикъ, говоритъ онъ ласково.

— Ты что, животное безмозглое?

— Карасикъ...

— Поди прочь, пустая башка!

Пустая башка тоже отходитъ отъ него печально...

Карась сталъ несговорчивъ и несправедливъ. Онъ чувствуетъ это, и его начинаетъ мучить совѣсть.

— Чортъ знаетъ, какая тоска, объясняетъ онъ приступы совѣсти...

Идетъ Карась къ второуѣздному классу, берется за ручку двери и начинаетъ стучать ею: ученики низшихъ классовъ, не имѣвшіе права входить въ высшій, такъ вызывали второуѣздныхъ. Выходитъ ученикъ.

— Кого тебѣ?

— Тавлю.

— Сейчасъ.

Вышелъ Тавля.

— Что тебѣ?

— Дай въ долгъ.

— Сколько?

— Пять копѣекъ.

— Въ воскресенье семь.

— Нѣтъ, ужь послѣ воскресенья, въ другое. Я не уволенъ. Откуда жъ мнѣ взять?

— Тогда десять.

Карась задумался на минуту.

— Давай, сказалъ онъ, махнувъ рукою...

Тавля отсчиталъ ему пять копѣекъ...

Карась отправился въ сбитенную, съѣлъ тамъ на

три копѣйки сухарей, а на двѣ выпилъ сбитню. И угощеніе не успокоило его. Оно напомнило ему только домашній чай и кофе. Затосковалъ Карась.

— Боже мой, проговорилъ онъ: — неужели не отпустятъ меня на Пасху? Пойду, попрошу еще Лапшу: не поучитъ ли? А нѣтъ! чортъ съ ними!... не выучиться мнѣ!...

Послѣ того Карась изъ пустяковъ какихъ-то полѣзъ въ драку, и хотя пустилъ въ дѣло зубы, когти и ноги, какъ обыкновенно, однако его все-таки поколотили . .

. . . . . .

Для Карася не было наказанія тяжелѣе, какъ неотпускъ домой. И вотъ еще порядочный бурсацкій учитель, Разумниковъ, не понималъ же, что такое наказаніе гнусно, незаконно и вредно. Не понимаютъ педагоги и понимать не хотятъ, что они, когда запрещаютъ человѣку, въ видѣ наказанія, переступать порогъ отцовскаго дома, то этимъ самымъ вгоняютъ его въ скуку, тоску и апатію, подвигаютъ на скандалы разнаго рода, поселяютъ къ уроку или нравственному правилу, за которые штрафуютъ и шельмуютъ, полное отвращеніе, лицемѣрное исполненіе и страсть къ запрещенному поступку. Неужели такіе плоды въ видахъ здравой педагогики? Кромѣ того, чѣмъ виноваты отецъ и мать, когда они во время праздника, по приговору педагоговъ, не видятъ въ своей семьѣ сына, часто любимаго, часто единственнаго сына? за что братья и сестры лишаются свиданія съ своимъ братомъ? за что ихъ-то наказываютъ педагоги? Воскресный день во многихъ семействахъ одинъ только и есть свободный день въ недѣлѣ — къ чему же онъ туманится печалью по сынѣ или братѣ? Портить чужой праздникъ никто не имѣетъ права, это дѣло нечестное, дѣло несправед-

ливое. И неужели отецъ и мать, если они любятъ своего сына, меньшее могутъ имѣть на него вліяніе, нежели чорствый педагогъ? Многіе педагоги скажутъ на это: «да». Былъ же, напримѣръ, болванъ, котораго мы назвали Медвѣдемъ, семинарскій инспекторъ, который привязанность къ родному дому ставилъ ученику въ преступленіе, на томъ основаніи, что желающій быть дома не желаетъ быть въ школѣ, значитъ, ненавидитъ науку и нравственность, проводимыя въ ней. Диво, что такіе педагоги не наказывали дѣтей за любовь къ родителямъ?

Но такихъ педагоговъ скорѣе прошибешь коломъ, нежели добрымъ словомъ. Богъ съ ними. Лучше посмотримъ, что сталось съ Карасемъ, когда онъ страдалъ отъ мысли, что его не отпустятъ домой на цѣлую Пасху . . . . . .

Учителемъ ариѳметики того класса, гдѣ былъ Карась, былъ нѣкто Павелъ Алексѣичъ Ливановъ; собственно говоря, не одинъ Ливановъ, а два, или, если угодно, одинъ, но въ двухъ видахъ — Ливановъ пьяный и Ливановъ трезвый.

Третья *перемѣна*, которая была послѣ обѣда, назначалась для ариѳметики... Стоятъ при входѣ въ классъ *караульные*, ожидающіе Ливанова. Ливановъ входитъ въ ворота училища...

— Каковъ? спрашиваетъ одинъ караульный...

— Руками махаетъ, значитъ, того...

— Это еще ничего не значитъ...

— Да ты не видишь, что онъ у привратника проситъ понюхать табаку?

Караульные бѣгутъ въ классъ и съ восторгомъ возвѣщаютъ:

— Братцы, Ливановъ въ пьяномъ естествѣ!..

Классъ оживляется, книги прячутся въ парты. Хохотъ и шумъ. Одинъ изъ великовозрастныхъ, *Пушка*, надѣваетъ на себя шубу, овчиной вверхъ... Онъ становится у дверей, чрезъ которыя долженъ проходить Ливановъ... Входитъ Ливановъ. На него бросается Пушка.

— Господи, твоя воля! говоритъ Ливановъ, отступая назадъ и крестясь...

Пушка кубаремъ катится подъ парту.

— Мы разберемъ это, говоритъ Ливановъ, и идетъ къ столику.

— Господа, начинаетъ Ливановъ нетвердымъ голосомъ...

— Мы не господа, вовсе не господа, кричатъ ему въ отвѣтъ.

Ливановъ подумалъ нѣсколько времени и, собравшись съ мыслями, начинаетъ иначе:

— Братцы...

— Мы не братцы!

Ливановъ приходитъ въ удивленіе...

— Что? спрашиваетъ онъ строго...

— Мы не господа и не братцы...

— Такъ... это такъ... Я подумаю...

— Скорѣе думайте...

— Ученики, говоритъ Ливановъ...

— Мы не ученики...

— Что? какъ не ученики? кто же вы? а! знаю, кто.

— Кто, Павелъ Алексѣичъ, кто?

— Кто? а вотъ кто: вы—свинтусы!..

Эта сцена сопровождается постояннымъ смѣхомъ бурсаковъ, Ливановъ начинаетъ хмѣлѣть все больше и больше...

— Милыя дѣти, начинаетъ Ливановъ...

— Ха, ха, ха! раздается въ классѣ...

— Милыя дѣти, продолжалъ Ливановъ:—я... я женюсь... да... у меня есть невѣста...

— Кто, кто такая?..

— Ахъ, вы поросята!.. Ишь чего захотѣли: скажи имъ, кто? Эва, не хотите ли чего?

Ливановъ показываетъ имъ фигу...

— Самъ съѣшь!

— Нѣтъ, вы съѣшьте! отвѣчалъ онъ свердито.

Въ нѣсколькихъ партахъ показали ему довольно ядреныя фиги. Увлекшись ихъ примѣромъ, одинъ за другимъ, ученики показывали фиги. Болѣе ста бурсацкихъ фигъ было направлено на него...

— Черти!.. цыцъ!.. руки по швамъ!.. слушаться начальства!..

— Ребята, *нось* ему! скомандовалъ *Бодяга* и, подставивъ къ своему носу большой палецъ одной руки, зацѣпивъ за мизинецъ этой руки большой палецъ другой, онъ показалъ эту штуку своему учителю... Примѣру Бодяги послѣдовали его товарищи.

Учителя это сначала поразило, потомъ привело въ раздумье, а, наконецъ, онъ печально поникъ головою. Долго онъ сидѣлъ, такъ долго, что ученики бросили показывать ему фиги и выставлять носы...

— Друзья, заговорилъ учитель, очнувшись...

Господа, братцы, ученики, свинтусы, милыя дѣти, поросята, черти и друзья захохотали...

— Послушайте же меня, добрые люди, говорилъ Ливановъ, совсѣмъ хмѣлѣя...

Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны...

— Слушайте, слушайте!... тише!.. заговорили ученики.

Въ классѣ стихло...

— Я, братцы, несчастливъ... Я женюсь... нѣтъ, не то: у меня есть невѣста... опять не то: мнѣ отказали... Мнѣ не отказали... Нѣтъ, отказали... О, черти!.. о псы!.. Не смѣяться же!

Ученики, разумѣется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо Ливанова... Онъ заплакалъ...

— Голубчики, началъ онъ, за меня никто не пойдетъ замужъ, никто не пойдетъ...

Рыдать началъ Ливановъ.

— У меня рожа скверная, говорилъ онъ: — пакостная рожа. Этакія рожи на улицу выбрасываютъ. Плюньте на меня, братцы: я гадокъ, братцы...

— Гадокъ, гадокъ, гадокъ! подхватили бурсаки...

— Да, отвѣчалъ ихъ учитель: да, да, да... Плюньте на меня... плюньте мнѣ въ рожу.

Ученики начинаютъ плевать по направленію къ нему.

— Такъ и надо... Спасибо, братцы, говоритъ Ливановъ, а самъ рыдаетъ...

У Ливанова была не рожа, а лицо, и притомъ довольно красивое, ему и не думала отказывать невѣста, къ которой онъ началъ было свататься, напротивъ, онъ самъ отказался отъ нея.

Съ пьяна Ливановъ напустилъ на себя небывалое съ нимъ горе. Со стороны посмотрѣть на него, такъ стало бы жалко, но бурсаки не упустили случая потравить его.

— Братцы, продолжалъ онъ: — я отхожу на покой вѣчный... Я вселюсь...

— Смазь ему, ребята! крикнулъ Пушка.

— Что такое? спросилъ Ливановъ...

— Смазь...

— Что суть сказь?

— А вотъ я сейчасъ покажу тебѣ, отвѣчалъ Пушка, вставая съ мѣста...

— Не надо!.. самъ знаю... Сиди, скотина... Убью!.. Ахъ, вы канальи!.. Надъ учителемъ смѣяться!.. а?.. говорилъ Ливановъ, приходя въ себя... Да я васъ передеру всѣхъ... Розогъ!... крикнулъ онъ, совсѣмъ оправившись...

Въ классѣ стихло...

— Розогъ!

— Сейчасъ принесу, отвѣчалъ *секундаторъ*.

— Живо!.. Я вамъ дамъ, мерзавцы!..

Хмѣль точно прошолъ въ Ливановѣ. «Что за чортъ», думали бурсаки, «неужели въ другое естество перешолъ?» Но это была минутная реакція опьяненнаго состоянія, послѣ котораго съ большею силою продолжаетъ дѣйствовать водка, и когда вернулся въ классъ сѣкундаторъ, то онъ увидѣлъ Ливанова совершенно осоловѣвшимъ. Ливановъ, стиснувъ зубы и поставивъ на столъ кулакъ, смотрѣлъ на учениковъ безумными глазами...

— Розогъ, сказалъ онъ однако, не забывая своего желанія...

— Что, Павелъ Алексѣичъ? отвѣчалъ сѣкундаторъ, смѣкнувъ, какъ надо вести себя...

— Розогъ...

— Всѣ люди происходятъ отъ Адама... говорилъ ему сѣкундаторъ...

— Такъ, отвѣчалъ Ливановъ, опять забываясь:— а роз...

— Добро зѣло, то есть чисто, прекрасно и безвредно...

— Не понимаю, говорилъ Ливановъ, уставясь на сѣкундатора.

— Я родился въ пятьдесятъ одиннадцатомъ году, не доходя минувши казанскій соборъ.

— Ей-Богу, не понимаю, говорилъ Ливановъ убѣдительно...

— Какъ же не понять-то? Вѣдь это написано...

— Гдѣ?

— Подъ девятой сваей...

— Опять не понимаю...

— Очень просто: отъ того-то и выходитъ, что числитель, будучи помноженъ на знаменатель, производитъ смертный грѣхъ...

— Ты говоришь: грѣхъ?

— Смертный грѣхъ...

— Ничего не понимаю... — Ты это серьезно говоришь? спросилъ онъ.

— Вотъ тебѣ крестъ.

Ученикъ перекрестился.

— Ты мнѣ сказалъ «тебѣ»?

— Я, тебѣ, мнѣ, мною, обо всѣхъ...

— Уйди!.. убью! отвѣчалъ озлившись Ливановъ: — прошу тебя, уйди!... Я въ пьяномъ видѣ не ручаюсь за себя...

— Онъ ушелъ, говоритъ ученикъ...

— Онъ?... что мнѣ за дѣло до него?... ты-то уйди!... Чортъ же съ тобой, скотина, говоритъ опьянѣвшій педагогъ, стуча по столу кулакомъ... — Не хочешь уйдти!.. Такъ я же уйду... Я пьянъ... Я уйду...

Учитель послѣ этихъ словъ неожиданно встаетъ со стула и направляется къ двери. Его провожаютъ хохотомъ, крикомъ, визгомъ и лаемъ...

— Это все пустяки, говоритъ онъ: — въ жизни все пустяки, и выходитъ на лѣстницу...

Лишь только онъ ступилъ на первую ступеньку, тотъ же сѣкундаторъ, послѣдовавшій за нимъ, схватилъ его за ногу. Пьяный педагогъ полетѣлъ съ лѣстницы внизъ головою. Счастье его, что онъ не переломалъ себѣ реберъ.

— Оступился, чортъ возьми, говорилъ перепачканный учитель, вставая на площадкѣ, у которой кончалась лѣстница...

Подлѣ него уже очутился сѣкундаторъ, дернувшій его за ногу...

— Вы, кажется, замарались? спрашиваетъ онъ.— Позвольте, я васъ почищу.

— Не надо, другъ мой, вовсе не надо... Все пустяки...

Учитель, наконецъ, ушелъ домой.

Вотъ каковъ былъ Павелъ Алексѣичъ Ливановъ въ пьяномъ видѣ. . . . . .

. . . . . .

Описанная нами сцена была въ четвергъ. Въ субботу Ливановъ явился трезвымъ. Ученики держали себя, какъ и Ливановъ, иначе, — прилично, разумѣется, прилично по бурсацки. Съ Ливановымъ, когда видъ его перемѣнялся, изъ пьянаго переходилъ въ трезвый, шутить было опасно. Вообще, Ливановъ былъ не дурной человѣкъ, хотя, какъ учитель, не выдавался изъ среды своихъ товарищей; но, по крайней мѣрѣ, онъ не запарывалъ своихъ учениковъ до отшибленія затылка... Лобовъ, Долбежинъ и Батька были представителями террора педагогическаго, Красновъ и Разумниковъ—представителями прогрессивнаго бурсацизма, а Ливановъ былъ какая-то помѣсь тѣхъ

и другихъ: иногда строгъ до лобническихъ размѣровъ, иногда добръ безтолково. Во всякомъ случаѣ не любили шутить съ Ливановымъ, когда онъ былъ въ трезвомъ естествѣ...

Карась не выходилъ на сцену, когда былъ пьянъ Ливановъ, но сегодня, когда шутки съ Ливановымъ были опасны, онъ рѣшился на скандалы...

Хотя Карась сидѣлъ въ камчаткѣ и заявилъ своему авдитору «нуль на вѣки», но онъ былъ все-таки довольно любознательная рыба. Вышелъ такой случай. Однажды, отъ нечего дѣлать, Карась рвалъ ариѳметику Куминскаго; онъ въ этомъ занятіи прошелъ уже до дѣленія. Тутъ его злодѣянія вдругъ прекратились. «Дѣленіе»! подумалъ онъ. — А вѣдь я знаю дѣленіе... А дальше что?.. Именованныя числа... Это что за штука?.. Сначала узнаю, а потомъ раздеру».. Остановившись на этой мысли, онъ сталъ читать Куминскаго и, безъ постороннихъ пособій, понялъ именованныя числа.—«Дальше дроби— это что такое?» сказалъ онъ. Понялъ онъ и дроби... Все это было пройдено имъ въ три пріема. Значитъ, когда захочетъ человѣкъ учиться, то можно обойдтись и безъ розги. — «Дальше что? десятичныя дроби... Не хочу читать... Довольно».—Послѣ этого онъ Куминскаго обратилъ въ клочья. Задано было о «приведеніи дробей къ одинакому знаменателю», и хоть у Карася стоялъ въ нотатѣ нуль, однако онъ зналъ урокъ, приготовивъ его, безъ всякаго поощренія и принужденія, гораздо ранѣе, чѣмъ требовалось...

Учитель вызвалъ къ доскѣ *Сѣкиру*. Сѣкира, несмотря на то, что былъ авдиторъ, путался...

— Дуракъ, сказалъ ему Ливановъ...

— Дуракъ и есть, подтвердилъ Карась изъ камчатки...

— Кто это говоритъ? разсердившись, спросилъ Ливановъ... Ему дерзкимъ показался отзывъ Карася...

— Я, отвѣтилъ Карась.—Помилуйте, Павелъ Алексѣичъ, не умѣетъ привести къ одному знаменателю; ну, не дуракъ ли?

— Ахъ ты, скотина! закричалъ Ливановъ...

— Помилуйте же, Павелъ Алексѣичъ. Я сижу въ камчаткѣ; значитъ, дуракъ изъ дураковъ, а все-таки «приведеніе знаменателей» знаю!

— Если же ты не сдѣлаешь мнѣ «приведенія», я тебя запорю...

— Запорите...

— Къ доскѣ!..

Карась вышелъ и отлично отвѣтилъ урокъ...

— Ну, не правду ли я сказалъ, что дуракъ онъ? говорилъ Карась, показывая на Сѣкиру.—Даже я умѣю это сдѣлать.

Ливановъ подошелъ къ Карасю и Сѣкирѣ.

— Дай мѣлъ, сказалъ онъ Карасю...

— Извольте...

Взявши въ руки мѣлъ, Ливановъ сдѣлалъ на лицѣ Сѣкиры крупный крестъ. Дѣлая крестъ, онъ говорилъ:

— Пентюхъ, перепентюхъ, выпентюхъ!..

— Ну, дуракъ и есть, подтверждалъ Карась...

Послѣ этого, Карась отправился въ камчатку. Развлеченный на нѣсколько минутъ своимъ отвѣтомъ, онъ однако скоро началъ скучать. Пришла ему на мысль предстоявшая опасность неотпуска домой на Святую. Злость на него нашла, которую онъ и вымѣстилъ на грифельной доскѣ, попавшей ему подъ руки. Снявъ съ краевъ ея боковыя планки, онъ хотѣлъ обратить ихъ

въ щепы, но, приложивъ пальцы ко лбу, сказалъ себѣ: «подожди, дружище, тутъ выйдетъ скрипка». Изъ трехъ палокъ онъ сдѣлалъ треугольникъ, къ вершинѣ его прикрѣпилъ четвертую, въ треугольникѣ натянулъ веревочныя струны, добылъ изъ розогъ, лежавшихъ въ печкѣ, по сосѣдству его, прутъ, изъ котораго смастерилъ смычокъ, и такимъ образомъ устроилъ нѣчто въ родѣ цѣвницы... Это заняло его на время, но въ голову его опять приходитъ мысль о Пасхѣ. — «Черти», думалъ онъ: «неужели такъ-таки и не пустятъ на Пасху?.. Лучше бы пересѣкли пополамъ! Сколько хочешь сѣки, мнѣ все одно». — «Такъ ли?» рефлектируетъ онъ.—« А вотъ попробуемъ». — Карась беретъ свою цѣвницу и начинаетъ водить по ней смычкомъ, то есть розгой...

Раздается на весь классъ страшный визгъ, произведенный Карасемъ для скандала.

— Кто это? спрашиваетъ изумленный учитель.

— Я это, отвѣчаетъ храбро Карась...

Визгъ былъ до того неожиданъ и неумѣстенъ, что учитель растерялся...

— Что это значитъ?

— Ничего не значитъ.

— Скотина!..

Карась сѣлъ спокойно. Учителя поразилъ этотъ случай, и потому только онъ не отпоролъ Карася...

«Врешь», думаетъ между тѣмъ Карась: «ты меня отпорешь!» и беретъ въ свои руки цѣвницу...

Раздается еще сильнѣе визгъ...

Ливановъ на этотъ разъ вышелъ изъ себя. Онъ, озлобленный, бросается къ Карасю. Карась же становится колѣнями на ребро парты...

— Я наказанъ, говоритъ онъ при приближеніи къ нему Ливанова...

— Стой, скотина, весь классъ...

— Буду стоять.

Учитель недоумѣваетъ, что сталось съ Карасемъ. Однако мало по малу онъ успокоивается.

«Нѣтъ, ты меня отпорешь!» думаетъ Карась...

Беретъ онъ въ руки цѣвницу и, водя по ней прутикомъ, производитъ третій сильнѣйшій визгъ...

На этотъ разъ Ливановъ совершенно сбѣсился. Онъ бросился на Карася съ поднятыми кулаками...

— Убью, мерзавецъ!

Карась струсилъ, видя разъяреннаго учителя, и когда Ливановъ подбѣжалъ къ нему, онъ вскочилъ на ноги и понесся надъ головами товарищей, по партамъ, къ двери, за которою и скрылся.

Учитель долго не могъ придти въ себя.

Долго ходилъ учитель по классу. Онъ былъ страшно озлобленъ и въ то же время изумленъ. «Понять не могу», думалъ онъ: — «что сталось съ этимъ мерзавцемъ?» Фактъ выходилъ своею оригинальностію изъ ряда обыкновенныхъ фактовъ, и, должно быть, именно это обстоятельство сдѣлало то, что Ливановъ не донесъ о Карасиныхъ дѣяніяхъ инспектору. Иначе Карасю пришлось бы цѣлую недѣлю таскать изъ своего тѣла прутья: за подобныя дерзости въ бурсѣ драли жестоко, до того жестоко, что послѣ сѣченія относили въ больницу *на рогожкѣ*.

Но Карася все-таки высѣкли въ тотъ день. Онъ въ озлобленіи пошелъ бить стекла училища, былъ пойманъ на этомъ дѣлѣ и хотя призывалъ всю небесную силу во свидѣтельство того, что онъ нечаянно разбилъ стекло, однако, ему *влѣпили*, какъ выражается онъ, около пятидесяти.

Такимъ образомъ, наказаніе Разумникова имѣло

свои добрыя послѣдствія: оно бѣсило только человѣка, а нисколько не наставляло на путь истины.

Посмотримъ, что было послѣ.

Ученики отпускались домой изъ бурсы, по письменнымъ билетикамъ, отъ двѣнадцати часовъ субботы до пяти часовъ воскресенья. Въ субботу разошлись ученики, большинство по домамъ. Училище опустѣло.

Карась остался въ бурсѣ.

Ученики въ свободное время обыкновенно сидѣли въ спальняхъ. Карась находился въ *Сапогѣ*. На него напала невыносимая тоска. Онъ бросился на кровать, покрылъ свою голову подушкой и зарыдалъ. Мы, взрослые люди, на дѣтское горе смотримъ очень легко. Развѣ можетъ ребенокъ серьезно страдать? Разумѣется, большинство читателей отвѣтитъ: нѣтъ! Между тѣмъ, бываютъ дѣтскія печали глубокія и сильныя, печали, за которыя человѣкъ не можетъ простить и тогда, когда станетъ взрослымъ. Карась въ ту минуту, когда лежалъ на кровати, всѣхъ ненавидѣлъ. Развѣ можетъ глубоко ненавидѣть ребенокъ? Можетъ. Если бы не учился человѣкъ ненавидѣть въ дѣтствѣ, не умѣлъ бы онъ ненавидѣть и въ зрѣлыхъ лѣтахъ. Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злости и мести!

Для городского, привыкшаго проводить праздники дома, самый гадкій день—праздничный день въ бурсѣ.

Карась кое-какъ дождался всенощной.

Учениковъ раздѣлили на двѣ партіи: одна отправлялась въ лаврскую церковь, другая оставалась въ бурсѣ. Къ первой принадлежали имѣвшіе сколько нибудь приличную одежду, ко второй оборвыши и отрепыши, которыхъ стыдно было начальству пустить на свѣтъ Божій. Карась остался съ отрепышами, потому что

былъ неуволенъ въ городъ, а такихъ не пускали въ лаврскую церковь.

По звонку, въ шесть часовъ вечера, оставшіеся отправились на домашнюю всенощную, въ такъ называемый «пятый номеръ», то есть классъ подъ № 5. Это была большая длинная комната, уставленная партами. На передней стѣнѣ ея висѣлъ огромный образъ Спасителя, сѣдящаго на престолѣ; предъ тѣмъ образомъ и совершалась всенощная однимъ изъ лаврскихъ монаховъ. Ученики сдвинули парты въ одну сторону, къ стѣнѣ. Образовалась довольно обширная площадка, на которой и помѣстились рядами ученики. По правую руку образа поставили аналой, около котораго помѣстилась *сборная братія*, то есть пѣвчіе-любители изъ оставшихся въ бурсѣ.

Карась въ дѣтствѣ былъ очень религіозный мальчикъ. Кромѣ того, на сердцѣ его накопилось очень много горя. Онъ, лишь только началась всенощная, всталъ на колѣни и началъ усердно молиться. Содержаніе его молитвы, какъ часто случается въ дѣтствѣ, было безпредметное, неопредѣленное. Онъ ни о чемъ не просилъ, ни на кого не жаловался Богу; онъ, отрѣшаясь отъ внѣшняго міра, стремился куда-то всѣми силами своей души. Тепла была его молитва и сильна... Такъ прошло около полчаса, и Карась съ каждымъ поклономъ разгарался духомъ. Но это благодатное настроеніе было неожиданно нарушено самымъ пасквильнымъ образомъ.

Когда Карась кончалъ усердный поклонъ, сосѣдъ его, дуракъ *Тетеры*, сдѣлалъ ему дружескую смазь. Карася это изумило, а Тетеры, разсматривая свою пясть, въ которой сейчасъ держалъ лицо Карася, увидѣлъ ее мокрою...

— Ты плачешь? сказалъ онъ Карасю.

Религіозный экстазъ Карася миновался.

— У тебя слезы? повторилъ Тетеры.

Карась озлился, тѣмъ болѣе, что ему было стыдно своихъ слезъ...

— Безмозглая башка, отвѣчалъ онъ и далъ пинка Тетеры.

— Да о чемъ ты плакалъ? спрашивалъ глупецъ Тетеры.

— Отстань, оселъ!

— Скажи же, допрашивалъ добродушный глупецъ.

— Вотъ тебѣ!

Карась далъ ему очень чувствительный пинокъ.

— Подлый Карасище, привѣтствовалъ его дуракъ...

Такимъ образомъ, молитвенное настроеніе карасинаго духа было нарушено. Карасю сдѣлалось просто скучно. Онъ сталъ наблюдать религіозность своихъ сомолитвенниковъ. Ученики любили свой бурсацкій храмъ болѣе, нежели лаврскій, потому что богослуженіе, которое они совершали, возможно было только въ томъ именно храмѣ, въ которомъ и драли ихъ. Домашняя служба была короче и веселѣе: ее по возможности сокращали и дѣлали занимательною. Дьячокъ изъ учениковъ, читая псалмы, перебиралъ слова до того быстро, что слышалось только щолканье языкомъ и губами, а смыслу... смыслу бурсакамъ и не требовалось... «Богъ съ нимъ!» говорили они... Но кромѣ безтолковаго дьяческаго чтенія, было еще безобразное пѣніе. *Сборная братія* любила *хватить*, *ляпнуть*, *рявкнуть*, *отвести кончикъ* — эти термины означаютъ громы-гласія бурсы. Поющая и взывающая бурса стоитъ и подзадориваетъ тѣхъ, у кого хорошо устроены дыхательные мѣхи и горловыя связки... Реветъ молящаяся бур-

са... Но это все еще ничего бы: у насъ, на Руси, въ большинствѣ случаевъ, церковныя службы сопровождаются нелѣпымъ чтеніемъ и аневричнымъ пѣніемъ, но богомольный русскій человѣкъ давно привыкъ къ тому и его религіозное чувство все-таки питается во время службы; но этотъ же отерпѣвшійся нашъ богомольный человѣкъ, посѣтивъ бурсацкую всенощную, непремѣнно возмутится духомъ. Мы видѣли, какъ Карась во время службы смазь получилъ. Такія явленія во время всенощной были очень обыкновенны. Молящіеся толковали, смѣялись, плевались... Отрепыши въ первыхъ рядахъ только стояли прилично, а въ срединѣ, гдѣ ученики были заслонены отъ начальства окружающими ихъ товарищами, играли въ карты и костяжки. *Хорь* лазилъ по карманамъ, *Чахотка*, второкурсникъ, спалъ на тулупѣ, *Павка*, городской мальчикъ, не отпущенный домой за лѣность, училъ урокъ... Смази, щипки, плевки, подзатыльники разсыпались только нѣсколько рѣже и скромнѣе, сравнительно съ обыкновенными занятными часами.

Все это въ бурсѣ называлось богослуженіемъ.

. . . . . .

Кончился для Карася тяжелый бурсацкій праздникъ.

«Неужели меня не уволятъ и на Пасху?» думалъ онъ.

Страшно сдѣлалось ему. Онъ зналъ, что такое въ бурсѣ Пасха.

Этотъ праздникъ ожидался учениками съ нетерпѣніемъ, всѣ думали встрѣтить въ святой день что-то особенное, выходящее изъ ряду вонъ; лица торже-

ственныя, свѣтлыя, добрыя; товарищи внимательны другъ къ другу и ласковы; ни одной нѣтъ затрещины во всей бурсѣ. Хорь, послѣ спѣвки, идетъ въ церковь, поютъ съ увлеченіемъ и звонко, весело христосуются и, послѣ службы, возвращаются въ бурсу, гдѣ и разговляются. Все это очень мило; но вмѣстѣ съ розговѣньемъ улетаетъ изъ бурсы и праздникъ. Если бы дали ученикамъ простую рекреацію, они и справили бы ее, какъ обыкновенно, но Пасха — праздникъ особенный и проводить его слѣдуетъ иначе. И вотъ бурсаки снуютъ изъ угла въ уголъ, ищутъ своего праздника, и найти не могутъ. Гдѣ же онъ? Затерялся гдѣ-то, а вѣрнѣе всего, оставленъ дома, на родинѣ. Поневолѣ припоминаютъ бурсачки Христовъ день подъ роднымъ кровомъ, всѣ чуютъ, что не такъ надо праздновать его; и уже христовскій вечеръ становится невыносимо скученъ, на всѣхъ нападаетъ тоска и апатія. Прожить цѣлую недѣлю въ такомъ состояніи — дѣло крайне тяжелое. Оттого-то Карасю и прописывали бурсацкую пасху вмѣсто казни: на дѣльное что нибудь она и не годилась.

Но Карась поклялся, что онъ, во что бы то ни стало, отдѣлается отъ этой казни... Но что же онъ предприметъ?

«Сбѣгу»—чаще и чаще приходитъ ему на мысль.

Съ этой блаженной мыслью, онъ и заснулъ въ тотъ день.

«Сбѣгу» — думалъ Карась, проснувшись, и на другой день, по утру.

Эта мысль начинала нравиться Карасю и окончательно укоренилась по поводу одного маленькаго *бѣгу-*

на. Событіе было такого рода. Привезли въ училище *Фортунку*, деревенскаго мальчика, едва ли не семилѣтняго ребенка, который долго скучалъ по родинѣ. Этотъ *Фортунка*, когда ему сдѣлалось очень горько отъ бурсацкой жизни, ночью задумалъ совершить бѣгство. Онъ предпринялъ такой подвигъ, не зная, гдѣ найдетъ пріютъ, и не имѣя денегъ, а только полагаясь на слова пѣсни, пѣвавшейся въ училищѣ; въ ней говорилось, что однажды шелъ бѣдный малютка, онъ весь перемокъ отъ холоду, но думалъ: «Богъ и птичку въ полѣ кормитъ и росой кропитъ цвѣты, — и меня онъ не оставитъ», и дѣйствительно, мальчику попалась на встрѣчу старушка, которая и пріютила его у себя... Полагаться Фортункѣ больше было не на что, но онъ, все-таки, глубокой ночью всталъ съ своей постельки на ноги, натянулъ на себя свою одежду, завязалъ что-то въ узелокъ и вышелъ на дворъ. «Вечеръ былъ, сверкали звѣзды», какъ говорилось въ приведенной же нами пѣснѣ. Фортунка полѣзъ черезъ заборъ, вотъ уже сидитъ онъ подъ открытымъ небомъ и думаетъ со страхомъ, куда ему направить путь. — «Но ладно: Богъ и птичку въ полѣ кормитъ». Бурсацкая птичка хотѣла спорхнуть съ забора...

— Стой! — услышалъ Фортунка чей-то грозный голосъ...

Его сняла съ забора чья-то сильная рука и поставила на землю. Предъ Фортункой оказался солдатъ *Цѣпка*, училищный хлѣбопекъ, который и поймалъ его на мѣстѣ преступленія...

— Ты что затѣялъ?

— Ей Богу, ничего не затѣвалъ...

— Пойдемъ-ка со мной, дружище...

— Прости, Цѣпа...

— Пойдемъ, пойдемъ...

Солдатъ повлекъ за собой Фортунку. Онъ привелъ его въ свою пекарню. Объ этомъ солдатѣ мы однажды упоминали, какъ о человѣкѣ, не смотря на жестокость и грубость его характера, вообще добромъ...

— Ты что задумалъ, а?

— Я только погулять хотѣлъ...

— То есть въ бѣги пуститься?.. это съ чего...

— Здѣсь скучно, Цѣпа...

— Скучно? а инспекторъ отдеретъ, такъ весело станетъ? И куда ты, этакой мальчишка, пойдешь?

— Домой пойду...

— Ахъ, ты каналья! Гдѣ же тебѣ домой идти?

Однако Фортунка понравился солдату.

— Присядь-ка лучше вотъ здѣсь, сказалъ онъ мальчику:—и поѣшь лепешекъ съ масломъ...

Фортунка отъ ласковаго слова повеселѣлъ и началъ ѣсть данную ему лепешку. Солдатъ разговаривалъ съ нимъ о его домѣ и совершенно приголубилъ.

— Ну, поѣлъ, и ступай съ Богомъ спать. И не думай уходить изъ училища — поймаю...

Фортунка пришелъ въ свою спальню и заснулъ въ ней сномъ птички божіей.

Но на другой день, Цѣпка, не смотря на доброту свою, счелъ обязанностію — донести о попыткѣ дезертира... — Отдеру — сказалъ инспекторъ. Но когда къ нему привели Фортунку, и онъ въ лицѣ его увидѣлъ совершеннаго ребенка, въ которомъ и сѣчь-то нечего, тогда инспекторъ помиловалъ его...

Но бѣгство было однимъ изъ сильнѣйшихъ преступленій бурсы. Поэтому замыселъ Фортунки, хотя и кончился онъ пустяками, возбудилъ въ училищѣ толки.

— Бѣгуна поймали, разсказывали въ камчаткѣ.

— Что же съ нимъ сдѣлали? спрашивалъ съ любопытствомъ Карась.

— Ничего...

— Неужели?

— Инспекторъ простилъ.

«Убѣгу же и я», укрѣплялся въ своей затаенной мысли Карась: — «вѣдь не запорятъ же, если и поймаютъ».

Онъ сталъ разговаривать съ товарищами о бѣгунахъ...

— Много у насъ бѣгуновъ?

— Есть-таки...

— А вѣдь плохо имъ придется?..

— И очень даже...

— А правда, спросилъ одинъ, что наши на дровяномъ дворѣ *спасаются?*

— Правда, только ты никому не говори...

— Я фискалъ что ли?

— То-то. Я самъ бывалъ у нихъ въ гостяхъ.

— Какъ же они живутъ?

— Отлично живутъ. Въ дровахъ подѣлали себѣ кельи и спасаются въ нихъ...

— Чѣмъ же они питаются?

— Воруютъ. Вотъ уже второй мѣсяцъ живутъ такъ... Иногда милостыню просятъ... Иногда приходятъ сюда, въ училище, и наши даютъ имъ хлѣба...

— Не выдадимъ своихъ, отвѣтили слушатели съ гордостію.

«Убѣгу и я», думалъ про себя Карась и съ каждой минутой разгорался духомъ...

— А что *женихъ* нашъ? спросилъ кто-то объ ученикѣ, упомянутомъ въ прошломъ очеркѣ:—онъ никакъ

теперь пятый разъ состоитъ въ бѣгахъ. Сколько разъ его драли за бѣгство?

— Четыре раза, а все-таки неймется... Отпорятъ его, онъ бѣжитъ за восемьдесятъ верстъ, да пѣшкомъ лупитъ. Явится домой, его начинаетъ драть отецъ, отъ отца онъ бѣжитъ въ бурсу. Отстегаютъ здѣсь, онъ опять домой: такъ и гоняютъ его розгами съ мѣста на мѣсто.

«Но вѣдь не засѣкли жениха», ободряетъ себя Карась, жадно прислушиваясь къ рѣчамъ товарищей: «и я живъ останусь».

— Но что женихъ? Нѣтъ, вотъ бѣгуны-то: Вавиловы...

— И вѣдь городскіе еще?

— Да; напишутъ бывало фальшивыя письма отъ родителей, что они оставлены дома по болѣзни, начальство не безпокоится, дома этого не знаютъ, и Вавиловы гуляютъ себѣ по городу. Такъ они однажды гуляли цѣлую треть года...

— А правда, что ихъ однажды поймали вмѣстѣ съ мошеннической шайкой?

— Еще бы! Но потомъ другіе мошенники выкупили изъ полиціи. Они опять долго торговали краденой нанкой и имѣли большія деньги. Когда же негдѣ было стянуть, нанимались въ поденную работу.

— Ай, да ну! Но не слышно ли чего о *Меньшинскомъ*.

— Что-то не слышно... А онъ тоже давно въ бѣгахъ...

— Вотъ этотъ будетъ почище всѣхъ. Помните, какъ онъ однажды оборвалъ у инспектора часовую цѣпочку и бросился на него съ перочиннымъ ножомъ?

— И все это ему проходитъ. Отпорятъ, и только.

— Другому давно бы дали волчій паспортъ, а у него покровители есть.

Про Меньшинскаго говорили правду. Онъ былъ примѣромъ того, что жестокое воспитаніе можетъ сдѣлать изъ человѣка. Изъ Меньшинскаго оно сдѣлало чистаго звѣря, который не задумался бы, подъ горячую руку, и приколоть кого нибудь. Долго толковали о немъ, предполагая, чѣмъ разъиграется послѣднее его бѣгство. Предъ тѣмъ, по просьбѣ отца, его такъ наказали, что совершенно избитаго *на рогожкѣ* отнесли въ больницу.

У Карася гвоздемъ сѣла въ голову мысль покинуть бурсу. «Если и накажутъ, то все же не такъ, какъ Меньшинскаго: я воровать не буду и съ ножемъ ни на кого не брошусь. Пусть сѣкутъ потомъ: теперь, по крайней мѣрѣ, погуляю». — Онъ сталъ обдумывать планъ бѣгства. И онъ, предпринимая такое смѣлое дѣло, былъ немного разумнѣе Фортунки. Но Карась ходилъ около воротъ и выглядывалъ, какъ бы шмыгнуть за нихъ: это было дѣло не легкое, потому что привратникъ строго слѣдилъ за бурсаками и безъ билета, даннаго отъ инспектора, никого не пропускалъ въ ворота.

— Лишь бы только уйдти, а тамъ пойду, отыщу дровяную келью и присоединюсь къ спасеннымъ. Не примутъ, удеру куда-нибудь—за одно.

Такъ размышлялъ Карась, стоя у воротъ училища, съ твердымъ намѣреніемъ исполнить свой замыселъ.

Но вдругъ распахнулись двери училища настежь, и въ нихъ показалась телѣга. Телѣга остановилась у дома инспектора. Карась изъ любопытства заглянулъ въ рогожку, которою былъ прикрытъ экипажъ, и невольно попятился назадъ. Изъ подъ рогожки на него сверкнули два страшныхъ глаза...

— Меньшинскаго привезли! закричалъ онъ.

Въ телѣгѣ лежалъ, связанный по рукамъ и ногамъ, дѣйствительно Меньшинскій. Онъ, убѣжавъ за нѣсколько верстъ въ свою деревню, былъ накрытъ отцомъ ночью, скрученъ веревками и отправленъ въ бурсу. Свободнымъ везти его боялись — непремѣнно убѣжитъ снова...

Около телѣги образовалась толпа учениковъ.

— Меньшинскій! говорили бурсаки...

Онъ посмотрѣлъ только со злобой на своихъ товарищей; онъ всѣхъ ихъ ненавидѣлъ въ ту минуту.

— Какъ тебя поймали?

— Связаннаго такъ и везли?

— Сорокъ слишкомъ верстъ?

— Убирайтесь къ чорту, отвѣчалъ онъ и закрылъ глаза.

Появился инспекторъ, и толпа разсыпалась въ стороны.

Черезъ полчаса велѣно было ученикамъ собраться въ пятомъ номерѣ. Туда притащили связаннаго Меньшинскаго, повалили его на полъ, раздѣли, два служителя сѣли ему на плечи, два на ноги, два встали съ розгами по бокамъ, и началось сѣченіе.

Жестоко наказали знаменитаго бѣгуна и отправили въ больницу...

Впечатлѣніе отъ этой порки было потрясающее.

«Страшно», подумалъ Карась. «Богъ съ нимъ и съ бѣгствомъ! Лучше на Пасху не пойду.»

Послѣ того у Карася прошла охота бѣжать.

«Однако на Пасху не идти? Нѣтъ, какъ нибудь да урвусь изъ бурсы. Завтра обиходъ, думалъ Карась: рѣшится дѣло, идти мнѣ на Пасху, или нѣтъ?»

Вотъ когда сдѣлалось ему страшно. Чѣмъ ближе

подходитъ грозный день неотпуска, тѣмъ становилось ему тошнѣе. Къ чувству ненависти и тоски присоединялось еще какое-то новое чувство: все стало казаться пустяками, зарождалась мизантропія, мрачный взглядъ на міръ божій. Пробовалъ онъ чѣмъ нибудь развлечься —ничего не выходило. Купилъ онъ костяжекъ и сталъ играть въ «*юлу*». «Какое нелѣпое занятіе!» сказалъ онъ чрезъ нѣсколько минутъ и раскидалъ костяжки по полу. Добылъ пряникъ изъ кармана, сталъ лакомиться, но скоро и пряникъ полетѣлъ на печку. Пошолъ къ своимъ дуракамъ, но дураки только бѣсили его. Въ душѣ Карася начали подниматься вопросы, на которые ни іоты не могли отвѣтить дураки. «Отчего люди злы? Отчего слабосильнаго человѣка всегда тѣснятъ и давятъ? Гдѣ всему этому начало? Говорятъ, дьяволъ всему причина, онъ соблазнилъ людей; былъ когда-то рай на землѣ, но теперь все гадко на свѣтѣ: отчего это? откуда?» Дуракамъ до такихъ вопросовъ, разумѣется, не было дѣла. Сновалъ Карась изъ угла въ уголъ и сильно волновался, наконецъ, забился онъ въ своей камчаткѣ подъ парту, накрылъ побѣдную голову шинелью и горько зарыдалъ. Слезы однако мало облегчили его. Онъ мало по малу однако забылся и, утомленный впечатлѣніями дня, заснулъ кое-какъ. Пробудился онъ съ головной болью, и первый вопросъ опять былъ о Пасхѣ.

Карась думалъ, что онъ съ ума сойдетъ отъ горя. Но вдругъ лицо его стало проясняться, какая-то надежда прокрадывалась въ сердце, точно онъ видѣлъ исходъ изъ своего положенія. Карась рѣшался на что-то и не рѣшался. Но борьба быстро кончилась.

«Не умру же, Господи твоя воля!» проговорилъ и приступилъ къ занятіямъ такого страннаго рода, что

человѣку, незнакомому съ тайнами бурсацкой жизни, могъ показаться уже лишившимся разсудка.

Вечеръ. Занятія кончаются. Скоро ужинъ.

Карась вышелъ на дворъ, отыскалъ большую лужу, усѣлся около нея и сталъ снимать сапоги. Потомъ, оставшись въ однихъ чулкахъ, принялся бродить по водѣ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ превратился въ большую рыбу. Послѣ такой операціи, онъ надѣлъ сапоги сверху мокрыхъ чулковъ и долго ходилъ по двору. Хотя уже весенній ледъ прошелъ и время стояло довольно теплое, но на дворѣ, по вечерамъ стояла легкая изморозь. Карась рисковалъ поплатиться здоровьемъ; но когда чулки на немъ просохли, онъ опять сталъ плавать въ лужѣ и снова повторилъ свою продѣлку. Все это было очень дико. Но Карась не унимался. За ужиномъ онъ нарочно ничего не ѣлъ, хотя немогъ пожаловаться на дурной аппетитъ. Послѣ ужина онъ опять ходилъ въ намоченныхъ чулкахъ. Пришедши въ спальную, онъ намочилъ холодной водой галстукъ и надѣлъ его себѣ на шею. Всѣ заснули, а онъ все ворочался въ постели. Когда же сталъ одолѣвать Карася сонъ, онъ всталъ съ кровати, добылъ свои подтяжки, привязалъ ими себя за ногу къ спинкѣ кровати — положеніе, въ которомъ невозможно заснуть. Онъ гналъ свой сонъ. Мучилъ себя Карась добровольно.

Но что все это значитъ?

«Какъ бы захворать?» думалъ Карась: — «завтра меня стащутъ въ больницу: обиходъ пройдетъ безъ меня, и я останусь уволеннымъ на Пасху. Не умру же я. Хоть и больного возьмутъ домой, все же лучше!..

Вотъ чѣмъ объясняется сумасбродство Карася.

Когда бурсакъ уходилъ отъ какой нибудь бѣды въ больницу, прятался въ отхожихъ мѣстахъ, строилъ

келью на дровяномъ дворѣ, утекалъ въ лѣсъ либо домой, то это на мѣстномъ языкѣ называлось «*спасаться*».

Спасающихся въ больницѣ было не мало. Мы видѣли, что дѣлалъ Карась, чтобы поселиться въ ней. Для той же цѣли многіе развивали на тѣлѣ чесотку и нарочно не лечили ее, смотрѣли долго на солнце, чтобы получить куриную слѣпоту, натирали шею сукномъ, либо накалывами ее булавками, чтобы распухла она, расковыривали страшно свои ноги, растравляли на ногахъ раны и т. п.

Поутру, на другой день, Карась блѣдный, растрепанный, еле держась на ногахъ, отведенъ *старшимъ* въ мѣстную больницу.

Но такое *спасеніе*, на которое рѣшился Карась, обходилось очень дорого: во первыхъ потому, что приходилось рисковать здоровьемъ, а во вторыхъ, больница была однимъ изъ самыхъ страшныхъ мѣстъ бурсы.

Она дѣлилась на два отдѣленія: *чистое и чесоточное*.

Чистое имѣло въ себѣ комнату подъ аптекой; потомъ шли палаты для больныхъ. Въ палатахъ на желѣзныя кровати были брошены слежавшіеся матрасы, жосткіе, какъ камень, въ нихъ гнѣздами гнѣздились клопы и другіе паразиты. Комнаты были съ линючими стѣнами, въ пятнахъ, плѣсени, зелени; полъ проѣденъ мышами и крысами. *Чесоточное* отдѣленіе, находящееся отъ *чистаго* черезъ корридоръ, въ одной огромной комнатѣ, было еще милѣе: это была какая-то прокаженная яма, кипящая коростой, струпьями и всякою заразою. Подлѣ той ямы находилась кухня, изъ которой неслась рвущая носъ гниль и вонь. Близъ

лежащіе ватеръ-клозеты увеличивали впечатлѣніе. Содержаніе больныхъ было очень нездорово. Воздухъ, при дурной вентиляціи, былъ дохлый, пища скудная и скверная — *габеръ супъ*, прозванный отъ бурсаковъ *храбрымъ супомъ*, вмѣстѣ съ *пятибулкой* (булка въ пятакъ ассигнаціями), прополаскивая желудокъ, мало питали организмъ; бѣлье было грязное и рваное; верхняя одежда тоже, но особенно замѣчательны были дерюжные, сѣроармяжные халаты; при этомъ строго наблюдалось, чтобы грязный колпакъ былъ на головѣ больного. Лекарства, нечего и говорить, были пустыя: мушка, рожки, горчица, ромашка, oleum ricini, рыбій жиръ, мазь отъ чесотки, да нѣсколько пластырей—вотъ, кажется, и все; только въ крайнихъ случаяхъ рѣшались на что нибудь подороже.

Ко всему этому фельдшеромъ былъ нѣкто Мокеичъ. Онъ былъ глухъ на правое ухо и глухъ на лѣвое ухо, глупъ съ фронтона и глупъ съ затылка, хотя и былъ человѣкъ души доброй. Онъ былъ глубоко убѣжденъ, что доктора всегда глупѣе фельдшеровъ, особенно молодые. Мокеичъ хвастался, главнымъ образомъ, тѣмъ, что у него счастливая рука, и вѣроятно, на этомъ основаніи, пропилъ аптекарскіе вѣсы, а послѣ всегда узналъ вѣсъ рукою — подтряхнетъ на ладони какую-нибудь спецію, «пол-унце» говоритъ и сыплетъ въ банку. Онъ лечилъ обыкновенно прислугу училищную и кой-кого изъ окрестныхъ обывателей, предъ которыми и ругалъ своего доктора.

Бурсаковъ въ такой больницѣ спасалъ отъ смерти служившій при ней Добровольнъ. Если бы не онъ, то моромъ бы морило бурсаковъ. Ученики, помнящіе его, вспоминаютъ объ этомъ человѣкѣ съ глубокимъ уваже-

ніемъ и любовью. Онъ обладалъ отличною ученостью, постоянно слѣдилъ за наукою и въ какіе нибудь три года составилъ себѣ огромную репутацію. Кромѣ того, что онъ всегда былъ готовъ помочь, уже одинъ видъ его добраго лица, ласковый, задушевный голосъ, умѣнье обойдтись съ больнымъ, оживляли паціента доброй надеждой. Бѣдные люди, во всякое время дня и ночи, могли найдти его готовымъ на помощь имъ: посѣщая лачугу какого-нибудь бѣдняка, онъ приносилъ ему лекарство, пищу и деньги. Не смотря на то, что онъ имѣлъ богатую практику, Доброволинъ, вслѣдствіе необъятной доброты своего сердца, по смерти, оставилъ капиталу только *пяти-алтынный*. Когда газеты напечатали его некрологъ, то огромное количество почитателей стеклось, чтобы помочь его семейству въ несчастіи.

Доброволинъ былъ духовнаго происхожденія и очень любилъ бурсаковъ. Онъ велъ дѣятельную и усердную войну съ училищнымъ начальствомъ. Но, не смотря на всю энергію свою, ничего не могъ сдѣлать въ этомъ несчастномъ мѣстѣ. Больница осталась страшнымъ мѣстомъ.

И вотъ все-таки въ это мѣсто, полное смрада, нечистоты и болѣзней, бурсакъ прибѣгалъ, какъ въ древности прибѣгали люди къ священному алтарю своему, искать защиты и спасенія. Бурсакъ въ гнусной больницѣ искалъ спасенія. И знаете ли, что и здѣсь не всегда ученикъ избѣгалъ золъ бурсацкихъ: бывали, хотя очень рѣдко, примѣры, что *больныхъ сѣкли*. Да.

Но Карась все выжилъ, все перенесъ, лишь бы только бурсацкое начальство не украло у него домашнюю пасху.

Пасху Карась провелъ дома. Дорогонько она обошлась ему.

. . . . . .

Вотъ, господа, какъ бѣгаютъ и спасаются наши бурсаки.

НЕОКОНЧЕННЫЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО.

МАХИЛОВЪ.

(РАЗСКАЗЪ *).

I.

Майское солнце разливало вечерніе лучи свои по сводамъ и кирпичному полу семинарскаго зданія въ Ч-вѣ, а въ нѣкоторыхъ углахъ его уже замѣтно начинало стемняться. Все зданіе было наполнено какимъ-то страннымъ жужжаніемъ. Не понять, откуда оно выходитъ; оно какъ будто ползетъ и лѣзетъ изъ каждой трещины, изъ каждаго отверстія стѣнъ и пола корридоровъ. Эти странные звуки означаютъ, что ч.....скіе семинаристы сидятъ за партами и снабжаютъ свои головы познаніями всякаго рода и сорта. Ничего не слышно, кромѣ жужжанія: развѣ только изрѣдка вскрикнетъ какой нибудь семинаристъ — не охотникъ до долбни и сидячей жизни, да изрѣдка покажется дежурный на длинномъ корридорѣ: его шаги звонко раздаются по гладкому кирпичному полу и, раскатившись подъ сводами, опять замираютъ мало по малу; опять глухое невнятное жужжанье охватываетъ всѣ *слои семинарской атмосферы.*

*) Этотъ недоконченный разсказъ былъ писанъ Помяловскимъ еще въ старшемъ классѣ семинаріи (въ 1855 г.) для рукописнаго журнала «Семинарскій Листокъ».

Но вотъ, въ углу корридора въ богословской занятной, шумъ превращается въ говоръ; говоръ становится сильнѣе и крѣпче; начинаютъ прорываться какія-то вскрикиванія, и вдругъ это кресцендо стремительно возрастаетъ до самаго страшнаго фортиссимо. Что же встревожило или обрадовало ч.....ю богословію? Философъ ли возмутился и ему объявляется месть и гоненіе? Не презрѣнный ли словарь — исчадіе мелкой бурсы — оказалъ словомъ или дѣломъ непочтеніе аристократу семинаріи, и богословъ въ гнѣвѣ своемъ хочетъ раздавить его, какъ ничтожнѣйшую тварь? Или мало дали каши за обѣдомъ, и еще меньше посулили за ужиномъ, и вотъ оголодавшій богословъ идетъ войной на буфетъ и поварню? Или товарищъ попался за желѣзныя двери ч.....го карцера, и друзья идутъ громить ихъ своими кулаками? Нѣтъ, не то; философъ покоренъ имъ; словарь ходитъ по струнке; каши поѣли они до сыта, и карцеръ свободенъ отъ постоя. Вотъ прислушайтесь къ кликамъ, и вы узнаете, что богословія не бунтуется, а только веселится — торжествуетъ богословія, и торжествуетъ не имянины товарища, не кулачную побѣду въ бою съ купцами—нѣтъ, все не то. Слушайте клики: «ура, ребята! кути!.. На печку книги!... Эй, Махиловъ, четверть сюда!.. Рекреація, ребята!» Такъ вотъ что обрадовало семинарію! Для нея настала рекреація, со своимъ трехнедѣльнымъ досугомъ, со своими пѣснями, весельемъ и попойками. Благодатная вѣсть быстро обошла вмѣстѣ съ дежурнымъ всѣ классы — и вмигъ, будто по одному темпу, все завыло и застонало во всѣхъ углахъ словесности и философіи. Теперь на корридорѣ уже не жужжаніе, а какъ будто стѣны и своды рушатся другъ на друга:

такъ громогласно радуются питомцы бурсы, а этихъ питомцевъ въ ней до 900 человѣкъ.

Заглянемте въ какой нибудь классъ. Пойдемъ въ богословію,—въ другіе классы неприлично идти намъ. Вотъ огромная комната, въ которой помѣщается высшее отдѣленіе:

Тридцать партъ *), каѳедра, вѣшалка и на ней богословскій гардеробъ, да ведро воды у дверей—составляютъ всю мебель класса. Въ комнатѣ плаваетъ дымъ махорчатаго табаку и слышится запахъ угара... Но посмотрите, что за молодцы семинаристы. Это не то, что петербургскій семинаристъ, которому не съѣсть каши болѣе полумиски и не выпить пѣннаго болѣе полуштофа. Вотъ напримѣръ Махиловъ. Посмотрите, какъ лихо отхватываетъ онъ трепака, среди обступившихъ его товарищей, съ поднятой вверхъ бутылью, въ которой плещется, звенитъ и играетъ за зеленымъ стекломъ русское пѣнное. Молодецъ! плечи широкія, ростъ въ сажень и притомъ красавецъ, какихъ мало. Онъ первый силачъ семинарскій, и многіе ч.....іе купцы и мѣщане, бока которыхъ ознакомились съ его кулаками, пугаютъ дѣтей своихъ именемъ Максима Созонтовича Махилова. Богословы любуются на своего товарища-богатыря; они дымятъ длинными чубуками и частыми вскрикиваніями одобряютъ и поджигаютъ плясуна.

— Живо, ребята! крикнулъ Махиловъ своимъ здоровымъ басомъ.

— Нахаживай! подхватилъ Третинскій—другъ Махилова и силачъ не изъ послѣднихъ,—и Максимъ Созонтычъ началъ выдѣлывать ногами такіе удалые ва-

*) Въ ч.....ой семинаріи классъ и занятная — одна и таже комната.

видны, что, одушевившись, всѣ пошли въ сначъ и присядку.

Крики и пѣсни смѣшались вмѣстѣ, а сквозь крики и пѣсни слышно, какъ звенятъ бутылки и стаканы. Вездѣ льется искрометный ромъ и ходятъ столбухи пѣнистаго вина. Право, глядя на нихъ, по-неволѣ приходитъ на умъ пѣсня:

«Вотъ какъ жили при Аскольдѣ наши дѣды и отцы,
Какъ простую пили воду—медъ и крѣпкое вино....

хотя эту пирушку пировали не далѣе, какъ лѣтъ за двадцать или пятнадцать.

Пѣсни, пляска и попойка пошли крѣпче и шире, и черезъ полчаса пирушка дошла до тѣхъ предѣловъ, когда подгулявшій семинаристъ все забываетъ, когда онъ всѣмъ и каждому разсказываетъ, что ему одному интересно знать, когда онъ цалуетъ и товарищей, и стѣны,—и плачетъ, и хохочетъ, и поетъ почти въ одно время.

— Махиловъ! дѣйствуй! кричитъ Третинскій. Махиловъ опять, какъ вихрь, несется по классу, помахивая бутылью — вѣчною его спутницею въ семинарскихъ пирушкахъ.

— Эй, Махиловъ, легче! у меня спина не казенная! замѣтилъ Бѣдучевичъ Махилову, который на всемъ лету въѣхалъ ему въ спину бутылью. Но Махиловъ, не обращая на него вниманія, опять съ гиканьемъ и притопываньемъ помчался по классу.

— Экое животное! ворчалъ Бѣдучевичъ. — Подожди, я тебя самъ ссажу!

Бѣдучевичъ соперничалъ съ Махиловымъ по силѣ мышцъ и давно точилъ на него зубы. Бѣдучевичъ, Махиловъ, Чикадзе, Зимченко, Клопенко, Третинскій и Остенковичъ, — это были такіе молодцы, о кото-

рыхъ и нынѣшній курсъ вспоминаетъ съ глубокимъ уваженіемъ, потому что силачъ составляетъ гордость ч.....й семинаріи. Да, силачъ тамъ много значитъ, потому что много значитъ кулачное право. Есть пословица: не будь пригожъ, да уменъ, а будь счастливъ —эта пословица у нихъ выражается нѣсколько иначе: не будь уменъ, а будь силенъ,—всегда будешь пьянъ. Но обратимся къ разсказу. Бѣдучевичъ ворчалъ на Махилова и умышлялъ что-то не доброе, и дѣйствительно, когда тотъ несся мимо него, онъ подставилъ ногу. Махиловъ на лету съ размаха ударился своей физіономіей и бутылью въ стѣну: физіономія отскочила назадъ, но бутыль разлетѣлась въ дребезги.

— Это кто? закричалъ Махиловъ.

— Извини, это я... отвѣчалъ Бѣдучевичъ.

— А! ты? сейчасъ новую четверть!

— Ужь не купить ли тебѣ?

— Одно изъ двухъ: либо четверть, либо подставляй спину!

Бѣдучевичъ на эту обиду не отвѣтилъ ни слова, но только искоса поглядѣлъ на Махилова и хладнокровно и медленно сталъ засучивать рукава. Онъ рѣшился драться съ Махиловымъ, наказать дерзкаго обидчика и вырвать изъ рукъ его пальму кулачнаго первенства. Бѣдучевичъ никогда не рѣшился бы на это въ трезвомъ видѣ, но полугаръ дѣлаетъ еще не то: примѣръ на нашихъ семинаристахъ.

— А, такъ ты хочешь драться?...

Махиловъ подошелъ къ Бѣдучевичу и сталъ въ грозную позицію бойца. Бѣдучевичъ съѣздилъ Махилову по физіономіи, Махиловъ поморщился и отплатилъ подобною же любезностью, опустивъ на голову противника свой кулакъ, отъ чего тотъ присѣлъ на

половину своего роста. Но и Бѣдучевичъ вытерпѣлъ ударъ; онъ выпрямился и схватилъ Максима Созонтыча въ свои объятія. Завязалась борьба. Пляски и пѣсни прекратились. Всѣ окружили бойцовъ и даже полупьяные слѣдили каждое ихъ движеніе съ полнымъ вниманіемъ.

Боролись первые бойцы тогдашняго курса, и потому можно понять, какой интересъ имѣла эта битва для ч.....го семинариста, который въ минуту веселаго расположенія любитъ потѣшиться своимъ кулакомъ на спинѣ товарища или городского обывателя, для котораго игра *въ постные* одно изъ лучшихъ препровожденій времени. Долго бойцы крутились. Никто изъ нихъ не произносилъ ни слова, потому что оба они были бойцы искусные, опытные. Трудно было рѣшить, на чьей сторонѣ останется побѣда.

То сей, то оный на бокъ гнется.

Но вотъ Махиловъ понатужился, нажалъ Бѣдучевича подъ поясницу и въ одно мгновеніе смялъ его подъ себя. Пользуясь положеніемъ противника, Махиловъ приподнялъ его за воротникъ и ударилъ спиной о половицу. Бѣдучевичъ сдѣлалъ усиліе, чтобы сшибить побѣдителя кулаками, но Максимъ Созонтычъ употребилъ маневръ, который всегда игралъ важную роль въ его битвахъ: онъ опустилъ свои тяжелые кулаки на плечи Бѣдучевича, отшибъ ихъ и такимъ образомъ лишилъ его возможности дѣйствовать руками.

— Живота или смерти? спросилъ Махиловъ.

— Оставь меня!

— А четверть?

— Пусти, тебѣ говорятъ!

— Четверть: не то спину разломаю объ полъ.

— Пусти же, Махиловъ!

— Послѣднее слово: купишь ли четверть?

И Махиловъ опять было приподнялъ Бѣдучевича за воротникъ.

— Куплю! проговорилъ сквозь зубы Бѣдучевичъ.

— Вотъ это другое дѣло.

Махиловъ выпустилъ изъ своихъ рукъ Бѣдучевича: Бѣдучевичъ, молча, ни на кого не глядя отъ стыда, побрелъ въ шинокъ за четвертью.

Послѣ битвы, танцы и пѣсни не возобновлялись. Собрались въ кружки, и поднялись толки о силѣ и ловкости бойцовъ.

Мы послушаемъ, что говорятъ Чикадзе,—грузинецъ, Богъ вѣсть, какимъ образомъ занесенный въ ч.....ю семинарію, и Зимченко—силачъ, какъ уже замѣтили мы, не изъ послѣднихъ.

— Я всегда говорилъ Бѣдучевичу: не выходи съ Махиловымъ одинъ на одинъ. «Эва», говоритъ, «помѣряемся»—вотъ тебѣ и помѣрялся!

— Ладно, и Махиловъ найдетъ свое, отвѣчалъ Чикадзе.

— Да что? я не откажусь; ты тоже; да Третинскаго пригласимъ, и Бѣдучевичъ...

— Такъ, только Третинскій тоже порядочное животное.

Чикадзе былъ золъ вообще на всѣхъ сильныхъ, а кто былъ слабѣе, тому не было прохода отъ его пинковъ, которые раздавалъ онъ въ шутку, но которые довольно плотно приходились въ спину.

— Полно тебѣ! отвѣчалъ на его выходку Зимченко.

— Да вотъ позови его.

— Кирюша, поди сюда!

— Что такое?

— Каково отдѣлали Бѣдучевича?

— Не будетъ впередъ подставлять ножку да бить бутыли.

— А помнишь, самъ Махиловъ выпилъ у тебя полуштофъ: ты вѣдь ему не ломалъ спины объ полъ.

— Эхъ, то другое дѣло, братики!

— Ну, я говорилъ, что онъ не за насъ! подхватилъ Чикадзе.

— А что, развѣ что хотятъ? спросилъ съ любопытствомъ Кирюша.

— Да, хотятъ Махилову пощупать ребра, отвѣчалъ ему Зимченко.

— А, отъ этого я не прочь! когда же это?

Заговорщики стали обдумывать планъ и мѣсто расправы. Но вотъ зазвенѣлъ колокольчикъ, вліяніе котораго извѣстно и ч...му семинаристу на столько, на сколько оно извѣстно петербургскому.

Заговорщики отправились въ столовую подкрѣпить свои силы блаженною овсянкой и грешневой кашей.

II.

Начались сборы и приготовленія къ рекреаціи. Семинаристы собрали около ста рублей, приготовили двухъ-аршинную кулебяку, и дежурный съ деньгами и кулебякой, въ сопровожденіи старшихъ, отправился къ ректору. Ректоръ принялъ деньги, которыя обыкновенно самъ назначалъ на разныя забавы семинаристовъ, и, благословивъ пирогъ, сказалъ старшимъ: «ну, съ Богомъ! гуляйте, только не забывайтесь? безчинства чтобы не было!» Бородатые дѣти улыбнулись, отвѣсили въ полъ-спины поклонъ и вышли отъ ректора. Въ тотъ же день богословы ѣли рекреаціонную ку-

лебяку въ столовой, за завтракомъ, котораго въ другое время тамъ не бываетъ.

Послѣ завтрака, вся семинарія, отъ чердака до темныхъ подваловъ, наполнилась хлопотами и дѣятельностію. Въ классахъ собирались деньги, составлялись партіи; тетради и книги укладывались подъ спудъ. Въ жилищѣ сторожей тоже движеніе: сторожа выносятъ палатки, которыя искони покупались и починивались на общую складчину семинаристовъ; туда же перемѣщались весь буфетъ и поварня.

Наконецъ вся семинарія готова выселиться: сборы и приготовленія кончены. Ч.....е семинаристы отправлялись на рекреацію, какъ солдаты въ походъ, съ громкими пѣснями, въ 900 голосовъ, съ пляской и музыкой, почти на всевозможныхъ инструментахъ. При взглядѣ на эту толпу, по-неволѣ приходятъ на умъ полки Петра Амьенскаго, потому что въ ней пестрѣютъ всевозможныя одѣянія — пальто, сюртуки, халаты и шинели всѣхъ родовъ и фасоновъ.

Есть что-то молодецкое, безпечное, безшабашное въ этой подвижной массѣ. Нѣтъ ни одного угрюмаго лица: все поетъ и все весело! Но гдѣ же Махиловъ съ его вѣчной бутылью? Отчего онъ не поетъ и не пляшетъ? У него послѣ вчерашней пирушки трещитъ голова, поэтому хотя онъ изрѣдка и вскрикиваетъ, изрѣдка притопываетъ ногами и поводитъ плечомъ, но уже не выдается изъ-за другихъ.

— Максимъ Созонтычъ! послушай-ка, что я тебѣ скажу, говоритъ ему Кирюша.

— Нѣтъ, сегодня пить не буду — довольно!

— Я не то хочу тебѣ сказать...

— И на бой не пойду.

— Все не то: ты слушай, а самъ не догадывайся!

— Что же такое, Кирюша?

— Ха, ха, ха—что? да тебя подуть хотятъ немного.

— Пусть подуютъ! отвѣчалъ Махиловъ, зѣвнувъ во всю физіономію.

— Не горячись, Созонтычъ! трое на одного.

— А кто бы это?

Махиловъ сдѣлался внимательнѣе.

Третинскій любилъ и уважалъ Махилова. Онъ выслушалъ заговоръ и передалъ его Махилову.

— Трое на одного: это гадко!

— Да, любезнѣйшій, не безпакостно!

— Э, чортъ съ ними! Махиловъ махнулъ рукой. — Зато я по одиначкѣ потѣшусь.

— А ты все-таки не ходи сегодня мимо мельницы.

— Чего не ходи, не сегодня, такъ завтра дорвутся.

— По крайней мѣрѣ меня возьми съ собою, Созонтычъ, произнесъ Кирюша умоляющимъ голосомъ.

— Ну, идемъ!

— Вотъ это v alde cura melius; т. е. очень добропорядочно.

Между тѣмъ передъ толпой раскинулось широкое поле, на которомъ семинаристы проводятъ свои безсмертныя рекреаціи, на которыхъ еще дѣды и прадѣды ихъ пировали свои майскія пирушки и пѣли свои оглушительныя пѣсни. Рекреаціонное поле въ семи верстахъ отъ Ч.....а. Съ одной стороны его лѣсъ, съ другой рѣка, а вдали виднѣется городъ.

Цѣлыхъ полдня семинаристы основывались, размѣщали и устанавливали свои палатки. Служба помѣстилась у рѣки къ лѣсу, и черезъ полчаса тамъ задымились костры подъ котлами. Обѣды разносились по палаткамъ. Послѣ обѣда пріѣхалъ ректоръ, прошелся по палаткамъ и опять далъ наставленіе не забываться. Онъ

роздалъ старшимъ деньги, которыя на этотъ разъ были размѣнены на мѣдныя — каждому рублей по десяти. Старшіе должны были кидать эти деньги на шарапъ.

Такая забава была назначена къ вечеру. Въ Ч....ѣ рекреація праздникъ не только для семинаріи, но и всего города. Часамъ къ пяти вечера начали съѣзжаться купцы, чиновники и помѣщики, и даже самъ губернаторъ изволилъ пожаловать. Купецъ Чуриловъ привезъ боченокъ рому; помѣщикъ Кортученко прислалъ нѣсколько кулебякъ; ассесоръ Шемидорскій возъ арбузовъ; купецъ Тулинниковъ десять головъ сахару и цибикъ чаю, а Лопаренковъ, первый помѣщикъ Ч....й губерніи, привезъ свой оркестръ; вообще всякій посѣтитель обязанъ былъ принести что нибудь: иначе не допускали на рекреацію. Приношенія обыкновенно принималъ коммисаръ, выбранный изъ богослововъ товарищами и утвержденный въ этой почетной и сытной должности ректоромъ.

Къ вечеру начала развертываться рекреація. Составились три хора — человѣкъ по тридцати въ каждомъ: согласитесь, что изъ 900 человѣкъ можно найдти голосистыхъ, особенно въ южныхъ губерніяхъ, которыя въ изобиліи производятъ басовъ и теноровъ. Къ хорамъ кстати пришелся и оркестръ. Вотъ грянули у лѣса «Во лузяхъ» — и русская размашистая пѣсенка разнеслась далеко, далеко, прокатилась по гладкой, какъ зеркало, рѣкѣ — и громадная, полная силы и русскаго разгула, замерла гдѣ-то подъ небомъ. Всякій звукъ ложился прямо на душу. У самихъ семинаристовъ, когда они услышали въ чистомъ майскомъ воздухѣ голоса своихъ товарищей, отъ пробужденной удали затрепетали всѣ члены и заходила въ нихъ кровь. Къ хору присталъ другой хоръ и третій. Громъ и сила пѣсни еще болѣе

увеличились. А въ палаткахъ между тѣмъ льется вино и идетъ въ круговую; здѣсь и тамъ дымятъ чубуками, и во многихъ мѣстахъ подъ кустомъ шипитъ самоваръ и стучатъ чайныя чашки. Вотъ она, счастливая жизнь, полная безпечности, полная товарищескаго веселья! Когда-то, говоритъ преданіе, и петербургскій семинаристъ имѣлъ свои рекреаціи, хотя и не такія роскошныя, какъ въ Ч.....ѣ, но все же полныя жизни и веселья, но это было когда-то давно, еще въ патріархальныя времена старой семинаріи.

На помощь рекреаціи всегда является самъ Вакхъ, или въ видѣ даренаго боченка рому, или въ лицѣ ведернаго божка, и вотъ онъ уже успѣлъ оказать свое вліяніе на нѣкоторыя головы ч....хъ семинаристовъ. Вотъ у рѣчки на дорогѣ составилась пляска, подъ музыку импровизированнаго оркестра, въ которомъ высокія ноты выигрываютъ осьмушки, среднія штофъ, съ полуштофомъ, а октаву держитъ четвертная бутыль.

Такимъ оркестромъ управляетъ Третинскій—нашъ знакомецъ, охотникъ и мастеръ на импровизаціи подобнаго рода.

— Нахаживай, ребята! покрикиваетъ онъ танцорамъ, а самъ такъ и звонитъ и трезвонитъ въ пустыя сокровищницы.

А вотъ здѣсь, подъ липой, одинъ семинаристъ подъ вліяніемъ хмѣля плачетъ и цалуетъ какого-то купца и въ лобъ, и въ затылокъ. А тамъ, въ канавѣ лежитъ уже одинъ философъ — совсѣмъ побѣжденный Вакхомъ, который изъ своихъ объятій передалъ его въ объятія Морфея. Нечего сказать, любитъ выпить ч.....й семинаристъ. Тамъ есть головы, которыя выносятъ сорока и пятидесяти-градусный хмѣль. Самъ богъ пьянства не вынесъ бы того, что выносятъ часто эти здоровыя натуры.

Но вотъ ударило шесть часовъ — это условное время у заговорщиковъ противъ Махилова. Они ждутъ его у мельницы. Пойдемте и мы туда и посмотримъ, что-то тамъ дѣлается.

— Чортъ знаетъ, гдѣ Третинскій? говорилъ Чикадзе.

— Не пьянъ ли онъ? замѣтилъ Зимченко съ глубокомысленной миной.

— Навязали мы себѣ этого быка на шею. Посмотрите, онъ придетъ съ Махиловымъ.

— Господа, идетъ, идетъ Махиловъ!

— Одинъ?

— Одинъ, только у него палка въ рукахъ.

— За двери, ребята! скомандовалъ Бѣдучевичъ.

Они спрятались.

Махиловъ шелъ, слегка помахивая палкой, шелъ ровнымъ шагомъ, спокойно. Любо было посмотрѣть на молодца, который одинъ идетъ на троихъ и идетъ такъ безпечно, какъ будто противники его мальчики, между тѣмъ эти мальчики были крѣпкіе ребята. Бѣдучевичъ одной рукой поднималъ куль муки, подъ тяжестью котораго кряхтитъ спина лабазника; Зимченко когда-то высадилъ плечами двери у жида шинкаря, а Чикадзе во время оно, когда еще былъ въ словесности, отдѣлался отъ четверыхъ мужиковъ, напавшихъ на него за городомъ. Впрочемъ Махиловъ ожидалъ, что Третинскій вмѣстѣ съ его врагами, хотя Третинскій давно уже спалъ, отуманенный всеодуряющимъ Вакхомъ. Максимъ Созонтычъ искалъ глазами своихъ противниковъ, и, не видя ихъ, подумалъ, что они не пришли еще. Онъ оглядѣлся раза три и, уже убѣдившись въ своей мысли, пошелъ, ни о чемъ не думая. Но когда онъ проходилъ мельницу, Чикадзе кинулся ему въ ноги. Махиловъ ударился объ землю грудью; онъ понялъ, въ чемъ

дѣло, но поздно; онъ хотѣлъ подняться, но Зимченко и Бѣдучевичъ налетѣли на него изъ засады, и началась расправа. Охъ, какъ тяжелы кулаки такихъ силачей, какъ плотно приходятся они въ спину и въ шею!

— Вертыхайся, дитятко! приговаривалъ Чикадзе.

Махилова били безъ пощады, безъ милости. Онъ боролся то съ тѣмъ, то съ другимъ; ловилъ своихъ противниковъ за ноги, а между тѣмъ шесть здоровыхъ кулаковъ, какъ молоты, работали на всѣхъ частяхъ его тѣла.

— Дитятко, считай, сколько у тебя зубовъ! Чикадзе ударилъ его по лицу кулакомъ.

Наконецъ остервенился и Махиловъ, рванулся впередъ и ударилъ ногою въ грудь Чикадзе. Дорого бы поплатился Созонтычъ за свой ударъ, потому что Бѣдучевичъ и Зимченко съ ожесточеніемъ кинулись на него, если бы только чья-то сильная и, должно быть, опытная рука не отбросила обоихъ противниковъ въ сторону. Махиловъ воспользовался свободной минутой, поднялся на ноги и искалъ враговъ; враги приподнимались и, оглядывая новаго противника, разсчитывали, какъ бы поудобнѣе убраться съ поля битвы.

— Демьянъ Иванычъ, это вы?

— Я, шельмовство; я, канальство; эхъ, бѣдовое дѣло, я!

Чикадзе, Зимченко и Бѣдучевичъ скрылись.

— Спасибо, Демьянъ Иванычъ, за услугу. Ахъ скоты, какъ они отдѣлали меня.

Демьянъ Иванычъ — избавитель Махилова, былъ человѣкъ высокаго роста и крѣпкаго сложенія. Ему было лѣтъ 45. Борода, длинные волосы и длинный сюртукъ показывали, что это дьячекъ.

— Да что это, Максимъ Созонтычъ: трое на одного? За что это, бѣдовое дѣло?

— Видите ли... да пойдемте лучше домой.

— Это дѣло, канальство! Пойдемъ, пойдемъ, голова.

— Да что это вы, Демьянъ Иванычъ, какъ будто радуетесь, что меня оттрепали?

— Ха, ха, ха! радуюсь, канальство, радуюсь, да только не тому.

— Чему же?

— У насъ, Созонтычъ, праздникъ.

— Какой же? спросилъ съ замѣтнымъ любопытствомъ Махиловъ,

— Ладно, голова, пойдемъ.

Максимъ Созонтычъ разсказалъ Демьяну Иванычу, въ чемъ было дѣло.

Вотъ они пришли уже къ дому.

III.

Должность и квартира Демьяна Иваныча состояли при Покровской церкви. Его домикъ на этотъ разъ какъ-то веселѣе смотритъ. У воротъ стояло нѣсколько телѣжекъ. По всему было видно, что у Демьяна Иваныча праздникъ.

Махиловъ и Демьянъ Иванычъ вошли въ сѣни.

— Послушай, Созонтычъ: Катя Больна.

— Что же у васъ за праздникъ, если Катя больна?

— А не будь, канальство, она больна, не было бы и праздника, отвѣтилъ съ лукавой усмѣшкой Демьянъ Иванычъ.

— Такъ неужели она...

— Да, да, только не проговорись, бѣдовая бѣда! Пойдемъ къ ней.

— Ахъ, Демьянъ Иванычъ, я не ожидалъ, чтобы такъ скоро.

— Молчи, чтобы кто не услыхалъ. Эхъ! ловко! Демьянъ Иванычъ прискакнулъ на одной ножкѣ, что́ не совсѣмъ гармонировало съ его солидной бородой и длиннополымъ сюртукомъ.

Они вошли въ комнату, гдѣ уже было много гостей. Въ большомъ углу у божницы стояла купель съ водою. Въ другомъ углу сидѣла старуха и покачивала ребенка, завернутаго въ одѣяло. Махиловъ и Демьянъ Иванычъ подошли къ старухѣ.

— Покажи-ка, бабушка, ребенка!

Старуха, творя молитву шопотомъ, развернула осторожно одѣяло.

— Посмотри, канальство; весь въ тебя!

Махиловъ толкнулъ Демьяна Иваныча въ бокъ, и тотъ торопливо оглядѣлся съ боязливостію.

— Гляди, какой здоровенный! сказалъ онъ шопотомъ Максиму Созонтычу.

Долго Махиловъ смотрѣлъ на ребенка. О чемъ-то крѣпко приадумался онъ; даже слезы какъ будто навернулись на его глазахъ.

— Пойдемъ, Созонтычъ, не хорошо!.. бѣдовое дѣло, если замѣтятъ.

— Пойдемте къ Катѣ, Демьянъ Иванычъ.

Они отправились въ другую комнату, и оттуда въ спальню. Здѣсь на кровати лежала женщина.

— Здравствуй, Катя!

— Ахъ, это ты, Максимъ Созонтычъ?

Катя приподнялась съ кровати. Она была блѣдна, но и при блѣдности ея было видно, что она хорошенькая женщина.

— Я, Катенька.

— Онъ, канальство, онъ, бѣдовое дѣло.

— Что же ты такъ давно не былъ?

— Нельзя было, Катя: я былъ боленъ.

Махиловъ говорилъ правду: онъ вышелъ изъ больницы наканунѣ рекреаціи.

— Ахъ ты, моя Катя! Созонтычъ подошелъ къ Катѣ и поцаловалъ ее. Отецъ улыбался.

— Демьянъ Иванычъ, отецъ Яковъ пришелъ, раздался голосъ дьячихи, — женщины здоровой, хотя и пожилой, съ добрымъ лицомъ и веселой улыбкой.

— Хорошо, Татьянушка. Созонтычъ, пойдемъ, отхватаемъ крестины. Смотри, хорошенько пой, своего крестишь!

Они ушли. Катя приподнялась съ кровати и начала молиться Богу. Изъ другой комнаты слышится дряблый голосъ священника и двухъ здоровыхъ басовъ.

Читатели вѣроятно догадались, въ чемъ дѣло; вѣроятно, догадались, что Махиловъ, еще будучи семинаристомъ, имѣлъ жену и что вотъ Богъ даровалъ ему сына; но они еще не понимаютъ, какъ это могло случиться.

Предупреждаю, что не умѣю описывать любовныхъ похожденій, а потому разскажу дѣло кратко.

Махиловъ познакомился съ Демьяномъ Иванычемъ въ шинкѣ; они выпили, разговорились и сошлись другъ съ другомъ. Послѣ того Максимъ Созонтычъ началъ похаживать къ своему новому знакомому — сначала разъ въ недѣлю, а потомъ все чаще и чаще. Созонтычу крѣпко полюбилась Катя, а ей Созонтычъ; какъ это бываетъ, я, признаюсь, не умѣю еще понять.

Разъ, когда Демьянъ Иванычъ былъ на поминкахъ у купца Турыгина, они сидѣли обнявшись и о чемъ-то мечтали, какъ это часто бываетъ въ подобныхъ обстоятельствахъ, и не замѣтили, какъ вошелъ въ комнату

отецъ. У Демьяна Иваныча было одно странное свойство: если онъ сильно веселъ, все ломаетъ, что попадетъ въ руку; если сильно разсерженъ, дѣлаетъ то же. Увидѣвши такой срамъ, Демьянъ Иванычъ сломалъ стулъ, отколотилъ Созонтыча и выгналъ его изъ своего дома. Но когда Катя кинулась ему на шею, онъ заплакалъ. Когда же Катя сказала, что ни за кого не можетъ идти замужъ, какъ только за Максима Созонтыча, во-первыхъ, потому что любитъ его, а во-вторыхъ... не скажу, почему, сами догадайтесь! — тогда Демьянъ Иванычъ рѣшительно растерялся. Долго онъ молчалъ, наконецъ крикнулъ, ударивъ по столу кулакомъ: «баба!» Явилась жена.—Что ты, батюшка Демьянъ Иванычъ — Бѣдовое дѣло: вотъ послушай Катю! Катя со слезами разсказала о своемъ положеніи. Мать тоже заплакала. Но глупый плачетъ отъ бѣдства, а умный ищетъ средства. Татьяна же Акимовна была женщина умная. — Что же, Демьянъ Иванычъ? Горю слезами не поможешь! — А чѣмъ же ты пособишь? — А вотъ въ Поволоковкѣ у тебя братъ попомъ, онъ ихъ поженитъ, и въ книги какія нужно внесетъ; пойдутъ дѣтки, скажи, что наши! — А послѣ какъ же? — Кончитъ курсъ и будетъ мужемъ у Кати! Демьянъ Иванычъ подумалъ — подумалъ да и рѣшилъ, что дѣлать больше нечего. Черезъ недѣлю была свадьба, а черезъ три мѣсяца родился сынокъ, — то есть понимаете, что это значитъ.

Вотъ вамъ свѣдѣнія о любви Максима Созонтыча.

Махиловъ возвратился на поле уже на другой день, часовъ въ десять вечера. Тамъ уже блестѣли костры, и семинаристы купались при свѣтѣ ихъ въ теплой майской водѣ. Кругомъ темно, а по полю тамъ и здѣсь рас-

кинуты костры, и при свѣтѣ ихъ видно, какъ движутся тѣни по землѣ; слышны пѣсни и клики, и плескъ воды отъ ударовъ купающихся, и хохотъ, и вопли. Все сливается въ какой-то страшный гулъ, который виситъ надъ кострами. Но вотъ пѣсни раздались крѣпче и сильнѣе, «ура» разносится по воздуху. При этомъ на другомъ берегу вспыхнуло высокое пламя отъ громаднаго костра, который развожгли семинаристы. Темное поле освѣтилось во всѣ стороны; слышенъ тресвъ сухихъ бревенъ. Огонь, вырвавшись изъ горящей громады, красными клоками и длинными змѣями улетаетъ къ небу. Около этого костра составился танецъ — человѣкъ изъ пятидесяти. Махиловъ долго любовался на огонь и пляску, но самъ не пошелъ танцовать. Ему было о чемъ подумать. Наконецъ, огромный костеръ сгорѣлъ, оркестръ и хоры замолкли; рѣже и рѣже раздается плескъ рѣки. Мало по малу все стихло и заснуло. Только Махиловъ не спитъ; онъ развелъ у своей палатки огонекъ, закурилъ трубку и задумался.

— Созонтычъ, что ты не спишь?

— Ахъ, это ты, Кирюша! Не спится!

— Ты, братъ, ей-ей, не сердись на меня. Напали, и самъ не видалъ какъ...

— Полно тебѣ, Кирила Петровичъ. Послушай-ка, что я разскажу тебѣ.

— Что бы это такое?

Максиму Созонтычу не терпится. Ему хочется передать кому нибудь свою тайну, а кому же ее передать, какъ не Третинскому? Онъ умѣетъ беречь чужія тайны. И вотъ теперь Махиловъ передаетъ другу повѣсть своихъ любовныхъ похожденій и женатой жизни. Кирюша слушаетъ да дивуется.

Женатый семинаристъ — это дивно и въ Ч.....ѣ.

Наконецъ улеглись и эти собесѣдники. Померкъ послѣдній огонекъ, и на полѣ, въ тишинѣ глубокой ночи, чуть виднѣется полотно нѣкоторыхъ палатокъ.

Утро. Семинаристы купаются, пьютъ чай и курятъ махорку. На полѣ мирно и тихо. Пляска и пѣсни запрещены до обѣда. Часовъ въ десять семинаристы расходятся въ разныя стороны, къ роднымъ и знакомымъ, а кто имѣетъ кондиціи, отправляется давать уроки. Пѣвчіе расходятся обыкновенно по церквамъ. Май замѣчателенъ семинарскими концертами, которые разучиваются задолго до рекреаціи.

Чикадзе и Бѣдучевичъ тоже отправляются куда-то. Послушаемъ, что они говорятъ.

— Да, да; я самъ вчера слышалъ. Видишь, я лежу въ канавѣ — выпилъ да туда и завалился, да и заснулъ. Вотъ въ просонкѣ и слышу, что разговариваютъ. Я навострилъ уши и слышу...

—Ладно, что же десять разъ повторять одно и то же?

— Ну, теперь онъ въ нашихъ рукахъ.

— Только смотри, начнемъ, такъ не пятиться, а то вчера всѣ разбѣжались.

— Въ числѣ ихъ и ты.

— И ты! по-неволѣ, когда одного оставили.

— Ну, да ладно; дѣло въ томъ, что Махиловъ въ нашихъ рукахъ. Недавно крестилъ, а теперь его окрестимъ.

Такимъ образомъ враги Махилова узнали его тайну и рѣшились не давать ему пощады.

Что-то будетъ!

. . . . . .

1855.

ДАНИЛУШКА.

(психологическій очеркъ).

Было время, когда многіе у насъ на Руси не имѣли фамилій; для многихъ эта роскошь пріобрѣтена послѣ. Иванъ сынъ Ѳедотовъ или сынъ Антоновъ, сынъ Васильевъ — и довольно. Развѣ только сосѣди или товарищи дадутъ прозвище, и это прозвище носитъ получившій, носятъ дѣти его, внуки и т. д. и потомъ Корова, или Свинтухъ, или Полосуха и проч. превращается въ Коровина, Свинтухина, Полосухина. Такъ и нашъ Иванъ Иванычъ не имѣлъ фамиліи.

Иванъ Иванычъ былъ дьячекъ богатаго приволжскаго села К. Поживалъ онъ отлично, не хуже иного дьякона, потому что рублей триста ассигнаціями было у него доходу, была землишка подъ садомъ, были неводки. Жена его, Татьяна Карповна, ткала знатныя полотна и вязала вареги, копила творогъ, и это давало доходу рублей на полтораста въ годъ. Были и частныя занятія у Ивана Иваныча: онъ читалъ псалтирь по

покойникѣ у помѣщика Степановича, училъ букварю двухъ дворовыхъ людей, доставалъ иногда переписку изъ сосѣдняго города и бралъ по десяти копѣекъ за листъ; кромѣ того онъ мастеръ былъ рѣзать изъ мѣди и кипариса крестики, четки, образа, деревянныя ложки, уховертки, зубочистки и другія мелкія издѣлія. Однимъ словомъ, Иванъ сынъ Ивановъ стоилъ бы права имѣть фамилію, чтобы и въ потомствѣ не забыли его. Онъ былъ дьячекъ, право, лучше иного дьякона, даже и такого, у котораго толстый басъ. Талантовъ у него было много. Всему онъ научился самъ. Хозяйство у него исправнѣйшее.

Онъ любитъ почитать и книжку, только самаго серьезнаго содержанія и церковной печати: наприм. Четьи-Минею, Святцы, Библію и т. п. Въ церкви онъ читалъ, какъ и всѣ дьячки читаютъ: скребъ себѣ октавою, такъ что, когда приходилось произносить «Господи помилуй» 40 разъ, у него выходило: «помилосты, помилосты»; но дома онъ читалъ съ чувствомъ, съ разстановкой, даже съ толкомъ. Такой идеальный дьячекъ жилъ еще въ тѣ времена, когда дьячки носили косы и бороды, — то и другое у него было, но причесано; сюртукъ длинный, шаровары въ сапоги, шапка съ широкимъ козырькомъ, что очень шло къ его фигурѣ. Помѣщики его любили, священникъ не могъ нахвалиться имъ, а прихожане считали его за авторитетъ не только по хозяйственной, но и по другимъ частямъ.

Жена и дѣти Ивана Иванова жили въ страхѣ Божіемъ. Хотя нашъ Иванъ Ивановъ и придерживался того убѣжденія, что жена — слабый, немощный сосудъ, и такой сосудъ, который снаружи красивъ, а внутри полонъ скверны и нечистоты, — все-таки онъ любилъ

жену, — не романически, конечно, а по христіански, какъ заповѣдали святые Отцы. Съ дѣтьми онъ разговаривалъ мало, отвѣчая имъ резонно, коротко и ясно. Изрѣдка только онъ позволялъ себѣ поболтать съ ними, позволялъ имъ хохотать и карабкаться къ нему на шею; — и странно, дѣти, имѣвшіе къ нему какой-то страхъ, въ этихъ случаяхъ были свободны и, не стѣсняясь, пихали пальцы свои ему въ ротъ и носъ, теребили за бороду и жидкія косички. Но лишь только произнесетъ отецъ: Довольно! — сразу оставляли его. Онъ былъ убѣжденъ, что ребенка, хотя разъ въ мѣсяцъ, слѣдуетъ вспарить, но, имѣя мягкую натуру, онъ парилъ ихъ рѣдко, за что не мало претерпѣвалъ мученій совѣсти.

— Эхъ, избалую я дѣтей! говорилъ онъ, вздыхая,— Ну, да что жъ ты станешь дѣлать. Станешь сѣчь — имъ больно, а мнѣ и еще того больнѣй. Не могу.

Но и на него иногда находилъ часъ грѣха. Начнетъ онъ бродить по комнатѣ, — бродитъ день, другой, не ѣстъ, не пьетъ, не говоритъ ни съ кѣмъ, и все точно перемогается. Наконецъ скажетъ... «Нѣтъ, грѣхъ ужь видно такой!» и чрезъ полчаса является пьянъ-пьянехонекъ, и лыкомъ не вяжетъ авторитетъ села К. Однако, пьяный онъ никогда не шумитъ, сидитъ молча, подгорюнившись, и ничто не заставитъ его говорить. На другой день онъ опять начинаетъ старую, трезвую и разумную жизнь, какъ будто вчера ничего не случилось, а жена и не намекнетъ ему о вчерашнемъ. У ней есть такое убѣжденіе — «не спрашивай: пьетъ или нѣтъ; кто не пьетъ нынѣ? ты смотри, какой онъ во хмѣлю». Ну, а Иванъ Ивановъ былъ хорошъ во хмѣлю.

У Ивана Иванова былъ сынъ Андрюша, сынъ Петюша, сынъ Данилушка и дочь Анна. Знатная Анна была у него. Ну, да не о ней дѣло. — Хороши были и братцы ея, да и не о нихъ собственно дѣло. Дѣло о Данилушкѣ.

Данилушка былъ мальчикъ очень бойкій. Онъ былъ любимецъ матери. Названье: «матушкинъ сынокъ» употребляется въ двухъ смыслахъ: матушкинъ баловень, и матушкинъ любимецъ. Замѣчаютъ вообще, что маменькинъ сынокъ и маменькина дочка вообще бываютъ счастливы и умны. Былъ ли Данилушка счастливъ, это увидимъ послѣ. Но умъ его и разные способности и таланты уже обнаруживались въ его натурѣ даже теперь. Таже разносторонность, таже способность ко всему, какъ и у отца: сдѣлать ли корабликъ, съ лихимъ хлыстомъ удочку, запустить съ разными невиданными белендрясами и трещетками змѣя, однимъ обломкомъ ножа сдѣлать лукъ и стрѣлы — это для него ничего не значило: все легко было для него. Мало того, что онъ, бывало, перейметъ что нибудь, онъ всегда пойдетъ далѣе, сдѣлаетъ дополненія, измѣненія, улучшенія. Многое изобрѣлъ онъ даже самъ. Напримѣръ, онъ устроилъ между стѣной сарая палку, перехватилъ ее веревкой, двинулъ веревку — валъ пришелъ въ дѣйствіе со скрипомъ и трескомъ; это потѣшало Данилу. Но вотъ онъ дотронулся до конца палки: она была горяча. «Это отчего?» запало ему въ голову. «Горячо бываетъ отъ огня! Подожди же!»

Онъ позвалъ братьевъ, сплелъ изъ мочала толстую веревку, чтобы она могла перенесть сильнѣйшее треніе и вотъ началась работа. Старшіе братья спрашивали: что изъ этого будетъ.

— А вотъ увидите! отвѣчалъ Данилушка; послѣ быстраго, усиленнаго тренія, концы палки издали дымъ, а потомъ вспыхнулъ и огонь. Дѣти вскрикнули отъ удивленія.

Удивительно былъ изобрѣтательный мальчикъ этотъ Данилушка. Самъ онъ выдумалъ тенета для птицы. Однажды онъ забрался на чердакъ и бросилъ въ слуховое окно птичьи перушки и пухъ. Только вдругъ стрижъ, на полъ-аршина отъ его носу, схватилъ перо и унесъ. Это понравилось Данилушкѣ. Онъ сталъ продолжать забаву. Другой стрижъ сдѣлалъ то же, третій, четвертый. Хорошо. Этотъ случай такъ и прошелъ. Но Данилушкѣ запало въ голову, какъ бы это на пухѣ поймать стрижа. Пробовалъ бросать пухъ, поджидать стрижа, а сзади и метнетъ камнемъ. Нѣтъ, не выходитъ. На нитку привяжетъ перо и думаетъ: «пушу, какъ онъ хватитъ, я и дерну, авось либо упадетъ на полъ»; но птица боится нитки, да и перо трудно летаетъ. Пыталъ, пыталъ, да и бросилъ это дѣло. Однажды онъ навязалъ на бичевочку камень и пускалъ въ видѣ кометы въ воздухъ, съ крикомъ и хохотомъ. Когда надоѣла ему игра, онъ ударилъ камнемъ объ колъ, желая оборвать или раздробить его, но камень залетѣлъ далѣе, ударилась веревка, обвилась около кола, да такъ и захлестнулась... Вдругъ Данило остановился! Это поразило его! Нѣтъ, не поразило, а духъ изобрѣтательности именно послалъ ему вдохновеніе. Мгновенно, подобно молніи, пробѣжали въ головѣ его тысячи мыслей и выдумокъ, и онъ вскричалъ: «А! теперь я поймаю стрижа». Онъ, увидѣвъ братьевъ, увѣрялъ ихъ, что поймаетъ руками этого стрижа, который летитъ стрѣлой по улицѣ и полю, и вьется надъ Волгой, который

не боится ни ястреба, ни человѣка, который такъ досадно смѣлъ, что между ногъ мчится... Братья смѣялись надъ нимъ, разболтали матери, мать сказала Ивану Иванову, и за ужиномъ всѣ потѣшались надъ Даниломъ, который сбирался поймать руками стрижа.

— Да, ты бъ и стерлядей наловилъ намъ руками, говорилъ дьячекъ. Эхъ, Данило, тебя пороть надо!

— А что если, тятька, я поймаю? что тогда? Тогда ты, тятька, для удища крюкъ подари, да два гроша.

— А если не поймаешь?

— Тогда, тятька, вихры натряси!

— А зачѣмъ тебѣ два гроша?

— Я куплю долото...

— Хе, хе, хе. Да никакъ тебя, братъ, Данило, и вправду пороть надо, парить надо!.. На два гроша долото хочетъ купить...

— Да что жъ? Старостинъ сынишка продаетъ стамеску...

— Ну, ладно, хорошо. Пусть уговоръ будетъ. А когда жъ поймаешь?

— Завтра поймаю.

— Хорошо...

Настала тихая волжская ночь, поднялись туманы выше нагорнаго берега, легко плещется рѣка, а въ тиши ночи дуетъ пѣсню стоголосый соловей!.. Спитъ нашъ изобрѣтатель...

Поутру Данило вбѣжалъ, раскраснѣвшись, въ избу; глазенки его бѣгали, дышалъ онъ сильно,—жизнь играла во всей фигуркѣ его коренастенькой, здоровенькой, развившейся на деревенскомъ воздухѣ. Онъ трепеталъ весь отъ восторгу.

— Мать, братья, сюда!

— Что?

— Смотрите! и онъ выпустилъ изъ рукъ стрижа.

Озадачило всѣхъ это! Поднялись распросы, толки, смѣхъ, — одинъ стрижъ бился съ разлета грудью въ стекло, такъ что оно звенѣло...

— Ну, Данило, драть тебя надо; ахъ, ты пузырь мой, чумича моя; ладожская, братъ, у тебя душа! Вотъ тебѣ десять копѣекъ, а не два гроша. Танюша, а? Чмокни-ко ты меня, а?

— Ну, старый, чмокни тебя средь бѣлаго дня! Ишь что выдумалъ. Право!..

— Да, ты повѣрь, выйдетъ изъ Данилы толкъ. Башка онъ будетъ!

— Все жъ десять копѣекъ деньги, ворчала дьячиха...

— Но какъ же ты поймалъ? спросилъ дьячекъ.

Данило объяснилъ. Онъ досталъ нитку, навязалъ на него камешекъ съ горошинку, а къ другому концу привязалъ перо и пустилъ по воздуху; стрижъ съ разлету схватилъ его; камень отлетѣлъ въ сторону, сдѣлалъ кругъ въ воздухѣ, обмоталъ птицу и связалъ ее по крыльямъ; птица шарахнулась наземь; оставалось брать ее руками...

Такіе подвиги пріобрѣтали Данилушкѣ полное вниманіе со стороны семьи. Имъ гордилось семейство. Но странно, на долю Данилкѣ доставалось много подарковъ, ласкъ, похвалъ и разныхъ удовольствій, но и много колотушекъ, щипковъ, брани, и сѣченъ онъ бывалъ иногда не одинъ законный разъ въ мѣсяцъ. Это понять просто. Онъ былъ неспокойный ребенокъ. Бывало, привяжется къ матери, а не то къ отцу, — не отстать, да и только...

Разъ онъ прочиталъ, что царь Саулъ разрубилъ коровъ на части и разослалъ ихъ по царству.

— Тятька...

— Что тебѣ, каналья?..

— Да вѣдь это смѣшно, тятька.

— Что такое?

— Да зачѣмъ Саулъ коровъ-то зарубилъ?

— Какихъ такихъ коровъ?

— Вѣдь онъ зарубилъ коровъ-то.

— А да; это значитъ, что кто не пойдетъ на войну, у того я стада порублю...

— Да какъ же это говядину разсылали по царству?

— Охъ, Данилко, пороть тебя надо: съ послами царь разослалъ.

— Ну, да, съ послами, говядину-то...

— Молчи, Данилко, не кощунствуй...

— Чего, молчи! Вѣдь этого никогда не бываетъ.

— Охъ, ты озарникъ этакой! Стой-ка! Ну-ка, это что? Это каково? А! Ну-ка, я вотъ лозой-то по этому мѣсту; ну-ка, я тебя съ затылка попробую...

Это дьячекъ отдѣлывалъ своего сынка; сынокъ верещалъ и вопилъ на всѣ лады. Тутъ прибѣгала дьячиха, отнимала сына и бранила своего супруга. Но у супруга, право, было доброе сердце. Онъ, по теоріи, убѣжденъ былъ въ необходимости пороть чадо; но это ему всегда тяжело самому обходилось.

Что ни говорите, а розги всегда имѣютъ свою силу. Ребенку надо имѣть много природнаго характера, чтобы смѣяться надъ розгой. Иной ученикъ говоритъ: «не рѣпу сѣять» — это значитъ онъ отерпѣлъ, околотился. Но вѣдь Данилку разъ сѣлки въ мѣсяцъ. Тутъ отерпѣться трудно. Вотъ я зналъ одного дьячка, котораго

однажды въ молодости высѣкли въ одинъ день двѣнадцать разъ,—ну, тому ничего!

Такъ розги очень огорчали Данилушку. Мамка суетъ ему блинка, называетъ его соколомъ; блинокъ Данилушка съ размаху влѣпитъ въ стѣну, а самъ ляжетъ на брюхо и молчитъ. И весь тотъ день онъ капризничаетъ. Все не по нему. Съ братьями разсорится, станетъ надъ ними смѣяться, да такъ задѣнетъ самолюбіе, что и тѣ его поколотятъ... За обѣдомъ сидитъ—надуется; забудутъ ему дать кусокъ какой, онъ самъ не попроситъ, но очень живо вообразитъ, что ему нарочно не даютъ.

— Что-жъ ты, Данилка, не ѣшь?

Молчитъ Данилка.

— А? Ну же говори!

Данилка надуется еще пуще.

— Ну, поѣшь, голубчикъ!

Вотъ, какъ скажутъ ему «голубчикъ», ему и станетъ подступать къ горлу. Насупится Данило, но не заплачетъ, потому что совѣстно заплакать. И вотъ вѣдь сѣкли парня, а выросталъ себѣ — пока ничего. Какъ же это розги отъ него отскакивали? Отчего онѣ не производили потрясающаго дѣйствія, какъ на нѣкоторыя натуры? Отчего онъ не грубѣлъ подъ лозами? А это ужь складъ натуры такой. Вообще, пора убѣдиться, что ребенокъ, котораго не исправляютъ розги, имѣетъ натуру сильную, здоровую, что такое дитя обѣщаетъ многое, не смотря на всѣ его шалости и упрямства; потому что это — намекъ на то, что для такой натуры сильно только нравственное возбужденіе, что онъ можетъ дѣйствовать только по высшимъ причинамъ, а не по страху...

Иногда отецъ бывалъ не въ духѣ, и тогда онъ ко всему придирался.

— Ты шапку-то гдѣ взялъ? спрашиваетъ онъ сердито у Данилушки.

Данилка молча вѣситъ ее на гвоздь.

— А зачѣмъ козыремъ къ верху.

Отецъ сознаетъ, что слѣдовало бы высѣчь Данилку, но ему и жалко его, и является въ душѣ Ивана Иванова смѣсь и бореніе разныхъ чувствъ: и грусти и досады, и недовольства, и даже совѣстно ему, хотя и самъ онъ понять не можетъ, чего-же ему совѣстно. Все его безпокоитъ, все раздражаетъ, и вотъ, придираясь къ старшему сынишкѣ, Петькѣ, онъ доводитъ его до того, что Петька грубитъ, и отецъ паритъ Петьку... Послѣ этого, тѣже чувства недовольства и безпокойства поднимаются еще градусомъ выше. Отецъ грозитъ лозой и на Анну: но Анну спрятала мать. Тогда запищалъ двухлѣтній Андрей, но... о, Господи!—отецъ и Андрейку паритъ. Тутъ является мать, начинаетъ ругать мужа, назоветъ его, забывая страхъ Божій, и лысымъ дуракомъ, и другимъ разумнымъ словомъ наставитъ... Супругу свою отецъ ужъ не паритъ.

Въ этомъ отношеніи и семейные порядки были странные. Въ минуты нерасположенія, толкъ и правда въ семьѣ были иные: позволенное запрещалось; умное прежде—теперь становилось глупымъ, негоднымъ; за что отецъ самъ иногда, въ добромъ духѣ, подхваливалъ, — за то теперь слѣдовали розги и казни. Благосостояніе и спокойствіе семьи зависѣло отъ того, какъ настроенъ отецъ, который всегда любилъ на комъ нибудь сорвать свой гнѣвъ; у него ужъ такая была нату-

OF THE UNIVERSITY

ра, что непремѣнно выражалась и въ лицѣ, и въ словѣ, и въ дѣлѣ.

— Поди ты прочь, что торчишь тутъ, — вдругъ ни съ того ни съ сего скажетъ отецъ. Это ужь такъ и знайте, что онъ либо не доспалъ, либо сосѣдъ съ нимъ въ чемъ нибудь не поладилъ, лошадь не здорова, или пасмурный день произвелъ дурное впечатлѣніе. Случалось, напр., что у Ивана Ивановича выходилъ весь табакъ; понюхать страшно хочется, а надо ждать до утра, — тоска такая нападетъ; или, напр., голодный онъ всегда бывалъ сердитъ.

— Да поди ты прочь, каналья, кричитъ онъ съ голоду на Данилку.

Данилка отходитъ къ окну и начинаетъ скрипѣть гвоздемъ по стеклу. Отецъ бѣсится.

— Ахъ ты, лѣшій! говоритъ онъ...

Ужь тутъ такъ и знайте, что дойдетъ до порки.

И порка давно царитъ въ семьѣ, какъ необходимое педагогическое средство. Анну отецъ началъ парить на седьмомъ году, Данилу на пятомъ, Петруху на третьемъ, а Андрейку не пожалѣлъ и на второмъ. Причина этому единственно заключалась въ томъ, что, по мѣрѣ умноженія семейства, присмотръ дѣлался сложнѣе и затруднительнѣе, и розга употреблялась чаще и чаще, какъ средство вспомогательное и болѣе хозяйственное въ педагогическомъ отношеніи. Объяснять ребенку, что худо и почему худо, — долго, — ну, а посѣкъ, онъ и не будетъ дѣлать ничего нехорошаго.

Условія, въ которыя поставленъ человѣкъ, чѣмъ запутаннѣе, сбивчивѣе, противорѣчивѣе, тѣмъ труднѣе человѣку саморазвиться правильно. Данило былъ

ребенокъ умный; онъ, встрѣчаясь постоянно съ противорѣчіями со стороны старшихъ, привыкъ полагаться на самого себя и свое рѣшеніе считать послѣднимъ. Ребенокъ чувствовалъ, что его сѣкутъ не за то собственно, что онъ повѣсилъ шапку козырькомъ вверхъ, а за то, что лошадь нездорова и батька сердитъ. Онъ не могъ опредѣленно выразить свои ощущенія, но чувствовалъ, что отцовское «хочу такъ!» часто не имѣетъ основанія, и увлекался не тѣмъ, чего отецъ хотѣлъ, а воспитывалъ и въ себѣ тоже свое «хочу такъ!» Отецъ часто недоумѣвалъ, что за упорство у Данилки, въ кого онъ только выдался; а очевидно, что Данило у него же и учился упорству, поддаваясь нравственному вліянію не сѣченій и наставленій, а вліянію его поступковъ: Данилка инстиктивно ростилъ въ себѣ свое маленькое, ребячье «хочу!» и если отцу приходилось, въ недобромъ расположеніи, придраться къ Данилѣ, то всегда повторялось явленіе, подобное тому, какое описали мы выше. Но еслибы въ его семействѣ было полное отреченіе правъ дитяти, что сталось бы съ Данилою? Изъ него либо вышло забитое, несчастное существо, автоматъ, дурачекъ, розиня и плакса, либо просто страшно-бѣснующійся негодяй.

Но не одна тѣнь была въ жизни Данилы; въ ней былъ и свѣтъ, и добрая сторона въ семействѣ чаще преобладала надъ безпорядкомъ; крикъ и неудовольствія раздавались не такъ часто, какъ смѣхъ и радостный говоръ.

Данилѣ одиннадцать лѣтъ. Онъ мальчикъ крѣпкій, здоровый и коренастый; его воспитали нашъ сельскій воздухъ, здоровая пища, свобода и приволье деревенское; лѣтомъ подпекло солнце, зимой отполировалъ морозъ. Въ немъ уже обнаруживается та же способность ко всякому дѣлу, какая была и у отца, и то же обиліе талантовъ.

Онъ не только гулялъ да изобрѣталъ разныя хитрыя штуки: онъ былъ полезнымъ членомъ въ семьѣ. Учился по книгѣ онъ зимою, больше учился изъ жизни и природы. Ребенокъ все видѣлъ, что совершалось въ его средѣ, во многія входилъ разсужденія, многимъ завѣдывалъ. Въ быту другихъ дѣтей, жизнь взрослаго рѣзко отличается отъ ихъ жизни: тамъ возрасты менѣе соприкасаются въ занятіяхъ и дитя рѣдко выходитъ изъ сферы игрушекъ и учебниковъ, начиная жить полною жизнью только по окончаніи курса, по выходѣ изъ школы. А здѣсь дитя живетъ и до училища: сводить ли на водопой лошадь, помочь отцу около дома, въ огородѣ, и въ саду, и въ рыбныхъ промыслахъ, поняньчить маленькаго брата, пѣть съ отцомъ на крилосѣ — все это поручалось Данилѣ, по мѣрѣ дѣтскихъ силъ. И все это развивало въ Данилѣ практичность и ясность взгляда.

Въ свободное время онъ отправлялся въ лѣсъ, чрезъ рвы и болота путешествовалъ; легкая лодчонка уносила его съ бѣднымъ завтракомъ на цѣлый день. Данило ловко уже владѣетъ веслами, заправилъ онъ въ камыши, пустилъ съ длинныхъ хлыстовъ лѣсы и замеръ въ ожиданіи: скоро ль поплавокъ нырнетъ въ воду. Родители не боятся, что ихъ дѣти могутъ потонуть. Здѣсь

дитя свободнѣе, самостоятельнѣе, и это лучшая сторона въ его воспитаніи.

— Гдѣ ты до сихъ поръ болтался, Данилко?

— А въ Деурино ходилъ.

А Деурино-то пятнадцать верстъ отъ дому. Данилѣ давно хотѣлось обслѣдовать всѣ окрестности. Онъ знаетъ, гдѣ ростутъ самые лучшіе грибы и смородина, и яблоки, и разная ягода, и орѣхъ; знаетъ, гдѣ въ болотахъ самые высокіе султаны, на Волгѣ самые густые камыши; видалъ онъ и могилку некрещеннаго сынишки старосты, и овраги, и окрестные ручьи; на кладбищѣ знаетъ всѣхъ покойниковъ за пять лѣтъ, на память помнитъ всѣ надписи на плитахъ и крестахъ; на лодкѣ на дальное пространство изъѣздилъ Волгу и къ верху, и къ низу. Мастеръ онъ былъ отыскивать дикихъ пчелъ, зналъ отличныя мѣста для уженія въ рѣкѣ. Онъ былъ неутомимый ходокъ. Вслушивался онъ, гуляя по лѣсамъ, въ голоса птицъ, зналъ и дятла, и ястреба, и синицу, слыхивалъ соловья и заслушивался его цѣлыя ночи. Его дѣтскій крикъ и пѣсня спугивали въ соснахъ сѣраго рябчика и тетерку; видѣлъ онъ, какъ съ полей поднимались стада журавлей и лебединые полки. Онъ засиживался по цѣлымъ часамъ надъ муравейникомъ, наблюдая муравьиные хлопоты и работы, походы и битвы, порядокъ и управленіе...

Понятно, каково было Данилѣ, свободному, какъ воздухъ, свѣжему, здоровому, сильному и умному ребенку, подчиниться капризу отца и розгѣ. Его щеки запеклись отъ загара, голова позолочена солнцемъ, грудь воспитана въ еловыхъ и липовыхъ лѣсахъ, тѣло выросло изъ сельской пищи, бродячая жизнь укрѣпила его, развила наблюдательность и умъ. Да, это счастли-

вая сторона его воспитанія; потомъ уже никакой учебникъ, никакая ботаника и зоологія не научатъ тому, что онъ теперь въ одинъ день замѣтитъ въ лѣсахъ и на водахъ. А потянутся по Волгѣ барки, какихъ не наглядится онъ лицъ, какихъ ни увидитъ товаровъ! Не выѣзжая изъ деревни, онъ зналъ больше всякаго городского мальчика, окруженнаго нѣжными гувернатками, учебниками, глобусами, картинами и другими лицами и препаратами воспитанія. Но ни одинъ городской мальчикъ не видывалъ картины такой, какія видывалъ Данило. Никому учебникъ не говорилъ такъ много, какъ Данилѣ говорила мать-природа. Да онъ и самъ былъ дитя природы. Ему не преподавали по рецептамъ изучать сначала ариѳметику и грамматику, потомъ средне-учебныя науки. Онъ всему учился сразу—и логика, и практическая философія, и языки, и вѣра, и сельское хозяйство, и географія на тридцать верстъ въ окружности, и право, на сколько оно извѣстно въ деревнѣ—все ему извѣстно — все онъ черпаетъ не изъ мертвыхъ книгъ, а прямо изъ жизни, изъ природы. И зато на вѣки останется въ сердцѣ его все, что онъ почерпнулъ изъ этого естественнаго источника.

Но какъ жалко Данилу, что его жизнь стѣснялась дома, что эту силу и здоровье, почерпнутыя изъ природы, направляли къ упорству.

Безаппеляціонное «хочу» и недоброе расположеніе духа не всегда однако царствовали въ семьѣ дьячка. Вотъ глубокая осень. Отецъ обошелъ свои гумна и нашелъ, что всего-то у него вдоволь. Онъ радъ и спокоенъ. Данило принесъ первую клюкву. Кипитъ самоваръ на столѣ. Анна качаетъ люльку; мать стучитъ спицами; Петруха мастеритъ какую-то штуку доло-

томъ; отецъ добылъ Четьи-Минею и начинаетъ читать о Георгіи Побѣдоносцѣ и св. великомученицѣ Варварѣ. Бываютъ во всякомъ болѣе или менѣе добромъ семействѣ тихіе, мирные вечера, когда въ воздухѣ вѣетъ благодать и кротость; всѣхъ посѣтило легкое расположеніе, нѣтъ ни хохоту, ни крику дѣтскаго. Это не счастье, которое волнуетъ кровь, это чудные часы жизни, послѣ которыхъ не остается ни утомленія, ни пустоты въ душѣ, это—поэзія семейной жизни! Въ такія минуты ребенокъ, утомившись игрой, положитъ голову на руку; взоръ его углубленъ, и не угадать, сознаетъ ли онъ себя, или не сознаетъ. Самоваръ шумитъ и свиститъ, раздается мѣрная октава Ивана Иванова, Данило, забравшись въ уголъ, слушаетъ сказанія о великихъ чудотворцахъ. У него замираетъ сердце и, въ патетическихъ мѣстахъ, дрожитъ слеза на рѣсницѣ, и потомъ долго мечтается ему о такой святой и блаженной жизни, и представляется уже ему, что вотъ и его ведутъ къ Деоклитіану, и онъ читаетъ «Вѣрую», и проводятъ его чрезъ всѣ роды казней и мученій, и мечтается ему, что онъ все это перенесетъ, и переможетъ, и будетъ святымъ.

Славныя мѣста есть на Волгѣ для уженья рыбы. Данило и всѣ старшіе братья Данилы обнаруживали въ себѣ охотниковъ страстныхъ. Рыболовство — была ихъ страстью. Легкая лодчонка уносила ребятъ съ хлыстами на цѣлый день, и родители не боялись, что ихъ дѣти могутъ потонуть. Въ этомъ сословіи не балуютъ дѣтей. Посмотрите: мальченка семи лѣтъ верхомъ на

лошади отправляется за 8 верстъ въ кабакъ. Здѣсь съ бреднемъ ловятъ дѣвчонки щукъ у берега; четверо босоногихъ, въ однѣхъ рубашонкахъ, двухъ-лѣтнихъ и трехъ-лѣтнихъ дѣтей ползаютъ на самой дорогѣ,—измазались они и набили ротъ пескомъ. Петюшка, сынишка старосты, одинъ ходитъ по лѣсамъ, не боясь заблудиться; вонъ мальчуга забрался на ворота и выдѣлываетъ тамъ разныя штуки; отецъ ему только сказалъ: «Сашка, оборвешься!» и пошелъ далѣе... Свобода полная процвѣтаетъ въ этомъ сословіи.

Знатно проводили время на Волгѣ братья Ивановы. Данилѣ и во время охоты, и дома, послѣ охоты, когда кроватка качалась подъ нимъ, какъ лодка, въ глазахъ рябѣли волны, изъ за никапа выглядывалъ кустъ или барка, и постоянно поплавокъ нырялъ въ воду, — вездѣ мерещилась охота въ большомъ размѣрѣ. «Вотъ еслибы наловить рыбы, продать ее, да накупить удочекъ, можно бы много наловить рыбы», думалъ онъ. Но пуще всего ему хотѣлось половить ночью, о чемъ онъ просилъ отца и что ему было строго запрещено.... Но что западетъ въ голову Данилѣ, того ничѣмъ, бывало, не выбьешь...

Братьевъ онъ давно сманивалъ на охоту ночную...

Разъ предпріятіе состоялось... Рѣшились уйдти безъ спросу. Въ одной комнатѣ съ ними спалъ отецъ; двери запирались на крѣпко, и потому рѣшено было уйдти въ окно. Примѣрно всѣ полегли... Данило чутко прислушивался къ тому, какъ засыпалъ отецъ. Вотъ раздалось его сапѣнье... Въ темномъ углу приподнялась голова Данилы...

— Братцы, вы лежите, а я приподниму окно, шепнулъ онъ.

Нужно было удивляться терпѣнію и осторожности Данилы. Онъ, по крайней мѣрѣ, четверть часа пробирался къ окну и не сводилъ глазъ съ отца. Посмотритъ на отца, на окно, потомъ на мѣсто, куда ступить, прислушивается къ одеждѣ своей.... Отецъ пошевельнулъ головой... Данило такъ и окаменѣлъ на мѣстѣ, даже самъ не чувствуетъ своего дыханія. Вотъ луна выплыла и облила полосами сквозь окно спальную... Андрюшу вдругъ дернуло гыкнуть — ему стало чего-то смѣшно.

— А когда такъ, сказалъ вслухъ, впрочемъ не громко, Данило,—такъ вотъ же вамъ!...

Онъ пошелъ смѣло, отодвинулъ окно и былъ таковъ. Отецъ только повернулся на другой бокъ. Немного погодя, и братья послѣдовали его примѣру. Ночь удалась. Рыбы наловили дѣти мало, но прекрасно провели ночь. Ранехонько возратились они домой, и никто не узналъ этого. Похожденія ночныя стали повторяться чаще и чаще... Наконецъ, они однажды были замѣчены. Страшно перепугались братья, когда отецъ ночью поймалъ Данилу въ самомъ окнѣ за чупрынъ. Ночью же была и расправа...

Но на другой день, странно, отецъ разсудилъ, отчего же не пустить ихъ ночью побаловаться, вѣдь не первый разъ, и ребятамъ была объявлена свобода.

Вскорѣ Данило сталъ замѣчать, что въ семьѣ съ нимъ начали обходиться какъ-то особенно. Мать, бывало, подойдетъ, погладитъ его по головѣ и вздохнетъ. Она никогда не цаловала своихъ дѣтей. Однажды онъ

на куралесилъ, и хоть не былъ паренъ уже мѣсяца два но и тутъ его не выпороли... Батька подарилъ ему два гроша въ воскресный день и сказалъ: «Смотри, братъ, копи денежку; можетъ, и пригодится». Данило спряталъ деньги; онъ носилъ ихъ въ сапогѣ, подъ ногой... Мать ему стала давать самую большую порцію за обѣдомъ и, когда братишки косились на это, она говорила имъ: «Ну, наѣдитесь еще! Данилушкѣ надо побольше!» Часто шептались родители между собою и смотрѣли въ то время на Данилу. Данило сталъ предчувствовать что-то не доброе. Не то, чтобы ребенокъ замѣтилъ и опредѣлилъ ясно и подробно всѣ перемѣны обхожденія; нѣтъ, а перемѣны сами давали себя чувствовать, и Данило, видя, что около него что-то не то, сталъ задумываться. Однако, если бъ его спросили, о чемъ онъ безпокоится, онъ самъ не сказалъ бы. Ему казалось, что ему — такъ что-то не ловко. Обстоятельства наконецъ стали опредѣляться.

— Что, Данилка? ты не боишься, плутъ, розогъ? а? жаль мнѣ тебя, Данилка, сказалъ дьячекъ, и замѣтно стало для Данилы, что отецъ не договариваетъ.

— Щи да каша—ѣда наша; въ щахъ силушка русская, а каша — подспорье ей. Пріучайся къ кашѣ. Не всегда будешь ѣсть, какъ дома кормятъ. А два гроша цѣлы?

— Цѣлы.

— Ну, вотъ тебѣ еще два,—пригодятся.

Данилушка молча взялъ деньги.

— Ничего, Данилушка, розги ничего, притерпишься, голубчикъ: не рѣпу сѣять...

— Да что ты, тятька, точно не договариваешь?

— Вишь ты въ училище хочетъ везти, такъ и не договариваетъ, вставила мать.

— Ну, что жь, Данило? Какъ ты полагаешь? а?

— Ну, въ бурсу, такъ въ бурсу...

— А парятъ тамъ, Данилко, чортъ ихъ поберя, знатно...

Данило и прежде зналъ, что ему придется въ училище ѣхать, и что оно отъ дому за триста верстъ, но ему представлялось, что это можетъ случиться не раньше, какъ черезъ сто лѣтъ; такія вещи, дескать, не сразу дѣлаются.

— А чѣмъ тамъ, тятька сѣкутъ?

— Розгами же, Данилко; только сѣчетъ-то солдатъ; одинъ сѣчетъ, да два держатъ: одинъ за ноги, да одинъ за голову... А то бывало и сѣкутъ-то двое... съ одной стороны, да съ другой стороны. Худая это штука, Данилко...

— Я убѣгу, тятька.

— Нѣтъ, не убѣжишь! Тамъ солдатъ стоитъ у воротъ.

— Такъ я съ дороги убѣгу.

— А куда жь съ дороги пойдешь?

— А въ разбойники!..

— Полно, Данило, отпорю.

— Ну да, отпорю...

— Ну, полно... На еще два гроша, на; копи деньгу, пригодится.

Насталъ памятный для Данилки четвертокъ, 17 число августа 1837 года... Въ избѣ была хлопотня. Съ

утра пекли и варили. Въ углу лежалъ узелокъ и халатикъ Данилы... Братишки были вымыты и одѣты по праздничному. Отецъ задумчиво ходилъ по комнатѣ. Данило лежалъ на лавкѣ внизъ брюхомъ и сердито плевалъ на полъ. Пришелъ священникъ и сталъ служить молебенъ Козьмѣ и Даміану безсребренникамъ. Данилѣ наконецъ страшно стало. Показалось ему, что соборуютъ его, а не просятъ Бога умудрить его, яко Соломона... Октава Ивана Иванова звучала глухо и уныло... Потомъ сѣли закусить. Отецъ Василій, благословивъ трапезу, сказалъ:

— Ну, дай Богъ твоему сынку счастье; а ты, Данило, учись, да слушайся старшихъ, — все будетъ хорошо, и самъ полюбишь науку, и умудритъ тебя Господь, и будешь большимъ человѣкомъ. Но, охо-хо, трудна наука, трудна. Молись, Данило, чаще Богу, все пронесетъ Онъ мимо тебя. Поди, благословлю я тебя.

Данило принялъ благословеніе батюшки.

— Ну, и я тебѣ скажу, сынокъ, кое-что: терпи, все терпи; вытерпишь, человѣкомъ будешь. А вытерпѣть надо—такая ужь участь. Больше я тебѣ ничего не скажу. Ну, мать, благослови сына, да и прощаться надо.

— Ахъ, ты, Данилушко, вотъ ты у насъ какой слабенькой, а тамъ тебя вконецъ ощиплютъ, окаянные. Прощай ты, мое красное солнышко!..

Мать причитала и плакала, — все шло по обычаю и формѣ. Помолились Богу, еще перецаловались, присѣли на лавки и, помолчавъ минутъ десять, всѣ поднялись.

— Ну, пойдемте на улицу!

На улицѣ опять перецаловались и простились. Тронулась лошаденка; мать перекрестила воздухъ; долго она стоитъ да креститъ, захлебываясь слезами. Отецъ

сѣлъ вмѣстѣ съ сыномъ. Дорога прямая, какъ лента... Долго виднѣется шапка дьячка... Но вотъ скрылся возокъ. Мать взвизгнула и оперлась на перило крыльца. Стонетъ она и надрывается. Андрюшка ухватился за подолъ и тоже реветъ... И есть, чему плакать, есть!..

1859.

ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ БУРСЫ.

(ОЧЕРКЪ ПЯТЫЙ).

Нѣсколько бурсачковъ, въ спальномъ корридорѣ, играли въ жмурки. Одинъ изъ нихъ, съ завязанными глазами и распростертыми руками, ловилъ товарищей. Игроки то дергали его за сюртукъ съ веселымъ смѣхомъ и шутками, то прятались отъ него по угламъ или тихо ходили около него на цыпочкахъ. Наводившій, по прозванію *Копчикъ*, бѣжалъ по направленію заслышанныхъ голосовъ. Но вдругъ стихло все, и Копчикъ встрѣтилъ на пути своемъ неожиданное препятствіе, ударившись головою во что-то мягкое, по ощущенію похожее на подушку, набитую хорошимъ пухомъ. Онъ схватилъ руками этотъ странный предметъ. По всѣмъ соображеніямъ, въ руки попался человѣкъ, но что за человѣкъ? — такого мягкаго, пузатаго, шарообразнаго не было среди играющихъ. Однако Копчикъ, не разобравъ, въ чемъ дѣло, радостно закричалъ:

— Ага, попался, голубчикъ!

Онъ сталъ ощупывать круглый предметъ, потому что въ жмуркахъ недостаточно только поймать кого нибудь, а слѣдуетъ еще угадать, кто пойманъ.... Но Копчикъ вдругъ услышалъ надъ собою грозный голосъ:

— Самъ попался, мерзавецъ!..

Голосъ былъ незнакомый.

— Кто это? спросилъ Копчикъ.

— Я это!

Копчикъ почувствовалъ, что въ его волоса вцѣпился какой-то звѣрь и теперь свирѣпо таскаетъ его. Онъ быстро сдернулъ съ глазъ повязку и диву дался: онъ увидѣлъ передъ собою какого-то человѣка, очень толстаго, круглаго и краснаго, въ корпусѣ котораго по крайней мѣрѣ двѣ трети пошло на пузо.

— Что вы? говорилъ изумленный Копчикъ.

— А вотъ что!

Незнакомецъ, оставивъ волоса Копчика, сталъ бить его по щекамъ сѣрыми, замшевыми перчатками...

— Ты не узналъ своего начальника, каналья?... Ты не узналъ его?... Такъ-то вы уважаете власти?

Онъ продолжалъ бить Копчика перчатками.

— Шапки долой! обратился онъ къ другимъ ученикамъ.

Тѣ машинально обнажили головы.

— По классамъ!.. живо!..

Бурсаки мгновенно изчезли. Новый же начальникъ отправился къ инспектору.

—Новый смотритель! раздалось по всему училищу...

Особенно сильное волненіе было во второуѣздномъ классѣ, самомъ вліятельномъ во всей бурсѣ.

— Копчика уже успѣлъ оттаскать, говорили въ кучкахъ.

— Жирный чортъ!

— Плѣшивый!

— Круглѣе шара!

— Жирнѣе сала!...

— Мягче воску!

— Легче пуху!

— Чище хрусталю!

Озлобленные бурсаки ругались и крѣпко острили.

— Вотъ еще чорта-то посадили на шею!

— А говорилъ я, братцы, началъ одинъ бурсакъ: — что лучше *Звѣздочета* намъ не дождаться начальника...

— Что же, Звѣздочетъ былъ, ей Богу, добрый человѣкъ!

Звѣздочетомъ называли смотрителя, который выходилъ въ отставку. О немъ мы рѣдко упоминали въ своихъ очеркахъ. Сила, сдерживающая грозный потокъ бурсацкой жизни, у насъ всегда являлась въ лицѣ инспектора. Такъ было и на дѣлѣ. Онъ рѣдко являлся въ классы, спальную или столовую; даже на дворѣ онъ показывался не часто, стараясь выходить изъ училища въ занятные часы. Онъ для бурсы былъ какимъ-то миѳомъ, высшимъ существомъ, которое таинственно правило судьбами бурсы, являясь ученикамъ большею частію въ образѣ инспектора и лично почти только что во время экзаменовъ. Среди учениковъ ходило много предразсудковъ и суевѣрій на счетъ этой таинственной силы. Его считали въ высшей степени ученымъ астрономомъ и математикомъ. Причиною тому было то обстоятельство, что Звѣздочетъ однажды, за нѣсколько дней, объявилъ своимъ воспитанникамъ, что такого-то числа, ночью, будетъ лунное затмѣніе, выбралъ изъ нихъ лучшихъ и вмѣстѣ съ ними наблюдалъ интересное явленіе, объясняя его своимъ слушателямъ, которые, разумѣется, ничего не поняли изъ его словъ, но это-то именно, главнымъ образомъ, и утвердило ихъ въ мысли о гро-

мадной учености смотрителя. Потомъ, ученики видали, какъ смотритель по ночамъ смотрѣлъ въ зрительную трубу на небо, а днемъ, закрывшись шторою, направлялъ ее на окна классовъ... «Нашъ смотритель — звѣздочетъ», говорили ученики, соединяя съ словомъ «звѣздочетъ» понятіе о недостижимой для простого смертнаго учености. Зрительная же трубка, направленная на классъ, производила трепетъ въ ученикахъ. Многіе серьезно были убѣждены, что Звѣздочетъ могъ видѣть все, что дѣлается въ классѣ, даже сквозь каменныя стѣны. «Есть такія трубки», говорили они. Были и такіе, которые думали, что есть инструменты, посредствомъ которыхъ можно даже слышать, кто и что говоритъ. Разумѣется, либералы бурсы, развившіеся до отрицанія шляющихся по ночамъ мертвецовъ, домовыхъ и чертей (не мало было и такихъ), смѣялись надъ всевидящими и слышащими препаратами, но тѣмъ не менѣе, и они вѣрили въ бездонную ученость Звѣздочета и, кромѣ того, невольно поддавались вліянію того таинственнаго страха, который распространялъ вокругъ ихъ Звѣздочетъ, какъ будто стараясь поддерживать этотъ страхъ. Являясь неожиданно, онъ всегда озадачивалъ учениковъ чѣмъ нибудь чрезвычайнымъ. Такъ, однажды растворилась дверь класса, въ ней показались служителя, несшіе черную доску, на доскѣ была изображена «слѣпая» карта Европы, т. е. безъ надписей горъ, рѣкъ, городовъ и проч., города обозначались мѣдными гвоздиками. Ученики въ жизнь свою не видали такого дива. Пришелъ и самъ Звѣздочетъ. Онъ сталъ спрашивать лучшихъ учениковъ по слѣпой картѣ. Ученики, какъ говорится въ бурсѣ, *ни въ зубъ толкнуть*. Тогда Звѣздочетъ сталъ объяснять имъ географію Рос-

сіи — *со всѣми замѣчаніями*, т. е. разсказывая, чѣмъ замѣчательна та или другая гора, озеро, мѣсто, тогда какъ бурсаки *жарили въ долбяжку* одну номенклатуру; но главное ихъ поразило, что онъ тотъ или другой гвоздикъ на доскѣ называлъ какимъ нибудь городомъ, всякую извивающуюся линію рѣкою и т. д. «Какъ это помнитъ онъ? Какъ не собьется?» Послѣ подобной штуки, Звѣздочетъ опять скрывался въ своемъ таинственномъ жилищѣ на долго... Все трепетало при его появленіи въ классъ. Ученики не запомнятъ случая, чтобы онъ, когда наказывалъ самъ (чрезвычайно рѣдко), давалъ болѣе десяти ударовъ (жестокія порки были дѣломъ инспектора), но его боялись несравненно болѣе, нежели инспектора. Эти десять ударовъ сопровождались обыкновенно-непроникаемою таинственностью. Онъ объявлялъ ученику какой нибудь его проступокъ, о которомъ никто не зналъ, кромѣ провинившагося, и притомъ проступокъ его всегда былъ серьезный, за который инспекторъ отодралъ бы до страшнаго кровопролитія, но тутъ имѣла силу уже не физическая боль, а именно то, что высѣкъ самъ смотритель. Откуда онъ все знаетъ? Бурсакамъ хорошо извѣстно было, что у него хранится страшная *черная* книга (упоминаемая нами въ первомъ очеркѣ), въ которую вносились всѣ преступленія учениковъ, и на основаніи которой составлялись аттестаты ихъ поведенія, но какъ наполнялась эта демонская книга, въ с[illegible]ю очередь клавшая темноту и мракъ на лицо Звѣздочета? Дуракамъ приходили въ голову зрительные и слуховые инструменты. Самые беззатылочные глупцы увѣряли, что Звѣздочетъ давно продалъ душу чорту, что онъ по звѣздамъ все знать можетъ, и считали его колдуномъ. Люди поумнѣе

подозрѣвали тутъ фискальство; но сколько ни слѣдили они за Звѣздочетомъ, какіе *пластыри* *) ни употребляли, — и признака, и тѣни фискальства не открыли: оно, какъ и розги, было въ рукахъ инспектора. Всѣ были въ недоумѣніи на счетъ этого обстоятельства. Все располагало къ тому, чтобы окружить таинственностію, мракомъ, чуть не чародѣйствомъ личность Звѣздочета. Жилъ онъ одинъ, сиромно, тихо, женщины никогда его не посѣщали. Во время экзамена бурсаки видѣли его окруженнаго другими начальниками, относящимися въ большинствѣ тоже съ какимъ-то страхомъ, и всѣ съ глубокимъ почтеніемъ... Ходили слухи, что и высшее начальство смотрѣло на него съ уваженіемъ и цѣнило его дѣятельность. Говорили, что онъ однажды предложилъ поднять на воздухъ зданіе духовной академіи и что поднялъ бы непремѣнно, только потребовалъ очень много денегъ; что англичане изобрѣли лодку, которая ходитъ подъ водой, и что, когда у нихъ дѣло не ладилось, они, услыхавъ о великой учености бурсацкаго Звѣздочета, пригласили его, — лодка пошла подъ водой. Таковъ былъ Звѣздочетъ по взгляду учениковъ. Онъ всегда былъ загадоченъ, таинствененъ, и существованіе его кончилось для бурсы какъ-то странно; пришелъ какой-то пузатый человѣкъ, оттрепалъ уче-

*) Когда бурсаки выслѣживали фискала, переносящаго всю скверную нечистоту бурсы въ уши начальника *по ночамъ*, чтобы скрыть свою подлую службу отъ товарищества, то они, между множествомъ средствъ, употребляли *пластырь чумозный*, который всегда можно было достать въ лазаретѣ. Пластырь кладется по лѣстницѣ, ведущей къ дверямъ начальника, и около его дверей. На другой день осматривали сапоги учениковъ и, если на подошвѣ ихъ находили улику, то обыкновенно вели себя, по отношенію къ нимъ, какъ къ несомнѣннымъ фискаламъ.

ника и объявилъ себя начальникомъ. Но что же это былъ въ самомъ дѣлѣ за человѣкъ, заключавшій въ себѣ высшую и таинственную силу бурсацкаго правленія? Не астрологъ же онъ былъ или алхимикъ, не колдунъ, не демонъ наконецъ? Ученики его, по окончаніи курса, узнали, что Звѣздочетъ, въ дѣйствительности, былъ очень обыкновенный смертный. Это былъ человѣкъ довольно образованный, хотя подводныхъ лодокъ и слуховыхъ инструментовъ и не думалъ изобрѣтать. Намъ кажется, всю таинственность его персоны очень просто объяснить. Въ описываемыя нами времена, при существовавшихъ нелѣпыхъ порядкахъ, трудно, часто невозможно было служить вполнѣ честно и гуманно. Мы объясняли не разъ, что бурсацкая наука и нравственность были до того анормальны, что безъ жестокостей онѣ не могли быть поддерживаемы въ бурсѣ. Звѣздочетъ же былъ человѣкъ добрый, и не могъ выносить ужасовъ бурсы; поэтому онъ среди ея уединился въ своей квартирѣ, предоставивъ все дѣло инспектору. Этого, разумѣется, не могли понять бурсаки. Значитъ, вся сила въ томъ, что Звѣздочетъ попалъ не на свое мѣсто, что онъ былъ человѣкъ безъ призванія, а не то, чтобы колдунъ или демонъ. Онъ старался какъ можно менѣе имѣть соприкосновенія къ бурсѣ. Вотъ почему онъ рѣдко выходилъ на сцену въ нашихъ очеркахъ, а всегда рѣшителемъ всѣхъ дѣлъ являлся инспекторъ.

Но и этотъ рѣшитель, сослуживецъ его, давно вышелъ въ отставку, еще ранѣе его. Подошли другія времена, настали иные нравы бурсы. Вмѣстѣ съ выходомъ стараго инспектора, по крайней мѣрѣ на половину уменьшились въ училищѣ спартанскія наказанія: бросили драть *подъ колоколомъ;* не заставляли держать кирпичъ въ поднятой рукѣ, стоя на колѣнахъ среди

двора, нерѣдко въ грязи; не ставили колѣнами на ребро парты, не относили на рогожкахъ жестоко сѣченныхъ учениковъ, начальство рѣже расшибало зубы и ломало ребра своимъ питомцамъ. И самая бурса измельчала и выродилась: прежде, по крайней мѣрѣ, на половину учениковъ было великовозрастныхъ, теперь ихъ осталось не болѣе десятой части. Бурса прогрессировала по своему . . . . . .

1863.

АНДРЕЙ ѲЕДОРЫЧЪ ЧЕБАНОВЪ.

(ИЗЪ РОМАНА «БРАТЪ И СЕСТРА»).

Андрей Ѳедорычъ Чебановъ «волею Зевеса былъ наслѣдникомъ всѣхъ своихъ родныхъ». Онъ владѣлъ, по крайней мѣрѣ, тысячью душъ. Лишь только стукнуло ему двадцать съ годомъ, срокъ гражданскаго совершеннолѣтія, какъ онъ сдѣлался обладателемъ огромныхъ помѣстій и земель. Но онъ получилъ свободу именно только въ двадцать съ годомъ, когда лишился отца и матери. До тѣхъ поръ его личность самостоятельно, самодѣятельно не проявлялась ничѣмъ. Не подумайте, что родители его были деспоты — ничуть не бывало; но онъ получилъ то странное, обезличивающее воспитаніе, которое встрѣчается только у русскихъ богатыхъ и такъ называемыхъ образованныхъ баръ. Онъ началъ говорить по русски только на двѣнадцатомъ году. Родился онъ за границей въ Италіи и прожилъ съ отцомъ и матерью тамъ до девяти лѣтъ... Элементарное образованіе онъ получилъ въ Германіи и Франціи, а потомъ въ Россіи, но все-таки отъ нѣмца и француза. Наконецъ, ему наняли дома въ учителя для русскаго языка одного кандидата университета, мѣщанскаго происхожденія, человѣка, прошедшаго

огнь и воду и исходившаго почти всю Русь пѣшкомъ: онъ изъ Вологды пришелъ въ Питеръ съ нѣсколькими пятаками въ карманѣ, тяжелымъ трудомъ добылъ ученую степень и теперь начиналъ пробивать себѣ дорогу въ свѣтѣ. Ученикъ и учитель никогда не могли понять другъ друга. Учителю, по фамиліи Лѣсникову, пришлось учить точно не мальчика, сына русскаго помѣщика, а какого-то космополита. Очевидно, требовалось долгихъ трудовъ, чтобы развить ребенка до пониманія духа родного народа и жизни. Андрюша не понималъ не только нашихъ сказокъ, пѣсенъ, преданій старины, но подчасъ и Пушкина съ Гоголемъ. Фразы, въ родѣ: «Русь страна варварская, дикая», или: «посмотрите на западѣ, какія тамъ учрежденія» и т. п., фразы, имѣющія значеніе въ устахъ людей, знающихъ и западъ, и родину, и, слѣдовательно, имѣющихъ основанія къ сравненіямъ, — въ его устахъ, разумѣется, не имѣли никакого смысла и звучали презрѣніемъ къ родинѣ... Учитель же его былъ не то, чтобы славянофилъ, а черезчуръ вѣрилъ въ народныя силы, и, будучи самъ мужицкій сынъ, вѣрилъ именно въ мужика. Отсюда уже между учителемъ и ученикомъ зародился тайный, глубоко зарытый въ душѣ антагонизмъ. Читали они разъ Гоголя. — «Да», сказалъ маленькій космополитъ, «русскій мужикъ любитъ въ затылкѣ почесать». — А отчего это? спросилъ учитель. Андрюша не зналъ, что сказать. — Неужели безъ причины? — «Да такъ», отвѣчалъ Андрюша. — Такъ ничего не бываетъ на свѣтѣ, ни въ жизни, ни въ природѣ. — Такъ отчего же нашъ мужикъ чешетъ въ затылкѣ? — А вотъ узнайте сами, доищитесь. — Андрюша, разумѣется, ничего не доискался. Тогда учитель объяснилъ ему: «мужикъ чешетъ затылокъ отъ того, что у него зудитъ въ немъ,

а зудитъ въ немъ отъ грязи, грязь набилась во время долгой и трудной работы. И французъ, и нѣмецъ, и англичанинъ», говорилъ онъ, «если поработаютъ нѣсколько часовъ на жарѣ и въ поту, будутъ непремѣнно чесать и затылокъ, и спину, и животъ... Если же мужикъ и послѣ бани чешется, то это у него уже въ привычку обратилось». Противъ такого аргумента ученикъ ничего не нашелся отвѣтить. Скажетъ, бывало, Андрюша: «нашъ мужикъ пьяница», — учитель начинаетъ доказывать, что англичане больше пьютъ, чѣмъ русскіе, а у французскихъ фабричныхъ даже семилѣтнія дѣти водку пьютъ. Скажетъ ли Андрюша, что нашъ мужикъ лѣнивъ, учитель показываетъ ему итальянскаго лаццарони... Если Андрюша ссылался на бѣдность, неопрятность и невѣжество русскаго простолюдина, учитель въ параллель ставилъ англійскаго фабричнаго, французскаго мелкаго поземельнаго владѣльца, глубокое невѣжество многихъ гражданъ той и другой страны, до того глубокое, что многіе изъ нихъ не понимаютъ, что такое «Богъ», потому что въ первый разъ слышатъ это имя. Онъ прямо ему говорилъ, что мужикъ нашъ отъ того бѣденъ, что онъ крѣпостной. И во всемъ такъ. Мы сказали, что Лѣсниковъ не былъ славянофилъ, но онъ всегда отстаивалъ передъ ученикомъ народъ, потому что его раздражало это легкомысленное, ни на чемъ не основанное, отношеніе къ нему Андрюши. «Вы узнайте народъ, тогда, пожалуй, браните его и хвалите западъ, а теперь вы не имѣете на то никакого права».

Ученикъ съ учителемъ рѣшительно не могли сойдтись.

Другая бѣда—это несовершеннолѣтній, отроческій либерализмъ и претензіи на политическія тенденціи.

Тутъ просто мальчикъ казался педагогу нестерпимымъ маленькимъ фатомъ, хотя этого и не было на дѣлѣ. Андрюша былъ фразеромъ, не подозрѣвая того, какъ люди и противоположнаго воспитанія бываютъ квасными патріотами въ дѣтствѣ, считая себя маленькими сынками отечества. Фраза въ дѣтствѣ не заключаетъ въ себѣ лжи, она заключаетъ въ себѣ искреннее чувство, только ложно направленное. Чебанову позволялось читать, что хочетъ, и онъ имѣлъ несчастіе читать политику и публицистику, въ которыхъ девятой части не понималъ, а десятую понималъ шиворотъ на выворотъ. Въ немъ развилось не то, чтобы страсть, а пристрастіе къ общественнымъ вопросамъ. Читая Крummахера и тому подобныхъ нелѣпыхъ писателей для дѣтей, онъ разсуждалъ о свободѣ, равенствѣ, судахъ, гласности и т. п. Онъ часто прерывалъ урокъ разными вопросами, не относящимися къ дѣлу. Словомъ, онъ былъ только по рожденію русскій, а въ космополитическомъ отношеніи у него былъ сумбуръ въ головѣ.

Съ одной стороны, совершенная оторванность отъ родины, родного языка, вѣры, обычаевъ и преданій въ самомъ впечатлительномъ возрастѣ, съ другой стороны, —преждевременная, непосильная работа надъ предметами вовсе не дѣтскими,—сильно смущали учителя, и онъ не разъ хотѣлъ прекратить кондиціи, теряя всякую надежду что нибудь сдѣлать изъ своего ученика. Но онъ замѣтилъ въ Андрюшѣ доброе, мягкое сердце, полную готовность понять его, внимательность и способность увлекаться, хотя и не былъ онъ усидчивъ, не было у него выдержанности и регулярности въ характерѣ. Лѣсниковъ рѣшился быть не только Андрюшинымъ учителемъ, но и воспитателемъ. Когда мальчикъ

освоился достаточно съ русскимъ языкомъ, Лѣсниковъ сталъ его водить на пашни, луга, въ лѣсъ, на озеро, заставлялъ его вникать въ крестьянскій бытъ, смотрѣть хороводы, слушать пѣсни и сказки. Это не совсѣмъ нравилось отцу. — Къ чему это? спрашивалъ онъ. — Не зная нисколько жизни народа русскаго, хотя одной какой нибудь мѣстности, нельзя знать и языка русскаго, — языкъ отраженіе народной жизни, отвѣчалъ Лѣсниковъ. — Отецъ соглашался, тѣмъ болѣе, что видѣлъ въ учителѣ безукоризненное усердіе; но всячески онъ, получивши самъ французское образованіе, не особенно заботился и наблюдалъ успѣхи сына по предметамъ Лѣсникова. Лѣсниковъ болѣе года добивался, чтобы отпустили ученика его вояжировать съ нимъ по Россіи, которую самъ зналъ хорошо, назначая на первый разъ путешествіе вдоль по всей Волгѣ. Онъ основательно доказывалъ, что гораздо благоразумнѣе малолѣтнихъ дѣтей ознакомить сначала съ родиной подъ руководствомъ опытнаго наставника, нежели шляться съ ними, безъ всякой пользы, по чужимъ землямъ; что, пріобрѣтши свѣдѣнія о своей землѣ, они, въ юношествѣ, отправятся за границу съ полной подготовкой къ дѣльному путешествію. Его слушали, соглашались съ нимъ, но все-таки Андрюша увидѣлъ Волгу только на 19 году, когда ѣхалъ въ университетъ. Во всякомъ случаѣ, Лѣсниковъ много принесъ пользы Андрюшѣ. Если бы не онъ, Богъ знаетъ, что бы и вышло изъ мальчика. Безпощадно анализируя его фразы, онъ спасъ его въ будущемъ отъ привычки лгать. Но перевоспитать своего ученика окончательно онъ все-таки не могъ: черезчуръ сильно было вліяніе прежнихъ годовъ. Воспитателями, равно какъ и учителями по всѣмъ другимъ предметамъ, кромѣ русскаго языка,

были нѣмецъ и французъ. Вообще у русскаго человѣка не лежитъ сердце къ нѣмцу; Лѣсниковъ же просто возненавидѣлъ своего сотрудника, хотя и звали его геръ-Шеллингъ. Этотъ-то Шеллингъ собственно и заправлялъ всѣмъ дѣломъ. Отецъ Чебановъ не допускалъ никакого насилія въ воспитаніи сына: тѣлесныя наказанія и штрафы, какого бы то ни было рода, были изгнаны. Допускались въ рѣдкомъ случаѣ выговоры и внушенія. Съ баричемъ обращались почтительно, и самъ баричъ велъ себя съ достоинствомъ. Какимъ же образомъ достигали того, что Андрюша и велъ себя, какъ джентльменъ, и всегда готовилъ уроки? Онъ съ самаго молоду, съ пеленокъ, видѣлъ около себя порядочность, былъ пріученъ къ ней постепенно, а главное, употреблялись всевозможныя искусственныя педагогическія мѣры, чтобы дитя училось легко и шутя. Никакого усилія, никакого почти труда не стоило Андрюшѣ выучивать уроки. Онъ всегда былъ исправенъ, всегда зналъ урокъ, но никогда не работалъ самъ надъ нимъ. Нѣмецъ, за недѣлю до извѣстнаго урока, незамѣтно для ученика, подготовлялъ его, и потомъ, при разныхъ учебныхъ пособіяхъ, картахъ, картинахъ, моделяхъ и т. п. урокъ вкладывался въ голову мальчика. Была построена цѣлая сѣть педагогическая, при помощи которой ловили умъ и память мальчика, заставляя ихъ удерживать въ себѣ то, что учитель считалъ необходимымъ. Незамѣтно, легко шло преподаваніе. При этомъ постоянно наблюдали здоровье ученика, расположеніе его духа, впрочемъ, большею частію всегда ровное, ловили, въ какую минуту и когда къ нему подойдти, подмѣчали тѣ или другія свойства его, склонности — и всѣмъ этимъ пользовались, подъ руководствомъ нѣмца, чтобы достигнуть педаго-

гической цѣли. Хороша или дурна эта система, пусть всякій судитъ самъ, но Лѣсниковъ за эту-то систему пуще всего и возненавидѣлъ нѣмца.—«Уродуютъ барченка», говорилъ онъ: «не дадутъ самому пошевелить мозгами. Барина ростятъ. Этотъ колбасникъ не педагогъ, а лакей по умственной части. Въ физическомъ отношеніи Андрюша избалованъ: у него два лакея; онъ самъ не одѣнется, самъ умыться не умѣетъ, налить супу въ тарелку; хотятъ, чтобы онъ самъ и въ наукѣ ничего не могъ дѣлать, ему тоже подаютъ эти лакеи, нѣмецъ да французъ. Изъ этого выйдетъ одна гадость—мальчикъ будетъ имѣть свѣдѣнія, но онъ, хотя и не лишенъ способностей, навсегда останется дилетантомъ. Теперь передъ нимъ лакействуетъ нѣмецкая кикимора, выростетъ большой — будетъ плясать по дудкѣ того или другого журнала или газеты, того или другого кружка. Отецъ хвастаетъ, что изъ его сына не выйдетъ хлыща, полотера или человѣка, помѣшаннаго на чинахъ, кутилы; положимъ такъ, но и помимо всего этого можно остаться дуракомъ и весь вѣкъ коптить небо. Вѣдь вонъ у него около тысячи душъ крестьянъ. Не умѣя самъ шевельнуть мозгами, что онъ съ ними будетъ дѣлать? Разумѣется, попадется въ лапы перваго негодяя управляющаго. Зашибъ бы этого проклятаго нѣмца!»—Такъ разсуждалъ Лѣсниковъ. Въ спорахъ съ нѣмцемъ онъ никогда не сходился во мнѣніяхъ, а въ практикѣ педагогической всегда противодѣйствовалъ ему. Лѣсниковъ заставлялъ Андрюшу самого добиваться до истины, руководя только въ нѣкоторыхъ научныхъ пріемахъ. Онъ училъ его размышлять. Но и у самого Андрюши не совсѣмъ лежало сердце къ Лѣсникову. Хотя онъ не былъ совершенно дюжинною личностію но и не

выдавался въ средѣ окружающихъ его лицъ изъ ряду вонъ. Мальчикъ, дитя своего общества, въ душѣ котораго не находилось никакихъ задатковъ для протеста какой бы то ни было его сторонѣ, — даже болѣе: который уже былъ полный членъ и адептъ этого общества, — онъ чувствовалъ, что въ его бытъ и міросозерцаніе Лѣсниковъ вноситъ что-то новое, что разстраиваетъ его душевный міръ и гармонію дѣтской жизни. Будучи пріученъ къ самонедѣятельности, онъ, послѣ работъ съ Лѣсниковымъ, утомлялся, впадалъ въ скуку, терялъ аппетитъ. Онъ не любилъ его, хотя и уважалъ. Онъ смотрѣлъ на учителя съ любопытствомъ, видя въ первый разъ въ своемъ кругу такого человѣка. Уже Лѣсниковъ былъ полезенъ мальчику лично своею персоною, заставляя пытливо задумываться надъ нею. Разумѣется, мальчикъ не могъ разгадать натуру плебея, съ которымъ впервые стоялъ лицомъ къ лицу. Нѣмецъ— мы забыли сказать, что этотъ нѣмецъ былъ изъ католиковъ, самый гадкій типъ нѣмца, — зорко слѣдилъ за питомцемъ и шепталъ на ухо папашѣ, особенно же мамашѣ, что ихъ единородное чадо находится въ опасности отъ грубаго, неотесаннаго мужика Лѣсникова. Папаша былъ холоденъ къ Лѣсникову, но уважалъ его за его честное исполненіе своихъ обязательствъ. Мамаша же ничего не хотѣла знать—она ненавидѣла Лѣсникова; дошло до того, что всякую простуду, боль живота, разсѣянность, случайную и кратковременную холодность къ ней сына—мама стала объяснять вліяніемъ Лѣсникова. Послѣдній понималъ это, и въ душѣ называлъ ее прѣсной бабой, которую слѣдуетъ закутать во фланель и поить парнымъ козьимъ молокомъ. Досадно было Лѣсникову, но онъ упорно шелъ къ своей цѣли, желая, во что бы то ни стало, развить въ учени-

кѣ стремленіе къ личной работѣ. Ему хотѣлось, чтобы обрусѣлъ возможно болѣе этотъ космополитъ-мальчикъ, обрусѣлъ бы на зло и папашѣ, и мамашѣ, и проклятымъ нѣмцу и французу. Какъ развитый человѣкъ мечтаетъ, что невѣжественный простолюдинъ ознакомится, подъ его усиліями, съ наукой и искусствомъ образованныхъ людей, такъ и Лѣсниковъ бился изо всѣхъ силъ—только не снизу, а сверху, не изъ среды простанародія, а изъ среды аристократизма вырвать человѣка. Онъ гордился тѣмъ; онъ мечталъ о томъ, что выйдетъ, и причиной тому будетъ онъ, Лѣсниковъ.

Но педагогъ смутно чувствовалъ, что мало достигаетъ своей цѣли, хотя и не хотѣлъ сознаться въ томъ ясно.

Нѣмца Лѣсниковъ не любилъ, но все-таки называлъ умнымъ скотомъ; но француза онъ называлъ просто безмозглой головой.

Дѣтскій либерализмъ и преждевременная, ни къ чему не ведущая дипломатика, привитая насильственно, была дѣломъ француза, дѣйствительно враля отпѣтаго, всегда искусственно раздражавшагося своими фразами. Этого господина Лѣсниковъ часто обрывалъ. И за это отецъ Чебановъ уважалъ Лѣсникова, потому что смотрѣлъ на француза тоже съ презрѣніемъ; но французъ состоялъ въ качествѣ фаворита у мамаши, у которой, откровенно говоря, не было въ головѣ ни царя, ни царицы. Нѣмца она брала подъ свое покровительство, и какъ учителя, и какъ няньку своего единственнаго сына, а француза, кромѣ того, какъ пріятнаго для нея собесѣдника и услужливаго, ловкаго кавалера. Французъ внушалъ ей, что изъ Андрюши со временемъ выйдетъ дипломатъ, что у него и теперь обнаруживаются явныя наклонности къ политикѣ, что онъ, родившись

за границею и путешествуя по Европѣ, видѣлъ почти всѣ европейскія государства и такимъ образомъ даже и на двѣнадцатомъ году обогатился свѣдѣніями, необходимыми для дипломата и политика. — «Глупая женщина», думалъ Лѣсниковъ: «чему вѣритъ! Чтобы быть дипломатомъ, надо имѣть способность къ самостоятельной работѣ мозгами, а мальчика только я заставляю работать ими. Во всѣхъ другихъ случаяхъ мозгами ребенка работаютъ нѣмецъ и французъ, хотя того дитя и не подозрѣваетъ. Его головой распоряжаются по произволу. Вся страсть къ политикѣ въ Андрюшѣ напущена, раздута искусственно, и это тѣмъ легче было сдѣлать, что мальчику всегда хочется, чтобы его считали взрослымъ, и онъ тутъ дѣлитъ и межуетъ Европу, устроиваетъ конгрессы, заключаетъ конвенціи, разсылаетъ царямъ и царицамъ ноты, а подчасъ и головомойки... Это считаютъ признакомъ дипломатическаго призванія!... Знатный выйдетъ дипломатъ изъ мальчика, котораго ростятъ педагогическіе холопы!..»

Относительно подготовки ребенка къ дипломатикѣ чрезъ путешествіе его по Европѣ, Лѣсниковъ тоже не могъ согласиться съ французомъ.

«Самое путешествіе,» говорилъ онъ: «повело ко вреду Андрюши. Быстро перелетая изъ города въ городъ, не останавливаясь нигдѣ надолго, онъ пріобрѣлъ дурную привычку къ невнимательности и верхоглядству. Это то же самое, что въ одинъ пріемъ обойти петербургскій эрмитажъ — немного будетъ сдѣлано для эстетическаго развитія. Лучше было бы внимательно изучить одну деревню, нежели быстро окидывать взоромъ цѣлыя территоріи. Неужели, если я промчусь семьсотъ верстъ въ теченіе полутора сутокъ по желѣзной дорогѣ, то это будетъ значить, что я путешество-

валъ на протяженіи семисотъ верстъ? Такіе вояжи, какіе дѣлалъ Андрюша, способны приготовить не дипломата, а шатуна, который весь вѣкъ будетъ слоняться безъ толку по бѣлу свѣту. Самое путешествіе за границей,—о которомъ иной весь вѣкъ мечтаетъ, да часто такъ и умираетъ съ прекрасною мечтою,—путешествіе, ознакомляющее насъ съ бытомъ и учрежденіями другихъ народовъ, сглаживаетъ нашъ узкій либерализмъ, а для этихъ господъ служитъ только ко вреду. Глупа эта женщина, что слушаетъ француза!»

«Но я», думалъ Лѣсниковъ съ упорствомъ: «спасу этого мальчика!.. Посмотримъ, чья возьметъ?...»

Но съ французомъ бороться было трудно. Когда Лѣсниковъ шелъ противъ методы нѣмца, вводя ученика своего въ новый міръ, тогда мальчика часто увлекала новизна предметовъ и даже самая самодѣятельность; но идти противъ француза значило тревожить дѣтское самолюбіе, разочаровывать ребенка, доказывать ему, что онъ не взрослый, а дитя. Противъ француза у него было мало шансовъ, и онъ потерпѣлъ въ борьбѣ съ нимъ полное фіаско.

Такимъ образомъ, Лѣсниковъ всталъ во враждебныя отношенія со своими сотрудниками по дѣлу образованія Андрюши. Но онъ не совсѣмъ дружелюбно относился и къ ученику. Ему не нравился характеръ мальчика. Такіе характеры многіе называютъ внѣшними. Въ нихъ есть одна опредѣляющая черта. Андрюша не понималъ природы, не умѣлъ наслаждаться ею; онъ не засматривался на ясное небо ни днемъ, ни ночью, не прислушивался къ голосамъ и шуму лѣса; пруды, каскады, ручьи и ключи не имѣли для него поэтической прелести; въ грозѣ онъ не находилъ ничего грандіознаго. Это, по словамъ Лѣсникова, зависѣло тоже отъ

безтолковаго, какъ выражался онъ, путешествія по Европѣ, гдѣ пейзажи разныхъ странъ передъ нимъ смѣнялись, какъ въ калейдоскопѣ, такъ что приглядѣлись и пріѣлись. Его болѣе занимала театральная декорація, чѣмъ самый роскошный природный видъ. Природа была для него мертвою книгой. Онъ жилъ единственно среди людей. Но и здѣсь надобно сдѣлать ограниченіе. Отецъ и мать его были аристократы въ душѣ, но въ то же время люди на столько съ тактомъ, что никогда не обнаруживали своего аристократизма рѣзко. Собственно говоря, они не презирали плебеевъ, не считали ихъ людьми другого порядка, даже не называли пошлымъ именемъ *меньшей братіи*, считая себя *старшей*; но... да трудно и понять то чувство, съ которымъ они относились къ плебею. То чувство было не презрѣніе, а что-то въ родѣ гадливости, нежеланія прикоснуться къ непріятному предмету. «Ты намъ ровенъ», сказали бы они плебею, формулируя свои убѣжденія, «имѣешь право на все, на что имѣемъ мы; но не суйся къ намъ; между нами могутъ быть разнаго рода сдѣлки, но никакъ не близкое знакомство или родство!» Что-жъ? на этомъ можно еще сойтись, если ужь не хотятъ аристократы слиться съ плебеемъ. Но не такъ думалъ Лѣсниковъ. Ему досадно было, что семейныя убѣжденія довольно сильно отразились на Андрюшѣ. Андрюша былъ честенъ и добръ, но все-таки чувство необщительности съ другими классами не рекомендовало его характеръ. Лѣсникову хотѣлось, во что бы то ни стало, перевоспитать мальчика.

Но чѣмъ же кончилось дѣло?

Дѣло кончилось тѣмъ, что Лѣсниковъ однажды вышелъ изъ себя и выругалъ нѣмца. Устроился довольно

почтенный скандалъ. Лѣсникову предложили оставить домъ Чебановыхъ.

Долго онъ сидѣлъ въ послѣдній вечеръ, который проводилъ у Чебановыхъ.

— Ну, что же я успѣлъ сдѣлать для Андрюши? думалъ онъ. Мальчикъ началъ довольно правильно владѣть роднымъ языкомъ, ознакомился нѣсколько съ окружающею его жизнью, полюбилъ нѣкоторыхъ русскихъ поэтовъ, хотя народная поэзія, даже Кольцовъ, болѣе другихъ понятный высшему классу, остались для него неразрѣзанною книгой. Онъ все-таки остался барономъ.

Лѣсниковъ злился. Ему жалко чего-то было и въ то же время онъ чуялъ въ душѣ обиду, досаду, оскорбленіе.

Но чего ему жалко было?

Не о потерѣ выгоднаго въ денежномъ отношеніи мѣста учительскаго онъ жалѣлъ. Онъ успѣлъ скопить деньжонки. Съ Чебановыми родителями онъ не прерывалъ никакихъ интимныхъ связей. Нѣмца и француза, своихъ сотрудниковъ, онъ, какъ говорилъ, повѣсилъ бы на первой осинѣ, хотя, само собою разумѣется, не сдѣлалъ бы этого, если бы къ тому и представился случай. Прислуга дома ему тоже не была особенно по сердцу. Нравилась ему мѣстная природа, но не унывать же отъ того, что приходилось оставить ее.

— Андрюши, что ли, мнѣ жаль? подумалъ онъ.

Не любя лгать передъ собою, Лѣсниковъ сознался, что это неправда, что онъ не любитъ Андрюшу—и въ эту минуту всего болѣе.

Что же?

Ему было горько и досадно. Его самолюбіе страдало—не отъ того, что ему указали двери, а отъ того, что всѣ его труды привели къ такому ничтожному ре-

зультату. Онъ оказался безсильнымъ въ перевоспитаніи Андрюши. Онъ теперь называлъ себя дуракомъ, что взялся за такое дѣло, а тяжело сознаться самому себѣ, что ты сглупилъ.

— Да развѣ можно перевоспитать барича? говорилъ онъ. Они и слово особое для себя придумали; ихъ, видите ли, «среда заѣдаетъ».. жалкіе, жалкіе люди!.. Говорятъ, что трудно къ мужику подойдти, что онъ зарылся и спрятался отъ образованнаго человѣка, не допускаетъ его въ тайники своего міросозерцанія; но врядъ ли легче проникнуть и въ тайники этихъ аристократовъ, врядъ ли и къ нимъ подойти съумѣешь.

Послѣ нѣкотораго раздумья, онъ спросилъ себя:

— Но любилъ ли я Андрюшу?..

— Нѣтъ, отвѣтилъ онъ. Ну и чортъ съ нимъ.

На другой день онъ уѣхалъ.

1862.

ПОРѢЧАНЕ.

РАЗСКАЗЪ *).

I.

ДИВНЫЙ УГОЛОКЪ ЗЕМЛИ.

На берегу рѣки Озерной раскинуты два большія поселенія, составляющія предмѣстіе огромнаго и богатаго города—Большая Порѣчна и Малая Порѣчна. Онѣ раздѣляются между собою рѣчкою Чернавкой. При впаденіи Чернавки въ Озерную стоитъ казенная верфь.

Дѣйствіе нашего разсказа происходитъ въ Малой Порѣчнѣ.

Малая Порѣчна не городъ, не деревня, не посадъ. Организація этого селенія оригинальна. Обѣ Порѣчны основаны Петромъ I. Онъ построилъ при Озерной

*) Прилагаемый здѣсь разсказъ «Порѣчане» Помяловскій писалъ для «Русскаго Слова» въ послѣдніе дни своей жизни, и далеко не успѣлъ окончить и обработать его. Печатая подлинникъ въ томъ видѣ, какъ онъ былъ написанъ авторомъ, но желая вмѣстѣ съ тѣмъ сохранить для читателей, по возможности, весь интересъ разсказа, я вкратцѣ присоединяю къ нему то, что неоднократно разсказывалъ мнѣ покойный о дальнѣйшихъ приключеніяхъ порѣчанъ. Въ такомъ видѣ въ разсказѣ дополняется пробѣлъ, оставленный авторомъ.

Н. Благовѣщенскій.

верфь; для верфи понадобились работники; Петръ и выписалъ изъ новгородской, тверской и олонецкой губерній разнаго рода вольныхъ людей, въ числѣ трехъ сотенъ, изъ которыхъ поселилъ двѣ въ Большой Порѣчнѣ, а одну въ Малой. Поколѣніе за поколѣніемъ, отъ этихъ колонистовъ разрослось населеніе порѣчанъ до четырехъ тысячъ. Они должны были работать на царя топоромъ, пилою и долотомъ на казенной верфи треть года, а остальныя двѣ трети могли заниматься, чѣмъ угодно.

Порѣчну мы назвали предмѣстьемъ города, но она въ то же время составляла кварталъ города, имѣла полицейскаго офицера, городового, хожалыхъ и бутарей. Составляя часть города, она, казалось, должна была подчиняться всѣмъ учрежденіямъ и законамъ городскимъ; но на дѣлѣ было не такъ. За то, что порѣчане для верфи бросили родину, прикрѣпились къ ней, подчинились морскому вѣдомству, не могли приписаться ни къ мѣщанству, ни къ купечеству, они получили многія льготы и привиллегіи: имъ даны были свое правленіе, судъ и расправа, свои общественныя суммы, неподлежащія вѣденію Думы; порѣчане были освобождены отъ податей, солдатчины и другихъ повинностей; они сами заботились о своей церкви, школѣ, дорогахъ и т. п., наконецъ, надѣлены были землями, взамѣнъ тѣхъ, которыя оставили для верфи. Вслѣдствіе такой конституціи, данной порѣчанамъ, они, отстаивая свою вольность, всегда воевали съ полиціей и достигли того, что она не имѣла для нихъ никакого значенія.

При такомъ самоуправленіи, порѣчане, по натурѣ своей, были народъ своенравнаго закала. Вы и теперь встрѣтите въ Порѣчнѣ осмиконечные кресты, врѣзанные въ ворота домовъ — знакъ того, что въ ней не мало старовѣровъ, а въ старые годы почти все населеніе

Порѣчны состояло изъ раскольниковъ безпоповщинской секты. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ разрушена ихъ молельня: кладбище, на которомъ покоились родные ихъ и земляки, было разметано; могильный камень, дерево, желѣзо и бронза были расхищены, самая молельня обращена въ православную церковь. Впрочемъ, въ то время большинство порѣчанъ были православными, и потому оскорбленье пало на меньшую часть ихъ. Но тѣмъ не менѣе, въ существѣ дѣла, по натурѣ своей, порѣчане *всѣ* были раскольники: традиція прежнихъ нравовъ сохранилась въ полной силѣ въ ихъ быту. Порѣчане наслѣдовали отъ отцовъ и дѣдовъ независимость и упорство въ своихъ понятіяхъ и жизни, которыя еще болѣе развились подъ вліяніемъ привиллегій, данныхъ Петромъ.

Самый родъ занятій, работы, которыми промышляли порѣчане, должны были вносить въ ихъ бытъ развивающіе элементы. Они были столярами, плотниками, токарями, рѣзчиками, позолотчиками. Всякая работа вліяетъ на характеръ человѣка: сапожникъ и портной, отъ сидячей жизни, пьянствуютъ; никто на Руси такъ не лается, какъ бурлаки, потому что ихъ работа невыносимо тяжела; мясники — всѣ народъ краснощекій и здоровый, потому что постоянно дышатъ испареніями свѣжаго мяса и ѣдятъ свѣжее мясо; рыбаки — люди кроткіе, потому что живутъ среди природы,—не даромъ Христосъ изъ среды ихъ выбралъ своихъ апостоловъ, и т. д. То же самое было и съ порѣчанами: родъ занятій вліялъ на ихъ нравы; особенно токарное и рѣщицкое дѣло, которыя составляютъ какъ бы переходную ступень отъ ремесла къ искусству, стоятъ въ срединѣ между ними, требовали нѣкоторой развитости и изящнаго вкуса, пониманія симметріи, изобрѣтательности

рисунка, знанія породъ и добротъ разнаго вида деревъ; при нихъ употребляются циркуль, транспортиръ, винты, винкелъ, стропило, ватерпасъ и множество другихъ инструментовъ и приборовъ, требующихъ для обращенія съ ними нѣкоторой образованности и развитости; необходимо было умѣть считать и чертить, — а это безъ грамоты и письма почти немыслимо. Словомъ, ихъ занятія требовали научныхъ свѣдѣній, хотя и не очень большихъ. Вотъ почему въ Порѣчнѣ есть школа и вотъ почему обыватели ея большею частію народъ грамотный; скажемъ болѣе: нѣкоторые порѣчане выписывали газеты, даже журналы и покупали книги; — правда, такія лица составляли исключеніе, но все-таки они были. Дѣды порѣчанъ—раскольники, а среди раскольниковъ, какъ извѣстно, много людей грамотныхъ; поэтому-то грамотность, по преданію, вошла въ обычай у порѣчанъ; если кто не читалъ современныхъ изданій, то держалъ въ домѣ какую нибудь старинную книгу, рукопись, «библію», а зажиточные даже «Четьи-минею» — изданіе очень дорогое. Все это болѣе или менѣе должно было цивилизовать порѣчанъ.

Бытъ женщинъ въ Порѣчнѣ тоже отличался характерными особенностями. Происходя отъ безпоповцевъ, у которыхъ мужчина и женщина совокуплялись между собою безъ брака церковнаго, порѣчанки развили и воспитали въ себѣ широко-свободныя отношенія къ мужчинамъ. Порѣчанка, прежде нежели вступала въ супружество, *женихалась* съ своимъ суженымъ годъ, два и даже болѣе. Не только посторонніе, но и родители рѣдко обращали на то вниманіе; случалось даже такъ, что отецъ и мать ужинаютъ, а дочь ихъ за порогомъ совершаетъ съ своимъ *душкой* — если не эмансипацію, то... какъ бы сказать?.. ну, *ипондрящю* что ли, какъ

выражается одинъ мой знакомый. Послѣ такой, нерѣдко трехлѣтней, сипондряціи, женихавшіеся почти никогда не измѣняли другъ другу. Незаконное дитя,—слѣдствіе жениханья, не стѣсняло никого: оно, какъ и законное, дѣлалось прикрѣпленнымъ къ верфи порѣчаниномъ или порѣчанкою, и пріобрѣтало права дѣтей, рожденныхъ въ церковномъ бракѣ. Но, господа, любящіе клубничку, помните, что свобода нравовъ допускалась только между порѣчанами; пришлые изъ города не пользовались удобствами мѣстной эмансипаціи: если изъ нихъ кто обнаруживалъ поползновеніе на порѣчанку, то дорого платился за это. Такъ одинъ богатый купчикъ сталъ ухаживать за хорошенькой порѣчанкой; его избили до скоротечной чахотки, и послѣдовало отданіе души его, куда слѣдуетъ. Равнымъ образомъ одна, довольно крупнаго чина, особа изволила посягнуть на порѣчанку; эту крупнаго чина особу до жестокаго возбужденія и чувствительности кожи отодрали жгучею крапивой, говоря: «это значитъ — мы сѣмъ *крапивное сѣмя*». Подобныхъ исторій, устроиваемыхъ порѣченскимъ амуромъ, было не мало. Что же это значитъ?.. Откуда эта свобода для себя и стѣсненіе для постороннихъ?... — «Намъ самимъ бабъ надо!» говорили порѣчане... И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же взять ихъ, если порѣчанки будутъ измѣнять мѣстному амуру?.. Вѣдь очень рѣдко не порѣчанка пойдетъ за прикрѣпленнаго къ верфи. Вотъ почему порѣчанка, свободная дома, на сторонѣ стѣснялась строгимъ контролемъ. Но только въ этомъ порѣчанки и были стѣснены; въ другихъ отношеніяхъ онѣ были женщины вполнѣ самостоятельныя. Ихъ сила заключалась въ томъ, что онѣ, не походя на нашихъ барышенъ, для которыхъ отецъ долженъ заготовлять деньги, въ видѣ приданаго, для ихъ замужняго

существованія, были независимы въ матеріальномъ отношеніи. Въ Порѣчнѣ мужъ рѣдко заботился о прокормленіи своей жены—она сама кормила себя, а иногда мужа и дѣтей. Порѣчанки торговали въ городѣ молочными скопами и добывали денегъ никакъ не менѣе своихъ мужьевъ и братьевъ. Скажутъ, что при нашемъ общественномъ строѣ это ничего не значитъ: мужъ всегда можетъ отобрать отъ жены добытыя ею деньги. Можетъ. Но, съ одной стороны, порѣчане въ долгій періодъ жениханья, предшествовавшій свадьбѣ, имѣли возможность коротко узнать другъ друга, вслѣдствіе чего меньше было шансовъ для несчастныхъ браковъ; а съ другой стороны, порѣчанки имѣли довольно крѣпкія мышцы, онѣ носили въ городъ на коромыслахъ молоко и сливки въ жестяныхъ кувшинахъ, мѣрою въ два и три ведра, дѣлая походъ верстъ въ двадцать и болѣе, — это развивало ихъ мышцы. Наконецъ, порѣчанки, по общей слабости женщинъ—перемывать кости ближняго, любили во время похода болтать; грохотъ экипажей по мостовой города заглушалъ ихъ голоса, онѣ должны были сильно напрягать легкія, — оттого легкія развивались, и вотъ почему порѣчанки были народъ грудастый и горластый; онѣ, въ спорахъ съ мужчинами, употребляли въ дѣло грудные мѣхи, отъ которыхъ зависѣла немалая доля ихъ успѣха. Итакъ, нравственная сила, денежная сила, мышечная сила и гортанная сила должны были создать типъ порѣчанки. Человѣка, изъ котораго долженъ выйдти дурной мужъ, порѣчанка, если она недура, разгадать можетъ во время жениханья и бросить его; если ошибется—пойдетъ замужъ, а мужъ станетъ куражиться, она спрячетъ отъ него свои деньги; станетъ мужъ драться, она сдачи дастъ; мужъ окажется сильнѣе: она зареветъ во всю свою здоровенную грудь,

такъ что по крайней мѣрѣ половина Порѣчны узнаетъ, кто бьетъ, кого бьетъ и за что бьетъ; а вырвавшись изъ рукъ сожителя и выбѣжавъ на улицу, она опозоритъ его на весь міръ божій. Случалось и такъ: мужъ попадался безталанный и притомъ слабосильный; тогда главою семейства становилась женщина: она кормила, поила и одѣвала семью, заправляла хозяйствомъ, воспитаніемъ дѣтей, а супругъ занималъ то положеніе, которое обыкновенно, въ большей части случаевъ, занимаетъ у насъ жена по отношенію къ мужу. Вообще въ Порѣчнѣ женщина не могла быть подавлена мужскимъ деспотизмомъ.

Итакъ, въ Порѣчнѣ процвѣтало самоуправленіе, вольный духъ, образованность, эмансипація женскихъ правъ... Не правда ли, что дивное мѣстечко, славный уголокъ земли?.. Но, читатель, не увлекайтесь. Съ поверхностнаго, птичьяго полета, Порѣчна была прекрасна, но взглянемъ поближе на нее, и на первый разъ взглянемъ хоть на внѣшній видъ Порѣчны.

Малая Порѣчна имѣетъ довольно красивую кладбищенскую церковь, которая раздѣляетъ ее на два края или конца, имѣетъ правленіе, школу, ресторацію «Магнитъ», виноторговлю, два кабака, восемь мелочныхъ лавокъ (мясныхъ и булочныхъ нѣтъ). Въ ней только три каменныхъ дома, остальные — всѣ деревянные, и среди деревянныхъ не болѣе десятка двухъ-этажныхъ. Почти четвертая часть домовъ представляетъ собою видъ печальный; это черныя, гнилыя, разсѣвшіяся надвое и на-трое избушки, вросшія въ землю, и у тѣхъ избушекъ прогнили крыши, покачнулись стѣны, отчего и подперты онѣ досками и кольями; перекосившіяся окна нерѣдко заклеены бумагою или тряпицею, а не то и просто заткнуты мужицкимъ армякомъ или бабь-

имъ капотомъ. Лѣвый край Малой Порѣчны вымощенъ булыжникомъ, но было бы гораздо лучше для обывателей, когда бы совсѣмъ не существовало у нихъ мощонаго проспекта, который никогда не ремонтировался и былъ изъязвленъ рытвинами, ухабами, буераками и разнаго рода чертоплешинами. Посреди проспекта Малой Порѣчны положены досчатые мостки, страшно исковерканные и испещренные прорѣхами и неуклюжими заплатами; дыры и заплаты ломали ноги трезвому и пьяному люду порѣченскому. Въ Малой Порѣчнѣ почти нѣтъ садовъ; обильная зелень только и встрѣчается на кладбищѣ, которое вслѣдствіе того служитъ для обывателей публичнымъ садомъ. Нѣкогда же селеніе было окружено дремучими лѣсами, переполненными сосною и елью, березнякомъ, осиной и рябиной,—въ нихъ попадались дубъ и кленъ; но лѣса давно вырублены верстъ на двадцать кругомъ во всѣ стороны — дерево пошло на топливо, постройки и подѣлки разнаго рода, даже коренья вырыты изъ земли и сожжены въ печахъ порѣченскихъ. Теперь сзади селенія лежатъ необъятные для взора сѣнокосы, а спереди течетъ широкая, быстрая, свѣтло-водная красавица, рѣка Озерная.

Таковъ общій видъ Порѣчны. Отчего же онъ, не смотря на самоуправленіе, вольный духъ, образованность и эмансипацію, такъ печаленъ? А вотъ резберемъ, каковы въ ней были самоуправленіе, вольный духъ, образованность и эмансипація женскихъ правъ: тогда и увидимъ, въ чемъ дѣло.

II.

БАБУ НАДО.

Иванъ Семенычъ Огородниковъ, порѣченскій селянинъ, столярный мастеръ, былъ здоровеннѣйшій парень лѣтъ двадцати-четырехъ, красавецъ собою, курчавый, широкоплечій, крѣпкогрудый и первый силачъ на Порѣчнѣ. Онъ, не смотря на видимую доброту своего сердца, былъ, какъ увидимъ, мошенникъ на правую руку и на лѣвую руку.

Иванъ Семенычъ, зимнимъ вечеромъ, сидѣлъ въ своей неприглядной, маленькой мастерской, которую разсматривалъ съ полнымъ отвращеніемъ. Взглянулъ онъ на верстакъ, на оструганную доску, на опилки подъ верстакомъ, на сальный огарокъ на немъ, — и на все это плюнулъ со злостью...

— Чего же я злюсь? спросилъ онъ себя.

— Не знаю, отвѣтилъ онъ самъ себѣ.

Иванъ Семенычъ сталъ снова озирать свое жилище.

— Какое у меня, думалъ онъ: — значитъ, есть богатство и украшеніе въ комнатѣ?... Посмотримъ... Въ углу образъ божіей матери, но вѣдь безъ всякаго оклада... Подъ ней Георгій-побѣдоносецъ... да что въ немъ *плезиру*? самъ-то Георгій давнымъ давно слинялъ, и осталась отъ него одна лошадь да ноги самого...

Иванъ Семенычъ плюнулъ.

— Посмотримъ, что еще у насъ? Это что? спросилъ онъ, глядя на маленькую, въ полвершка величиною картинку, прикрытую стеклышкомъ.

— Это что?

— Ахъ, ты лѣшій, отвѣчалъ онъ:—вѣдь это съ табачной бандероли вырѣзанная цифра «2».

— Ты зачѣмъ здѣсь?... вонъ!..

Иванъ Семенычъ сорвалъ со стѣны цифру и растоптalъ ногами приклеенное къ ней стекло.

— Что далѣе! говорилъ онъ...—А!.. портретъ генерала... Но отчего ему рожу перекосило?... Развѣ такіе бываютъ генералы? Развѣ у генераловъ бываютъ вмѣсто щекъ титьки?.. Развѣ генералы имѣютъ кривой носъ?.. А зачѣмъ глаза его смотрятъ—одинъ въ Москву, другой въ Питеръ?.. Къ чему рисуютъ такія святочныя хари?.. Будто это генералъ?... Подожди, я доберусь до тебя, сказалъ онъ, погрозивъ генералу кулакомъ... — Господи, какъ мнѣ скучно, какъ тяжело! заключилъ Иванъ Семенычъ.—Отчего же это?

Иванъ Семенычъ сталъ ходить по комнатѣ, отыскивая въ ней по угламъ и подъ лавками причину своей скуки, и нигдѣ не отыскалъ ее.

— Чортъ знаетъ что такое!.. проговорилъ онъ:—кажется, я человѣкъ работящій... дѣло свое справляю, значитъ, какъ слѣдуетъ, въ храмъ божій хожу... по праздникамъ поповъ принимаю... царю я слуга вѣрный... человѣкъ я образованный... я сытъ, обутъ, одѣтъ... дѣвчонки на меня зарятся... Чего еще не достаетъ мнѣ?.. А чортъ съ ней и со скукой!.. Дай, поработаю!

Иванъ Семенычъ ввинтилъ доску въ верстакъ и началъ стругать ее. Но это мало развлекло его. Онъ со злостью бросилъ на полъ стругъ и сталъ чесать рыжую овчину на своей головѣ.

— Лягу же спать, чортъ ихъ дери!

Полѣзъ онъ на печь, но не спится ему... Послѣ долгаго поворачиванья съ боку на бокъ, онъ проговорилъ!

— Нѣтъ же, стану работать!

Онъ взялъ въ руки долото и сталъ долбить имъ доску. Но вдругъ бѣшенство напало на него...

— Тяжко, тяжко! шепталъ онъ, всаживая долото въ дерево...

Въ это время передъ нимъ, при мерцающемъ свѣтѣ сальнаго огарка, на закоптѣлой и покрытой тараканами стѣнѣ, вырѣзалась картина генерала.

— Чего ты смотришь на меня? закричалъ Иванъ Семенычъ генералу грозно.

При дрожащемъ свѣтѣ огарка, генералъ мигнулъ— однимъ глазомъ въ Москву, другимъ въ Питеръ.

— Молчи, чортъ! кричалъ нашъ герой.

Генералъ, разумѣется, ни слова.

— Поговори ты у меня!

Генералъ не говоритъ. Но у Ивана Семеныча вѣроятно было очень сильное воображеніе, доводящее его и въ трезвомъ видѣ до галлюцинацій. При напряженномъ состояніи нервовъ, ему слышалось что-то.

— Чего жъ тебѣ надобно? вопилъ онъ.

Генералъ опять мигнулъ въ Москву и въ Питеръ...

— Хорошо же!

Иванъ Семенычъ всадилъ долото въ лобъ генерала.

— Я тебѣ и брюхо распорю.

Распоролъ.

— Я тебя совсѣмъ задушу!

Иванъ Семенычъ сорвалъ невинную картину, бросилъ ее на полъ и сталъ топтать своими крѣпкими ступнями. Но вдругъ на него нашло раздумье.

— Что я дѣлаю?... Что я дѣлаю?... къ чему это?... Что это со мной? Боже мой, Боже мой!..

Онъ сталъ шагать по комнатѣ, снова осмотрѣлъ ее всю, и потомъ остановился среди бѣдной хаты. Въ ту

минуту онъ походилъ на египтянина, которому сфинксъ задалъ неразрѣшимую загадку. Въ чемъ же состояла эта загадка? Въ вопросѣ: «что мнѣ надо?» Вся фигура Ивана Семеныча выражала темную грусть. Онъ никакъ не могъ поймать за хвостъ ту причину, которая породила его грусть. Лицо его снова побагровѣло злостью, кровь бросилась въ голову, губы стиснулись, кулакъ сжался; но потомъ неожиданно лицо освѣтилось чѣмъ-то въ родѣ небесной радуги.

— Кажется, такъ? спросилъ онъ, ударивъ себя ладонью по лбу.

Онъ совсѣмъ просвѣтлѣлъ.

— Да! крѣпко ударилъ Иванъ Семенычъ словомъ «да».

Не узнать его теперь: свѣтелъ сталъ онъ, ясенъ, радуженъ, похожъ на сторублевую ассигнацію. Но потомъ на него напало сомнѣніе, и, подперевъ пальцемъ носъ, онъ спросилъ:

— Будто?

Опять грустью подернулось лицо.

— Именно такъ!.. Да!.. знаю, что мнѣ надо!.. Что?.. Бабу надо!.. Эхъ, кабы Груньку!..

Иванъ Семенычъ сталъ одѣваться. Одѣлся и пошелъ на улицу искать себѣ бабу.

Милостивые государи! Вамъ, разумѣется, не надо бабы, а требуется дама, а вотъ Ивану Семенычу не надо дамы, а требуется баба. Отыщетъ ли онъ ее?

III.

БАБА И ЛЮБОВНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ СЪ НЕЮ.

Иванъ Семенычъ встрѣтилъ на улицѣ бабу (дама тожъ) и именно ту, которая ему требовалась.

— Аграфена Митревна, это вы? спросилъ онъ.

— Мы, было отвѣтомъ...

— Отъ насъ *салонъ-съ* вамъ.

— Поди прочь, *околѣлый чортъ*!

— Мы околѣли?.. Отъ насъ *пришпектъ* вамъ.

— Что тебѣ надо, *павлинникъ*?

— Табаку не нюхаемъ... Отъ насъ *папериментъ* вамъ.

— Свинья ты!

Иванъ Семенычъ взялъ Аграфену Митревну за талію: у бабъ, какъ и у дамъ, есть талія.

— Отстань, лѣшій! сказала порѣченская дама (баба тожъ).

— Полюби меня, отвѣчалъ мой герой...

— Тебя?.. за что?..

— За мои таланты.

— У тебя таланты?

— У насъ.

— А не хочешь ли, я тебѣ скажу, что ты, какъ есть, свинья.

— Это — мы?

— Вы.

Аграфена Митревна расхохоталась.

— Какіе это, значитъ, есть у тебя таланты?

— Что же, Аграфена Митревна, посмотри ты на меня: чѣмъ я противъ другихъ не вышелъ?

— А ты взгляни, дуракъ, у тебя изба колется на двое.

Иванъ Семенычъ почесалъ въ затылкѣ.

— Ну, что скажешь?

— Починимъ.

Иванъ Семенычъ посмотрѣлъ въ сторону, какъ человѣкъ, мучимый совѣстью.

— Въ кои вѣки?

— Ужь сдѣлайте одолженіе...

— Поди прочь, необразованность.

— Мы необразованны?.. Отъ васъ ли я слышу, Аграфена Митревна? Да вотъ теперь сколько сказалъ я вамъ хорошихъ словъ.

Иванъ Семенычъ говорилъ это съ полнымъ убѣжденіемъ. Порѣченская образованность выражалась въ особаго рода типическомъ краснорѣчіи. Это не было краснорѣчіе риторическое, стелющееся длинными періодами, не было краснорѣчіе семинарское, удобренное славянскими цитатами; это было краснорѣчіе чисто туземное, оригинальное и своеобразное. Оно состояло въ умѣньи подбирать *хорошія* слова, въ родѣ *салонъ папериментъ*, *пришпектъ* и т. п. Подслушавъ въ городѣ, гдѣ порѣчане справляли нерѣдко работы, или вычитавъ въ газетѣ хитрое, нерусское словцо, порѣчанинъ пускалъ его въ ходъ въ своемъ селеніи. Это слово въ устахъ порѣчанина совершенно перемѣняло свой настоящій смыслъ. Порѣчанинъ хорошимъ словомъ и обругается, и похвалитъ, и выразитъ просьбу, въ родѣ того, какъ и всякій нашъ соотечественникъ можетъ выразить крѣпкимъ русскимъ словцомъ какое угодно расположеніе духа. Порѣченское краснорѣчіе, кромѣ того, постоянно пересыпалось словами «значитъ», «околѣлый чортъ» и «тавлинникъ». Къ туземному краснорѣчію у многихъ порѣчанъ развилась положительная манія. Какъ теперь помню, переѣзжалъ я черезъ Озерную въ яликѣ. Со мною сидѣлъ молодой порѣчанинъ. Глядя на отстроивавшуюся церковь, онъ сказалъ: «а вѣдь церковь строится въ историческомъ стилѣ». Впадая въ его тонъ, я отвѣтилъ: «такъ; но въ основѣ стиля лежитъ идеальная трапеція трансцендентальнаго штанд-пункта». Онъ заставилъ меня повторить хит-

рую фразу нѣсколько разъ, запомнилъ ее, и я увѣренъ, что въ тотъ же день пустилъ въ ходъ идеальную трапецію. Таково было краснорѣчіе порѣчанъ.

— Мы необразованны? продолжалъ Иванъ Семенычъ: — да какой хотите *рецептъ* устрою вамъ.

Аграфенѣ Митревнѣ, очевидно, нравились всѣ эти *салоны пришпекты* и *рецепты* Ивана Семеныча, но она все-таки отвѣчала:

— Почище васъ найдемъ.

— Гдѣ это?

— Здѣсь же—въ Порѣчнѣ.

— Кого это?

— Не васъ.

— А насъ, значитъ, къ свиньямъ?

— Именно.

— За что же, Аграфена Митревна?

— А за то, что мы для васъ—не въ коня кормъ будетъ: рыломъ не вышли.

— Что ты говоришь, Аграфена Митревна?.. Побойся ты Бога!.. Я ли не красивъ?.. Посмотри ты на мой ростъ, на плечи, на грудь, на лапы, наконецъ,—вѣдь вона какая рука, кого тресну, такъ, значитъ,покойникъ и будетъ...

— Что жъ изътого толку?... Все-таки у тебя ни кола, ни двора... Я на молокѣ да на сливкахъ добуду рубля два-три, а ты-то что?..

— Я же, Аграфена Митревна, человѣкъ работящій.

— Знаю... и воръ изрядный...

— Что жъ?.. это не къ худу: разживемся, дастъ Богъ.

— Ты-то?

— Мы.

— Дуракъ ты, дуракъ, право, дуракъ.

— Аграфена Митревна, сталъ говорить Иванъ Семенычъ патетичнымъ голосомъ: — пожалѣй ты меня сироту, человѣка одинокаго... Скучно одному, тошно!.. Ни отца, ни матери нѣтъ, ни братьевъ, ни сестеръ... Что же мнѣ дѣлать?.. не въ кабакъ же идти... не чорту душу продать.... Голубушка моя милая!... полюби меня, Аграфена Митревна... Ей богу, души своей не пожалѣю для того, чтобъ ты въ золотѣ ходила... Мнѣ безъ тебя вѣдь жизнь не жизнь...

— А мнѣ-то что? отвѣтила Аграфена Митревна.

Темные тучи заходили по лицу Ивана Семеныча.

— Значитъ, Аграфена Митревна, такъ-таки и ничего? спросилъ онъ.

— Само собою...

— Когда такъ, мнѣ все равно!.. Что хочешь, а свое я возьму!.. Я люблю тебя, Грушенька!..

Иванъ Семенычъ бросился на бабу (дама тожъ) и заключилъ ее въ могучія объятія. Сталъ онъ ее «цаловать, крѣпко къ груди прижимать»... Но хотя Иванъ Семенычъ былъ первый баготырь въ Порѣчнѣ, дама съумѣла высвободиться отъ него: она укусила Ивана Семеныча въ шею; Иванъ Семенычъ въ ту минуту отпустилъ ее; баба (дама тожъ) ударилась въ бѣги.... ванъ Семенычъ за бабой, баба отъ него; онъ за бабой, баба дальше. Онъ уже настигаетъ бабу, но когда оставалось только протянуть руку и схватить бабу, она скрылась за воротами своего дома...

— Ушла, свинья! говорилъ Иванъ Семенычъ.

— Околѣлый чортъ! послышалось изъ-за воротъ.

Темно на улицѣ, и потому только разсмотрѣть нельзя, какъ по щекамъ Ивана Семеныча ползутъ ядовитыя слезы. Онъ, читатели, сильно любилъ. Но странно любилъ этотъ человѣкъ, по-порѣченски...

— Груня!.. Грунька!.. заговорилъ онъ: — за что ты меня не любишь? Эхъ!..

Пошелъ Иванъ Семенычъ въ свою закоптѣлую, изъѣденную плѣсенью и тараканами избу.

— Проклятое бабье! говорилъ онъ: — чортова порода!.. Взять бы тебѣ, любезная моя Аграфена Митревна, да поднять подолъ, да задать хорошихъ шлепендрясовъ — вотъ и былъ бы *паперимент*ъ вашей милости!... А ей-богу сдѣлаю это!.. При всемъ честномъ народѣ опозорю... Охъ, бѣдность, бѣдность!

IV.

О ТОМЪ, КАКЪ ВЪ ПОРѢЧНѢ ВСѢ БАБЫ РОТЪ РАСТЕГНУЛИ.

Одиннадцать часовъ утра. Если бы порѣчане читали г. Берга, то они сказали бы: «экіе морозцы, прости Господи, стоятъ». Но въ описываемое нами время, г. Бергъ, прости его Господи, вѣроятно, ходилъ въ курточкѣ, а въ тогу еще не былъ посвященъ и не либеральничалъ съ зайцемъ и зайчихою. Итакъ, порѣчане не сказали: «экіе морозцы, прости Господи, стоятъ». А морозцы стояли трескучіе.

Кабакъ, нашъ отечественный парламентъ, по случаю праздничной обѣдни, былъ запертъ. Около парламента стояла огромная толпа *муравьевъ*. Муравьи суть крючники, т. е. джентльмены, занимающіеся, при пособіи желѣзнаго крюка, переноскою хлѣбныхъ кулей на своихъ крѣпкокостныхъ спинахъ. Прозваны они муравьями отъ мѣстныхъ бурсаковъ, которые крючника образно представляетъ въ видѣ муравья, а куль его въ видѣ муравьинаго яйца. Муравьи волновались и шумѣли. Одинъ изъ нихъ говоритъ:

— Сказываютъ, тотъ, что поменѣ, кочережку въ узелъ вяжетъ.

— Чаво! замѣчаетъ другой: — камень куланомъ расшибаетъ.

— Да что, братики мои, вмѣшивается третій:—одинъ изъ нихъ, я слышалъ, четвертаки перекусываетъ.

— Ой ли? отвѣтили ему сомнительно: — да ты изъ какихъ?

— Неча хвалиться, мы витѣбскіе, отвѣтилъ смиренно муравей.

— То-то «витѣбскіе»... не ври!..

— Неча врать; что слышалъ, то и сказалъ...

Въ сосѣдней церкви ударили въ колоколъ. Муравьи устремились къ дверямъ парламента, т. е., кабака, и стали ломиться въ двери.

— Дядя Пантелей, отвори! кричали они богу сивушнаго масла.

— Дядя Пантелей, въ церкви къ «достойни» ударили.

— По закону, выходитъ, отвори!

Отъ дяди Пентелея ни гласа, ни послушанія...

— Дядя Пантелей, оглохъ что ли?... Лѣшій!.. Право, лѣшій!.. Вѣдь тебѣ же говорятъ, что къ «достойному» лупятъ... Отвори, чортъ!..

Изъ-за дверей кабака послышался отвѣтъ:

— Ждите молебна.

Муравьи, потерявъ надежду на скорое отпрытіе парламента, порѣшили:

— Неча дѣлать, давай ждать молебна.

— А кто видѣлъ молодцовъ? послышалось въ толпѣ.

— Каво? спросилъ вновь прибывшій муравей.

— Каво!.. не лѣзь... чего прешь-то?.. Ишь ротъ-то разинулъ,—смотри, ворона влетитъ.

— Чаво?..

— Чаво?.. Спишь что ли?.. Вздремнулъ?

— Не лайтесь, ребята, не съ чего, вмѣшался миролюбивый муравей.—Стойте-ка, я лучше разскажу вамъ о молодцахъ.

— Ты видѣлъ ихъ?

— Видѣлъ...

— Каковы?

Сильное любопытство слышалось въ этомъ вопросѣ.

— Ростомъ—вона! заговорилъ, одушевляясь, муравей, неистово мѣряя въ воздухѣ руками: — плеча — эва!.. рожа — вона!... силища, — скажу вамъ, непомѣрная!..

Затрезвонили къ молебну.

— Ребята, луни въ кабакъ!

Муравьи опять устремились къ парламенту.

— Дядя Пантелей, къ молебну жарятъ!.. Отвори!..

Открылись двери кабака. Мужики шумною толпой повалили въ парламентъ.

— Ну, ребята, началъ муравей—тотъ самый, который объяснялъ о молодцахъ, волновавшихъ умы крючниковъ:—ну, братики, теперь собирай складчину.

— На что? спросилъ вновь прибывшій крючникъ.

— На дѣло.

— На кое?

— Тебѣ жъ говорятъ, что изъ Москвы молодцы пріѣхали... просто—богатыри, одно слово — богатыри!.. Сегодня лупку дадимъ порѣчанамъ... Во—что!

— Лихо!.. такъ это имъ сборъ?

— На ведерную...

— Идетъ!.. доброму дѣлу всегда радъ. Вотъ тѣ колесо.

Мужикъ далъ гривну.

— Мало, братикъ, мало.

— Такъ вотъ тѣ еще колесо.

Мужикъ далъ другую гривну.

Начался общій сборъ. Около осьми рублей ассигнаціями—тѣхъ временъ откупная цѣна кабацкаго божка, имя которому «ведерная», — были сложены на доброе дѣло.

Но наконецъ, мы должны объяснить читателю, что это было за доброе дѣло.

Для этого дѣла, зимою, каждый праздничный день, часа въ три пополудни, на дорогу, легшую поперекъ рѣки, собирались крючники и порѣчане играть въ старинную славянскую игру, называемую *боемъ*. Со стороны порѣчанъ сходилось до полутораста человѣкъ, а со стороны муравьевъ вдвое больше. Сначала съ обоихъ береговъ рѣки, на средину ея, сходились обыкновенно мальчики, крича: «дай бою, дай бою!» —призывный крикъ къ битвѣ. Только къ вечеру собирался взрослый народъ; тогда дѣти отодвигались въ правую руку отъ дороги и устроивали здѣсь малое плюходѣйствіе. Кулачная игра имѣла свои правила и постановленія. Прохожихъ, неучаствующихъ въ дѣлѣ, трогать запрещалось; приходить съ вооруженною рукою—тоже! кто упалъ, того не били, а когда увлекался боецъ, кричали ему: «лежачаго не бьютъ». Не позволяли бить съ тылу, а бейся лицомъ къ лицу, грудь къ груди. Эти правила наблюдались строго: нарушителя ихъ били свои же. Въ бою шли стѣна на стѣну, впереди каждой—силачи, а сзади — остальной людъ, напирающій на противниковъ массою... Выигрышъ въ битвѣ состоялъ въ томъ, чтобы выпереть противниковъ на ихъ же берегъ, послѣ чего начиналась на срединѣ новая боевая сходка. Бои существовали съ незапамятныхъ временъ, и запрещены

въ Порѣчнѣ Николаемъ I, лѣтъ четырнадцать назадъ, вслѣдствіе событія, которое мы хотимъ разсказать. Эту игру обыкновенно поощряли купцы и военные... Бывало на Озерной, во время боевого дѣла, стоятъ коляски и сани; въ нихъ сидятъ купцы и офицеры, вызываютъ силачей на единоборство, держатъ пари и сыплютъ въ толпу серебро и бумажки, поощряютъ, жалуютъ. Большая часть денегъ выпадала на долю порѣчанъ: не смотря на то, что ихъ было почти на половину менѣе муравьевъ, они рѣдко обращались въ бѣгство. Работая на верфи, гдѣ приходилось лазить съ топоромъ и долотомъ, лѣпясь, какъ ласточки, по бортамъ суденъ, они естественно, кромѣ силы, пріобрѣтали и ловкость. Притомъ любовь къ дракѣ у нихъ была въ крови. Даже лѣтомъ, когда боевъ обыкновенно не бываетъ, порѣченскіе подростки бились между собою за кладбищемъ, край противъ края. Порѣчане, кажется, только тогда и не дерутся, когда лежатъ въ люлькѣ или зыбкѣ, но лишь только начнутъ ползать по полу, то такъ и норовятъ, какъ бы расшибить носъ своему братишкѣ или сестренкѣ. Бѣдовый народъ. На бою они дѣйствовали дружно, крѣпко, стройно, умно. Муравьи же, хотя и обладали замѣчательною силой, необходимою для ихъ ломовыхъ работъ, но не имѣли ловкости порѣчанъ. Правда, если крючникъ ударитъ кого, то ударъ будетъ очень впечатлителенъ, но ему нечасто удавалось ловить подъ свой дубоватый кулакъ лицо противника. Поэтому муравьи нечасто одерживали побѣду. Муравьямъ это было очень обидно, и вотъ они выписали двухъ молодцовъ-братьевъ, пріѣзжихъ изъ Москвы, необыкновенныхъ силачей и притомъ искусныхъ водить бои. О нихъ прослышали и порѣчане.

Въ Порѣчнѣ два парламента. Въ одномъ парла-

ментѣ толпятся порѣчане и рѣшаютъ тотъ же вопросъ, который уже успѣли рѣшить муравьи.

— Я, говоритъ одинъ порѣчанинъ, краснорѣчивый по туземному: —видѣлъ ихъ, какъ есть, своею значитъ личною персоною.

— Такъ, отвѣчаютъ другіе, ободрясь «красно-хитро сплетеннымъ словомъ», думая, что онъ хочетъ отрицать слухи о непомѣрной силѣ богатырей.

— Что-жъ, продолжалъ ораторъ: — значитъ, слѣдуетъ сказать вотъ какъ: народъ, должно полагать, свирѣпый. Силища, должно думать, дьявольская. Словомъ, черти:

— Ихъ двое?

— Какъ есть двое!.. Давеча я былъ за рѣкою у кабака, такъ про одного, просто, диво что толкуютъ. Сказываютъ, что кочережку крутитъ, какъ веревку; булыжникъ кулакомъ расшибаетъ; даже говорили, что четвертаки перекусываетъ. Но главная сила все-таки не въ томъ.

— Въ чемъ же?.. въ чемъ?

— Они бои важивали и всегда расшибали.

— Экіе черти!.. принесло же ихъ!..

— Да, принесло вотъ.

Вѣсти нехорошо дѣйствовали на порѣчанъ. Хлестневъ, первый силачъ, послѣ нашего героя, проговорилъ:

— Коли правда, что эти свиньи чѣтвертаками облопались, то надо вести дѣло умѣючи.

— А что противъ силы предпримешь!

— Глупъ ты. Вотъ какой, значитъ, мы репетъ устроимъ: кто посильнѣе, тотъ держись болѣе другъ къ другу, а остальные только отводи... потомъ, всѣ сразу на одного... Сшибемъ одного, я вамъ говорю,

остальные бросятся бѣжать... Да что тутъ толковать? Поручаете мнѣ вести бой?

— Веди, Алексѣй Петровичъ, веди: ты на это ходокъ.

— Ну, и дѣло!.. Да пойдемте, братцы, просить Ивана Семеновича, чтобы помогъ намъ...

— Не больно-то онъ любитъ драться.

— Однако дирался же.

— Сегодня дѣло-то такое—пойдетъ.

Порѣчане выбрали изъ среды себя шесть человѣкъ и отправили ихъ къ Ивану Семенычу.

Ивана Семеныча всѣ знали и уважали, какъ силача. Особенно онъ прославился побѣдою надъ однимъ, какъ выражались порѣчане, заморскимъ богатыремъ. Въ городѣ жилъ одинъ графъ, человѣкъ необыкновенно сильный, спеціально изучившій боксъ и любившій потѣшаться единоборствомъ. У этого графа Ивану Семенычу случилось справлять какую-то работу. — Кто у васъ сильнѣе всѣхъ? спросилъ его графъ. — Я, отвѣтилъ Иванъ Семенычъ. — Ты? Давай бороться.—Какъ же это такъ? А если я сомну васъ? — Ничего. Стали бороться и нашъ герой смялъ графа. Къ этому графу пріѣхалъ однажды англичанинъ, знаменитый боксеръ, о которомъ въ англійской печати упоминалось, какъ объ удивительномъ явленіи природы и кулачнаго искусства. Графъ познакомился съ нимъ, поборолся и былъ побѣжденъ. Закипѣло въ душѣ его патріотическое чувство глубоко оскорбленнаго самолюбія. — А что, спросилъ онъ англичанина: — согласитесь вы подраться съ однимъ знакомымъ мнѣ порѣчаниномъ? Боксеръ согласился. Далѣе предоставимъ разсказъ самому Ивану Семенычу. Вотъ что я слышалъ отъ него. — «Сидѣлъ я и строилъ оконный переплетъ. Слышу, карета ѣдетъ.

Ладно. Но вдругъ карета, значитъ, остановилась около моихъ воротъ. Это что такое? думаю себѣ: колесо что ли сломали? Взглянулъ: ничего не бывало, карета здоровехонька... Что за чортъ?.. Соскочилъ съ запятокъ лакей и идетъ на мой дворъ... приходитъ ко мнѣ и *презентуетъ;* «Ты—Иванъ Семеновъ Огородниковъ?— Я, значитъ. — «Садись въ карету и поѣдемъ». — Зачѣмъ?.. куда? — «Графъ требуетъ.» — Зачѣмъ же въ карету садиться? — «Повеземъ тебя къ графу.» — Да къ чему же въ каретѣ? я и пѣшкомъ могу. — «Не толкуй, говоритъ: на то графская воля.» — Дѣлать нечего, одѣлся и сѣлъ въ карету, — разъ только въ жизни и ѣздилъ въ такомъ экипажѣ. Ошалѣвши, ѣду— ничего не понимаю. Пріѣхали. Позвали меня, значитъ, къ графу. — «Можешь побить, спрашиваетъ, одного дурака?» — То есть, какъ побить? — «Переломать хорошенько кости одному господину?» — Кому прикажете? — «Пойдемъ.» И повелъ меня графъ. Привелъ въ большую залу. Въ залѣ сидятъ на креслахъ, я такъ полагаю, человѣкъ около полутораста, и все это, какъ я узналъ послѣ, родня да знакомые графа Т., тоже — графы да графини, князья и ихъ жены. Видите ли, къ графу-то пріѣхалъ заморскій богатырь и сталъ хвалиться, что его, значитъ, никто не побьетъ въ Россіи; графъ осерчалъ и вытребовалъ меня. — «Не опозорь,» говоритъ. — Какъ Богъ поможетъ, отвѣчаю: — а кого бить прикажете? — «Дерись вотъ съ этимъ господиномъ.» — По серединѣ расхаживалъ какой-то баринъ, какъ есть баринъ, во фракѣ.—Ихъ бить прикажете? — «Да. Но подожди.» Графъ поговорилъ что-то съ англичаниномъ. — «Ступай, и дерись.» — Снялъ я синій суконный армякъ, перекрестился, понатужился, кушакъ лопнулъ, значитъ,—и стали мы драться... Разъярился

я: убью, думаю, а не позволю позорить Россію; но, чортъ знаетъ этого англичанина, извивается, какъ угорь, т. е., ни по чему не могу задѣть его, а онъ лупитъ меня и въ рожу, и въ горло, и въ грудь. Этакихъ ловкачей я и не видывалъ. Подожди же, думаю. Наконецъ изловчился я и саданулъ его по правому плечу; гляжу, рука повисла; а по лѣвому, — другая повисла. Гляжу: онъ еле дышетъ. — Что, голубчикъ? спрашиваю, и замахнулся кулакомъ — убить его пожелалъ: значитъ, не позорь нашего отечества, — да графъ закричалъ: «не тронь!» Въ это время господа стали ревѣть: «ура!», «браво!» «молодецъ!» стали хлопать въ ладошки.—Удружу же я вамъ, думаю себѣ, и взялъ я, поднялъ у англичанина фрачишко, да шелепами, шелепами его и выгналъ вонъ изъ залы. Послѣ бранили за это, говорили, что англичанинъ былъ тоже баринъ, англійскій баринъ, и хотѣлъ искать на графѣ; но все-таки графъ пожаловалъ меня двадцатью пятью рублями, да его гости накидали кучу денегъ.» — Такой подвигъ Ивана Семеныча знали даже ребятишки порѣчанъ. Съ глубокимъ уваженіемъ взирали на него селяне Малой Порѣчны. При громадной силѣ, Иванъ Семенычъ Огородниковъ былъ неустрашимъ и предпріимчивъ. Порѣчане говорили о немъ, какъ о молодцѣ, вотъ еще за какой подвигъ. Тронулся ледъ на рѣкѣ Озерной. Иванъ Семенычъ былъ за рѣкою. Ему непремѣнно надо было попасть домой. Что дѣлать? Иванъ Семенычъ, долго не думая, взялъ двѣ доски и съ ними сталъ переправляться на другую сторону рѣки, чрезъ туго идущій ледъ: положилъ доску на плывущую льдину, прошелъ по ней, положилъ другую доску, которую держалъ въ рукахъ, поднялъ свободную, положилъ новую, прошелъ по ней, и такъ перемѣняя доску за до-

скою, добрался до порѣченскаго берега. Это узналъ генералъ, управлявшій Порѣчною; за смѣлость и молодечество онъ пожаловалъ Огородникова, какъ и графъ, двадцатью рублями. Награда понравилась нашему герою, и онъ, на слѣдующій годъ, уже не по нуждѣ, а изъ желанія получить гонорарій, опять повторилъ переходъ чрезъ движущійся ледъ Озерной. Генералъ узналъ и это. Онъ опять призвалъ Ивана Семеныча, но вмѣсто награды далъ ему очень чувствительную порку, говоря: «ты думалъ еще получить отъ меня деньги? Тогда тебѣ надо было попасть домой, а теперь ты рисковалъ жизнью изъ-за грошей. Такъ вотъ тебѣ.» Но не смотря на порку, полученную отъ генерала, Иванъ Семенычъ своимъ подвигомъ пріобрѣлъ уваженіе себѣ отъ порѣчанъ. При такой силѣ, ловкости, смѣлости и рѣшимости, нашъ герой былъ плутъ и воръ очень искусный: кралъ онъ въ лѣсахъ, кралъ на баркахъ, гонкахъ *), кралъ на рынкахъ, кралъ по домамъ въ городѣ **), гдѣ работалъ, кралъ вездѣ, гдѣ только можно, — и никогда не попадался. У него было нравственное правило, выражаемое фразою: «тотъ не воръ, кто не попался.» — За это достоинство тоже уважали его порѣчане, потому что всѣ они, какъ увидимъ далѣе, были очень представительные мошенники. Иванъ Семенычъ былъ человѣкъ пока не пьющій, и хотя изба его дѣйствительно кололась на двое, но онъ, праведно и неправедно добывая деньгу, копилъ ее очень усерд-

---

*) *Гонками* называются плоты бревенъ, связанныхъ вицами, т. е. крученными еловыми кольями.

**) Замѣчательно то, что порѣчане въ своемъ селеніи другъ у друга почти никогда не воровали. Однажды только обокрали чердакъ дьякона, да и то вѣроятно потому, что не причисляли его къ своимъ.

но: у него подъ печкой лежало двѣсти тридцать четыре рубля, завязанныхъ тряпицею, которая была затянута въ рваный, никуда негодный сапогъ.

Пришли къ Ивану Семенычу послы, но пришли въ недобрый часъ, въ тотъ недобрый часъ, когда ему «бабу было надо», а баба наплевала на него. Онъ былъ человѣкъ упрямый и несговорчивый: что заладитъ, что затѣетъ, то гвоздемъ вбивалось въ его голову; требовались очень крѣпкія клещи, чтобы вырвать изъ головы его засѣвшую въ нее мысль или намѣреніе.

— Иванъ Семенычъ, сказали парламентеры: — мы къ тебѣ съ просьбой.

Они поклонились.

— Съ какой это? спросилъ Иванъ Семенычъ.

— Просимъ, значитъ, тебя сегодня на бой. Помоги намъ.

— Не пойду на бой.

— Иванъ Семенычъ! значитъ, уважь!

Порѣчане кланялись.

— Сказалъ, что не иду: ну, и не иду.

Тутъ вступилъ въ переговоры одинъ изъ выборныхъ, Кругачевъ.

— Иванъ Семенычъ, къ крючникамъ, слыхалъ ли ты, пріѣхали такіе молодцы, что совсѣмъ расшибутъ насъ... срамъ да и только... Ты у насъ, значитъ, первый, какъ есть, силачъ... Помоги, значитъ.., Хорошо ли, самъ посуди, если разобьютъ насъ?..

Напрасно вмѣшался Кругачевъ. Если бы не онъ, такъ быть можетъ, и уломали бы Ивана Семеныча, но Иванъ Семенычъ подозрѣвалъ, что съ Кругачевымъ знается Аграфена Митревна. Онъ только озлилъ нашего героя.

— Да если бы, отвѣчалъ онъ: — изъ тебя сегодня

духъ вышибли, такъ мнѣ — все одно... даже было бы и ладно...

— Спасибо, Иванъ Семенычъ, на добромъ словѣ: значитъ, уважилъ насъ... Вѣдь мы не отъ себя къ тебѣ пришли, а значитъ отъ Порѣчны... Не честно поступаешь, право не честно.

— А вотъ я лягу на печку, отвѣчалъ нашъ герой: — и буду лежать, и ей Богу, слова больше не скажу вамъ, а вы стойте тутъ да лайтесь.

Иванъ Семенычъ полѣзъ на печку. Онъ рѣшился, чтобы ни говорили ему порѣчане, ни слова не отвѣчать имъ. Человѣкъ онъ, какъ уже сказано, былъ характерный, человѣкъ воли сильной. Это порѣчане знали, и потому, потерявъ надежду на его участіе въ бою, начали, желая хоть сорвать свое сердце, ругать его.

— Ахъ, ты подлецъ, подлецъ! говорили они: — сволочь проклятая!.. тавлинникъ!.. околѣлый песъ!.. татаринъ ты этакой!.. нехристь!.. своихъ выдаешь!.. халуй московскій!

Однимъ словомъ — пошли писать.

Иванъ Семенычъ молчитъ. Казалось, никакимъ словомъ нельзя было прошибить Ивана Семеныча; но мнимый соперникъ его, Кругачевъ, отыскалъ такое слово.

— Послѣ этого, сказалъ онъ: — тебѣ всякая баба въ рожу плюнетъ.

Зарычалъ Иванъ Семенычъ, но выдержалъ себя: ни слова не отвѣтилъ.

— Еще вздумалъ волочиться за Аграфеной Митревной... Да она за твою подлость тебѣ глаза выцарапаетъ, околѣлый чортъ!

Доняли, проняли Ивана Семеныча. Хотя онъ опять выдержалъ себя — слова не сказалъ, но теперь онъ

всталъ сначала на четвереньки, потомъ сѣлъ на печи, свѣсилъ ноги и пристально, не мигая, началъ смотрѣть на враговъ...

— Чего буркалами-то уставился на насъ?.. Лошадь ты этакая!.. Свинопасъ!.. Встрѣться-ка ты съ Аграфеной Митревной, — она тебѣ всю бороду выщиплетъ!..

Ярость неописанная сверкнула въ разширившихся зрачкахъ глазъ Ивана Семеныча, на шеѣ его вздулись жилы, какъ бичевки, задрожали губы, грудь стала работать, какъ паровая машина... Это, милостивые государыни и государи, въ немъ любовь бродила... Да, онъ страстно, бѣшено, могуче любилъ порѣченскую красавицу, Аграфену Митревну. Такъ способны любить только сильные тѣломъ и духомъ люди, и кромѣ того— люди мало развитые. Онъ готовъ былъ вышибить духъ изъ своего мнимаго соперника; онъ способенъ былъ схватить Аграфену Митревну, безъ всякаго съ ея стороны согласія, въ свои сампсоновскія объятія, и пусть она кричитъ и кусается, онъ будетъ смачно цаловать ее и плотно прижимать къ своей широкой груди ея широкую грудь. Надо сказать, что порѣчанки любили такихъ молодцовъ, хотя отказъ нашего героя учавствовать въ бою могъ очень сильно уронить его во мнѣніи мѣстныхъ дамъ (бабъ тожъ).

— Аграфена Митревна тебѣ, подлецу...

Дикимъ звѣремъ спрыгнулъ Иванъ Семенычъ съ печи.

Послы знали, съ кѣмъ имѣютъ дѣло, и потому въ одно мгновеніе не стало въ хатѣ ихъ вражьяго духу...

— Такъ-то!..

Вотъ и все, что на тотъ разъ произнесъ Иванъ Семенычъ.

Въ Порѣчнѣ прошла вѣсть о томъ, что Иванъ Семенычъ отказался отъ боя. Взволновалась Порѣчна. Ругань на нашего героя повисла надъ нею... Даже всѣ дамы ротъ растегнули, а если порѣченская дама (баба тожъ) начнетъ ругаться, то хоть отъ святыхъ откажись—неси ихъ вонъ! Иванъ Семенычъ лежалъ на печи и слышалъ, какъ растегнувшія ротъ дамы, проходя мимо его дома, ругали его на всю вселенную. Ему послышалось даже, что Аграфена Митревна, зазноба его сердца, обозвала его околѣлымъ чортомъ. Порѣченскія дамы глубоко сочувствовали, что увидимъ далѣе, боевой славѣ своихъ мужей и братьевъ; питали въ душѣ своей глубокое чувство мѣстнаго патріотизма. Иванъ Семенычъ лежалъ на печи и слушалъ съ крупною, строптивой, кабаньей злостью направленную на него порѣченскую брань.

— Лайтесь! думалъ онъ, поворачиваясь на печи съ боку на бокъ. Раздраженныя его отказомъ, мимо его дома идущія бабы (дамы тожъ), ругали его очень голосисто. Ивану Семенычу опять послышалось, что его бранитъ Аграфена Митревна...

— Подожди же, я тебѣ, значитъ, и устрою *паперименъ*, сказалъ онъ, вскакивая на ноги.

Выбѣжалъ Иванъ Семенычъ на улицу.

На улицѣ никого не оказалось.

— Бабы!... свиньи!... проговорилъ Иванъ Семенычъ.

Ушелъ онъ домой и, легши опять на лежанку, закрылся тулупомъ.

— Тяжко! сказалъ онъ; но послѣ стерпѣлъ, не позволилъ себѣ даже предъ собою высказать вслухъ свои чувства — и замолчалъ.

. . . . . .

Не попусти Господи такъ сильно и такъ неудачно, какъ Иванъ Семенычъ, любить кого нибудь: такая любовь уводитъ въ Сибирь такихъ молодцовъ, какъ нашъ герой, а людей — послабѣе его силою воли — загоняетъ въ кабаки, либо въ петлю.

Избави всѣхъ, Господи ты Боже нашъ, отъ подобной любви!..

V.

О томъ, какъ въ порѣчнѣ всѣ дамы ротъ застегнули.

Яркое солнце облило своимъ свѣтомъ пелену закрѣпленной морозомъ рѣки, дробя свои лучи въ кристаллахъ ледяныхъ плитъ, разнообразно расписанныхъ на полѣ фарватера.

— Дай бою! дай бою! слышалось на Озерной.

— Дай бою! дай бою! откликались съ другого берега.

Дрались пока мальчишки. Но къ тремъ часамъ собралось кульеносное и порѣченское воинство. Молодой народъ отодвинулся въ сторону.

Въ городѣ, которому Порѣчна служила предмѣстьемъ, разнеслась молва, что на Озерной будетъ данъ знаменитый, небывалый бой.

Къ тремъ часамъ вечера Озерная покрылась массами бойцовъ и экипажами любителей изъ купцовъ и военныхъ; берега были полны народомъ. Любопытно было посмотрѣть на порѣчанокъ, а особенно послушать: страшный визгъ, вылетающій изъ ихъ грудныхъ мѣховъ, волновалъ воздухъ. Бабы все еще были съ растегнутыми ртами... Воемъ выли дамы.

Муравьи съ порѣчанами уже дрались. Но это не было обыкновенное, болѣе или менѣе одушевленное боедѣйствіе: дрались въ ожиданіи чего-то... Но вотъ со стороны крючниковъ вдругъ раздался крикъ:

— Наши, назадъ!.. Ломи на свой берегъ!..

Толпа муравьевъ бросилась бѣжать... Можно было подумать, что ихъ гонятъ... Но этого не было. Порѣчане слышали команду Хлестнева:

— Стой, ребята!.. ни съ мѣста!.. они теперь не даромъ дали тягуна. Значитъ, молодцы пришли... Ну, ребята, слушаться теперь меня... Мы не съ дураками будемъ имѣть дѣло... Крѣпкимъ строемъ надо дѣйствовать; иначе и бою нечего затѣвать.

— Ребята, слушаться Ивана Хлестнева, было отвѣтомъ.

— Вытряску дадимъ, кто выйдетъ изъ-подъ начала.

— Слушайте же, говорилъ Иванъ Хлестневъ: — я поведу правое крыло; ты, Копорякъ, — лѣвое, ты, Васька-Жидокъ, въ центру встань; около меня держись Алеха Косой, Микита Обручевъ, Мизгиревъ да Петруха Сычъ...

— Чего жъ ты Сычомъ-то лаешься? было отвѣтомъ отъ Петрухи...

— Извини, голубчикъ: не мною прозванъ...

— А ты не лайся!.. вотъ что!..

— Ну, молчать, Сычъ! закричали бойцы...

— Слушаться начальства!..

— Коли такъ, я и съ бою уйду, сказалъ Сычъ.

— А трепки хочешь?

— Братцы, голубчики, заговорилъ Иванъ Хлестневъ: — не ссорьтесь... вѣдь не время... опозоримся... Петруха прости меня; обидѣлъ нечаянно — некогда было слово обдумать... дѣло-то горячее подошло!..

— Да что съ нимъ толковать? Въ рожу его?..

— Братцы, началъ примирительнымъ тономъ Хлестневъ...

— Лупи его...

Къ Сычу бросились порѣчане, съ намѣреніемъ избить его.

Иванъ Хлестневъ, видя, что въ его ополченіи развивается междоусобіе, голосисто и громко крикнулъ:

— Молчать всѣ!.. Кто слово скажетъ, своими руками задушу; ей Богу, вцѣплюсь въ глотку и задушу... Я здѣсь сильнѣе всѣхъ... Кто противъ меня?.. Тронь лишь кто Петруху, тому кости, какъ въ мѣшкѣ, встряхну. Слышали?..

Возстаніе стало утихать. Сычъ молчалъ, потому что съ одной стороны побаивался порѣчанъ, а съ другой былъ удовлетворенъ тѣмъ, что его сторону принялъ Иванъ Хлестневъ... Но, не смотря на это, изъ толпы все-таки послышался голосъ, обращенный къ предводителю:

— И на тебя есть сила...

— Гдѣ это? Кто сказалъ, выходи!.. Гдѣ есть на меня сила?

— У Ивана Семеныча Огородникова...

Хлестневъ языкъ прикусилъ, но однако скоро нашелся:

— Да Иванъ-то Семенычъ, сказалъ онъ: — подлецъ,—въ такое время и оставилъ насъ... Я же рожи своей не пожалѣю, а за дѣло постою... вотъ что!..

Послѣ этого, дѣло приняло хорошее направленіе: всѣ начали ругать нашего героя, а Сыча и предводителя оставили въ покоѣ...

Этой минутой воспользовался Хлестневъ.

— Ну, ребята, слушайте же, началъ онъ...

— Слушай, ребята, слушай! было отвѣтомъ...

— Ты, Конорятъ, говоритъ Иванъ Хлесткевъ: — возьми себѣ тоже четырехъ, которые покрѣпче; ты, Жидокъ,—также... Что около вожаковъ, должны защищать ихъ, а вожаки намъ, значитъ... Въ центрѣ у нихъ будетъ слабо,—въ центръ и жарь... На ихъ вожаковъ слѣдуетъ напасть сразу пятеромъ или шестеромъ, и положить, какъ ни на есть, во что ни стало, на землю... Помните, что сначала намъ слѣдуетъ стоять, какъ можно, дружно: избави Боже, если на первыхъ порахъ попятятъ насъ,—зазнаются и тогда ничего не подѣлаешь... Слышали?.. Братцы, не жалѣйте рожи; дѣло подошло больно важное!.. Ну, стройся!.. Живо!..

Порѣчане строились. Построившись на средней рѣки, они тихо, почти не говоря ни слова между собою, дожидались врага. Совершалось что-то торжественное... Всѣ окрестности смолкли... Даже порѣченскія дамы на время ротъ застегнули... Въ коляскахъ и саняхъ привстали на ноги офицеры и кунцы... Воздухъ замеръ... Что-то будетъ?..

Кульеносное воинство было построено, прибывшими къ нему молодцами почти такъ же, какъ и порѣченское, получило тѣ же наставленія и выступило изъ-за барокъ, зимовавшихъ на рѣкѣ...

Тутъ-то въ первый разъ показались молодцы. Они шли по бокамъ огромной толпы крючниковъ и самоувѣренно вели ее въ бой. Не даромъ прошла молва объ этихъ двухъ братьяхъ. Всѣ любовались на нихъ. Оба они напоминали собою картины древнихъ гереевъ, у которыхъ мускулатура была чрезвычайно развита, и тѣло братьевъ было крѣпко связано костями и сшито жилами. Старшій братъ, ведшій лѣвое крыло,

бинъ ростомъ съ Петра I и силенъ, какъ Петръ I; младшій былъ ниже, но уко брату, но взялъ шириною корпуса: плечи и плавленая, какъ представлялось, грудь — поражали своими размѣрами, — онъ былъ сильнѣе брата... Братья были красавцы собою, типа кровно-русскаго... Гдѣ уродились такіе молодцы? — говорили, что подъ Москвою... Если бы славянофилы видѣли ихъ въ описываемую нами минуту, то они бы поставили имъ не то чтобы ведернаго божка, а сороковедерную ботинью, да боченокъ селедокъ на закуску; славянофилы даже откупили бы для нихъ цѣлый россійскій парламентъ, т. е. кабакъ. Шли братья съ свѣжимъ, открытымъ, играющимъ какъ зарево румянцемъ на бѣлыхъ лицахъ; «кудри русыя лежатъ скобкою», походка степенная, во всѣхъ движеніяхъ сдержанность, но не смотря на сдержанность, въ позитурѣ братьевъ было много безпечности и удали, нравящейся и не-славянофиламъ; все въ нихъ было складно, плотно, положительно... Нельзя было не залюбоваться на молодцовъ: красота, соединенная съ силою, увлекаетъ невольно, будь то красота мужчины или женщины. Одѣты они были щегольски, хотя и довольно легко, не смотря на трескучій морозъ, потому что шли на дѣло жаркое — согрѣются... На головѣ были надѣты вотиковыя шапки, бюстъ покрытъ бѣлыми, чистыми шерстяными суфайчами, изъ-подъ суфаекъ выпущены красныя, новаго нѣмецкаго ситца, рубахи, далѣе шли новые плисовые шаровары, опущенные въ козловые сапоги со скрипомъ... Это ли не щеголи?... Разсказывали, что молодцы-братья были люди богатые; ихъ побудила идти на бой не ведерная, а то, что въ душѣ ихъ была сильно развита страсть, выражаемая словами: «раззудись, плечо; размахнись,

*

кулакъ!» Порѣчанки, увидавъ молодцовъ, только ахнули, и многія изъ порѣчанскихъ бабъ (дамъ тожъ) въ ту минуту измѣнили туземному патріотизму. Къ числу такихъ, увѣряемъ, не принадлежала Аграфена Митревна. Тѣмъ хуже для нашего героя...

. . . . . .

Стѣна муравьевъ подошла къ стѣнѣ порѣчанъ и завопила благимъ воемъ:

— Дай бою, дай бою!...

Порѣчане вызывали ихъ съ своей стороны:

— Дай бою, дай бою!..

— Бей ихъ! скомандовали братья-силачи.

Муравьи, сверхъ своего обыкновенія, дружно и стройно ударили на порѣчанъ. Порѣчане стойко приняли ихъ.

И грянулъ бой, порѣченскій бой!

Тяжело было смотрѣть на бившихся. Положимъ, что бой, хорошо организованный, можетъ быть прекрасною гимнастическою игрою, но когда игра развивалась до такого соревнованія, какъ въ описываемый нами день въ Порѣчнѣ, то, глядя на нее, чувствовалось замираніе сердца. Къ игрѣ примѣшивалось чувство мести и отплаты; порѣчане и зимой, и лѣтомъ обкрадывали барки, стоявшія на Озерной, и крючники не долюбливали ихъ... И въ настоящемъ случаѣ вышло побоище, увлекавшее вниманіе размѣрами своего плюходѣйствія. Одни боевые вопли «дай бою» и «бей ихъ» производили потрясающее впечатлѣніе. На этотъ вой порѣченскія дамы, разцвѣтившія берегъ своими платьями и кацавейками, отозвались оглушающимъ уши визгомъ. Застонала окрестность.

Порѣчане выдержали твердо мочучій напоръ крючниковъ. Бились жестоко. Били тяжолыми кулаками по

лицу, въ плеча, въ грудь, въ животъ. Самое ярое мѣсто, кипящей дракой, было около меньшого брата-богатыря и Ивана Хлестнева.

Хлестневъ, давъ страшную затрещину противнику, крикнулъ своимъ:

— Бей въ середку!

Но въ ту минуту онъ былъ отброшенъ противникомъ. Порѣчане, по его приказу, ударили въ центръ непріятеля, но этотъ натискъ, будучи предугаданъ старшимъ братомъ, былъ отраженъ имъ.

Порѣчане смѣшались...

— Бѣгутъ! крикнули муравьи: — лупи ихъ!.. бей ихъ!..

Порѣчане отъ такого крика совершенно растерялись... Муравьи наперли... Не устояли порѣчане и бросились въ бѣгство...

Что подѣлалось съ окрестностями?

— Нашихъ бьютъ... бѣгутъ наши!.. гонятъ ихъ!.. кричали, растегнувши рты, порѣченскія дѣвицы и бабы.

Офицеры и купцы приготовляли серебро и ассигнаціи для побѣдителей. Муравьи, догоняя затылки враговъ, стономъ стонали. Порѣчане приглашали другъ друга къ порядку.

— Стройся, ребята! кричалъ Хлестневъ.

— Гони ихъ!.. Отдоху не давай! кричали крючникамъ братья-предводители.

— Когда такъ, бѣги, что есть мочи! распоряжался Хлестневъ.

Порѣчане помчались съ быстротою полевого вѣтра. Муравьи, одѣтые въ тяжолые тулупы и сапоги, отстали отъ нихъ... Порѣчане успѣли уйдти отъ своего врага сажень на пятнадцать.

— Стой теперь и живо стройся! приказалъ имъ Хлестневъ.

Порѣчане быстро заняли позицію прежняго строя. Когда на нихъ бросились догонявшіе ихъ враги, они до того дружно встрѣтили ихъ, что попятили назадъ. Тогда братья стали строить своихъ, смѣшавшихся во время догонки, подъ градомъ всевозможныхъ заушеній. Успѣли въ томъ.

Характеръ битвы перемѣнился.

Стали биться очень плотно, дружно и хлестко. Порѣчане хотя были и теперь тѣснимы, но отступали, въ строгомъ порядкѣ, по вершку, по полувершку. Однако пядень за пяденью отодвигала ихъ назадъ несломимая сила крючниковъ. Тяжело было смотрѣть на знаменитую битву. Это была уже не игра. На всѣхъ лицахъ написано откровенное желаніе сломать у своего врага и выщибить вонъ какую нибудь основную часть тѣла. Хлестневъ и меньшой братъ опять боролись между собою. Они сыпали другъ другу страшные удары, но лица ихъ и грудь окаменѣли, точно они были не люди, а какія-то изваянія. Окровавились, жестоко бьются, до лома костей бьются, но ни одинъ не сдѣлаетъ фальшиваго полуоборота, изучаютъ каждый взмахъ и ударъ другъ друга. Это была уже не игра, а какое-то глубоко-сосредоточенное, научно-кулачное занятіе. Душа замираетъ у бориовъ, но и при замираніи сохраняется полное присутствіе духа... Что это за сфинксовыя лица?.. Изрѣдка скрипитъ челюсть; изрѣдка хруститъ кость... Совершается дѣло, если хотите, колоссальное, поэтическое, ярко характеризующее народную натуру, и въ то же время такого рода дѣло, котораго лучше бы не было на Руси.

Хлестневъ первый не выдержалъ характера. Бѣ-

множество заходило въ крови всѣхъ его жилъ. Онъ рѣшился вышибить духъ изъ своего врага. Но ему сильно ударили въ лицо...

— Браво, москвичи! крикнули купцы и офицеры.

Хлестневъ вышелъ изъ себя.

— Убью! крикнулъ онъ, и бросился дикимъ кабаномъ на меньшого брата.

Меньшой того и ждалъ. Онъ подставилъ ногу увлекшемуся порѣчанину и свалилъ его на снѣгъ.

— Бѣгутъ, бѣгутъ! заревѣлъ меньшой.

Порѣчане и не думали бѣжать, хотя главный силачъ ихъ лежалъ на снѣгу; но кличъ «бѣгутъ», нарочно употребленный въ дѣло, чтобы смутить ихъ, распространилъ среди ихъ страхъ.

— Бей ихъ!... ломи!

Порѣчане стали мѣшаться.

— Напирай!..

Порѣчане побѣжали, и вмѣстѣ съ ними предводитель ихъ, Иванъ Хлестневъ, уже успѣвшій встать на ноги. Хлестневъ хотѣлъ снова строить своихъ, но не успѣлъ въ томъ... Муравьи тяжело преслѣдовали ихъ по пятамъ, но стройно и въ порядкѣ. Стыдъ и досада были на лицахъ порѣчанъ; порѣчанки ротъ растегнули и голосисто взвыли на все поселеніе; офицеры и купцы звенѣли деньгами...

Порѣчанъ наконецъ выгнали на горку... Они съ понуренными головами изъ-подлобья посматривали на своихъ дамъ...

— Ахъ, вы тавлинники! говорили дамы... — Вамъ не на бой ходить, а чулки вязать... Молокососы!... Мужварью, сиволапымъ уступили...

— Противъ силы что подѣлаешь? отвѣчалъ Копорякъ...

— Азачѣмъ у тебя голова на плечахъ? спросила Аграфена Митревна.

— Думать...

— Ничего тутъ не выдумаешь...

— Дуракъ и есть.

— Молчать, бабье!.. Всякая сволочь туда же съ совѣтомъ суется...

— Охъ, вы-то, тавлинники, не сволочь?... Не даромъ и шею накостыляли вамъ... Еще не такъ бы слѣдовало...

— Молчи лучше, паскуда, закричалъ Копорякъ, замахиваясь на Аграфену Митревну.

— Что, горе-богатырь? закричали другія дамы:— съ мужиками не справиться, такъ съ бабами въ бой!..

У Копоряка руки опустились...

— А все подлецъ Иванъ Семеновъ,—заговорилъ Хлестневъ: — въ такой день — и отказался отъ бою!..

— И уважимъ же мы ему.

— Всю избу разнесемъ по щепамъ.

Иванъ Семенычъ опять послужилъ громоотводомъ для гнѣва, стыда и досады порѣчанъ... Горе, горе Ивану Семенычу! Онъ тоскуетъ о томъ, что ему «бабу надо», а теперь, послѣ его измѣны туземному патріотизму, ни одна баба не станетъ съ нимъ женихаться... Лежитъ онъ себѣ на печи и не знаетъ, какъ злы на него порѣчанки, какъ крѣпко бранятъ его.

Между тѣмъ мужики отошли на средину рѣки, построились здѣсь и ожидали порѣчанъ для новой схватки.

— Дай бою!.. дай бою!.. вопили они теперь вполнѣ самонадѣянно...

— Что дѣлать, ребята?.. бою просятъ.

— Что дѣлать! драться значитъ надо...

— Вѣдь опять расшибутъ?

— Пусть!.. Не по домамъ же идти...

— Вотъ что, братцы: человѣкъ пятьдесятъ останется въ засадѣ, за избушкой... Случись, если подгонятъ насъ къ берегу, запасные неожиданно — бей въ бока... Мужичье подумаютъ, что это новые, свѣжіе прибыли, струсятъ и дадутъ тягу, а тутъ знай—лупи... знай, лупи!..

— Ловко придумано!..

— Такъ стройся, ребята!

— По старому?

— По старому.

Построились порѣчане и двинулись на ожидавшихъ ихъ мужиковъ. Сошлись и схватились. Но порѣчане, потерпѣвъ въ первомъ бою пораженіе, дѣйствовали не такъ самоувѣренно, какъ всегда: крючники же нисколько не сомнѣвались въ томъ, что они одержатъ побѣду: теперь не только матеріальная, но и моральная сила была на ихъ сторонѣ. Они сразу пошатнули порѣчанъ и на этотъ разъ не дали имъ даже вторично построиться, — въ одинъ пріемъ прогнали до берега. Около берега Хлестневъ крикнулъ:

— Засада!..

По этой командѣ, изъ-за избушки ударили скрывавшіеся порѣчане въ бока мужицкаго ополченія. Какъ и ожидать должно было, мужики пришли въ недоумѣніе, смѣшались, попятились и едва не обратились въ бѣгство; но братья-предводители съумѣли остановить ихъ и снова двинуть впередъ... Замыселъ Хлестнева не удался. Крючники выперли врага на улицу, а сами встали на берегу. Многіе изъ побѣжденныхъ были безъ шапокъ. На боякъ существовалъ обычай, по которому побѣдители имѣли право хватать съ головы противни-

ковъ шапки и обращать ихъ въ свою собственность, въ видѣ приза. Теперь уже и дамы не бранили своихъ мужей и братьевъ: онѣ видѣли храбрость и усердіе ихъ, и видѣли, что не въ ихъ средствахъ побѣдить непріятеля... Пошли совсѣмъ другіе толки.

— Силы неравны, говорили они: — насъ вдвое меньше... Еще бы они выставили тысячу человѣкъ...

Мужики отодвинулись на средину рѣки.

Въ это время одинъ богатый купецъ позвалъ къ себѣ Ивана Хлестнева.

— Что, голубчикъ, намылили сусалы?

. . . . . .

На этомъ мѣстѣ прерывается рукопись Н. Г. Помяловскаго.

Припоминая неоднократные разсказы покойнаго автора о порѣчанахъ, мы вкратцѣ сообщаемъ здѣсь о дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ боя.

Пріѣзжіе купцы стали шибко подсмѣиваться надъ Хлестневымъ и его товарищами и разозлили его не на шутку. Порѣчане тоже слышали эти насмѣшки и хмурились: оскорбленное самолюбіе стало заговаривать въ нихъ, кулаки сжимались... Наскоро собралъ ихъ Хлестневъ и объявилъ рѣшительно, что сдаваться не слѣдуетъ, что теперь дѣло идетъ о чести цѣлой Порѣчны и что, послѣ этого, всякій крючникъ имъ въ глаза наплюетъ. Воодушевились порѣчане: — «костьми ляжемъ, а сраму такого не потерпимъ!» крикнули они и дружно тронулись на средину рѣки, на новую схватку. Снова завязался бой жаркій, изступленный...

Въ это время Иванъ Семенычъ Огородниковъ, соскучившись дома, вышелъ посмотрѣть на бой. Дамы порѣ-

ченскія встрѣтили его съ визгомъ да съ руганью, но Иванъ Семенычъ на это не обратилъ вниманія и отошелъ въ сторонкѣ. Сразу увидѣлъ онъ, что силы дерущихся не равныя, что порѣчане хоть и храбро дерутся, но противъ силы устоять не смогутъ, и началъ въ немъ мало по малу пробуждаться патріотизмъ порѣченскій. Долго сдерживался Иванъ Семенычъ, но удаль меньшого брата-крючника окончательно раззадорила его; такъ и валитъ онъ порѣчанъ направо да налѣво: что дастъ раза—то съ ногъ долой, а силы равной ему между порѣчанами нѣтъ.—«Такъ погоди жъ, подумалъ Иванъ Семенычъ:—найдемъ и на тебя силу!..» И вспыхнула вся кровь у молодца, жилы налились кровью, кулаки сжались... Мигомъ сорвалъ онъ съ себя шубу, засучилъ рукава и, самъ не свой, бросился въ битву. Врѣзался онъ въ правое крыло дерущихся и, не давъ никому опомниться, съ-налета свиснулъ кулакомъ въ високъ меньшого брата. Зашатался герой и, какъ снопъ, рухнулъ на снѣгъ, обливаясь кровью. Бойцы пріостановились, стихли... Но тутъ открылось скверное дѣло: кулаки меньшаго брата разжались и въ каждомъ кулакѣ его оказалось по двѣ большихъ мѣдныхъ гривны *). Теперь только поняли бойцы, въ чемъ заключалась страшная сила этихъ кулаковъ. Муравьи сейчасъ же смѣшались и побѣжали на утекъ, а порѣчане съ ожесточеніемъ бросились на лежачаго и начали бить его, чѣмъ попало и куда попало. Они въ клочки разорвали бы его, еслибъ въ это дѣло не вмѣшалась полиція и не разогнала порѣчанъ. Изуродованнаго молодца за-мертво стащили въ нанюю-то больницу, гдѣ онъ на другой день и померъ. Послѣ этого случая, кулачные бои были строго запрещены, и порѣчане, если гдѣ и устроивали потомъ мелкія сходки, то тайкомъ, да озираясь...

Иванъ Семенычъ былъ главнымъ героемъ этого финала и такимъ образомъ кровью вражеской смылъ пятно съ чести

*) Надо замѣтить, что на такихъ боямъ позволялось драться только кулаками и у кого въ кулакахъ находили свинчатки или гривны, тѣхъ жестоко проучивали, какъ подлецовъ, и пощады въ этомъ случаѣ не было никакой.

порѣченской. На берегу дамы встрѣтили его съ восторгомъ, и Аграфена Митревна тутъ же согласилась выйдти за него замужъ.

Во второй части этого разсказа авторъ хотѣлъ описать семейный бытъ порѣчанъ, бытъ, имѣющій свои особые, характерные оттѣнки. Изъ этой части въ бумагахъ покойнаго нашлась только одна глава, набросанная вчернѣ, которую мы и помѣщаемъ здѣсь. Изъ этой главы читатель можетъ судить о главныхъ основахъ порѣченскаго семейнаго быта.

О ТОМЪ, КАКЪ ПОРѢЧАНЕ ЛУПЯТЪ ПО ПУТИ ПРОГРЕССА.

Сегодня Иванъ Семенычъ съ Аграфеной Митревной — оба находятся въ самомъ пріятномъ настроеніи духа. Супругъ не дуется, не глядитъ медвѣдемъ, дѣти его не боятся; его благовѣрная медвѣдица, не смотря на свой сорокалѣтній возрастъ, вспоминала юные годы своей съ нимъ сипондряціи и, отыскавъ довольно мягкое мѣсто между бакенбардами и носомъ своего мужа, влѣпила въ то мѣсто довольно могучую безешку; дѣтямъ своимъ, она не даетъ зуботрещинъ, не дергаетъ ихъ за волоса, не гоняетъ изъ дому. Мало того, она выглядитъ не прежней амазонкой, а простой россійской женщиной, хорошо знакомой съ плетью — суррогатомъ супружескаго счастья, и радующейся тому, что брачная плеть виситъ спокойно на стѣнѣ. Во всемъ домѣ Огородникова миръ и тишина — эти рѣдкіе гости его жилища. Откуда и какъ явились сюда эти непрошенные гости? Что все это значитъ? Это значитъ то, что сегодня въ Порѣчнѣ храмовой праздникъ Маріи

Магдалины, бывающій 22 іюля. Аграфена Митревна чутьемъ чуетъ, да и по опыту давно знаетъ, что съ этого дня сипондряція ихъ жизни принимаетъ иное направленіе, что мужъ ея въ этотъ день возьметъ изъ рукъ ея жезлъ домоправленія, который долго не выпуститъ изъ своего здороваго кулака. Мы сказали, что въ Порѣчнѣ существовало совершенное полноправіе, какъ женщины, такъ и мужчины, то полноправіе, о которомъ такъ много хлопочутъ наши дамскіе эмансипаторы. Но все-таки порѣченскую эмансипацію мы называемъ сипондряціей, потому что жезлъ домашняго правленія все-таки существовалъ, поперемѣнно переходя въ руки то того, то другого лица, а не то, чтобы бытъ семейный управлялся каждый день и часъ съ общаго согласія мужа и жены и даже при любовномъ вмѣшательствѣ дѣтей. Вотъ почему въ семьѣ поперемѣнно царилъ то мужской, то женскій терроръ. Миръ въ ней наступалъ только въ переходное время, въ которое прекращался женскій терроръ, и послѣ котораго долженъ былъ наступить мужской. Какъ это дѣлалось, читайте далѣе.

День былъ ясный и тихій. Въ Порѣчну черезъ рѣку народъ валомъ валитъ. Вся Озерная покрыта огромнымъ количествомъ яликовъ и ялботовъ. Начиная отъ перевоза до самого проспекта, двумя длинными рядами стоятъ нищіе, убогіе, слѣпые, глухіе, хромые, несчастные уроды, — все, чающее движенія мѣднаго гроша, — тотъ жалкій людъ, который могъ бытъ исцѣленъ только развѣ Христомъ. По проспекту до церкви и отъ церкви до трактира стоятъ палатки и на козлахъ лотки съ разными пряностями. Въ церкви, набитой народомъ, идетъ обѣдня; правый и лѣвый клиросъ, состоящіе изъ

любителей-корѣчанъ, ревутъ и стонутъ, по ихъ мнѣнію, очень благолѣпно. Кладбище переполнено нищимъ, торговымъ людомъ и почитателями праздника, изъ которыхъ между прочимъ большая часть пришла помянуть своихъ родственниковъ и друзей, съ самоварами, кофейниками, водкой и закуской. Стонъ стоитъ на кладбищѣ, потому что многіе, не дождавшись крестнаго хода, уже успѣли справить поминальную тризну, — а на тризнѣ, какъ извѣстно, нашъ православный народъ не ѣстъ, а лопаетъ, не пьетъ, а трескаетъ. За кладбищемъ, на полѣ, расположились до поры до времени фортунки, игра въ кости, медвѣди, обезьяны, ученыя собаки, комедіанты и шарманки. Здѣсь уже довольно весело, потому что часть народа, которая была равнодушна къ Маріи Магдалинѣ, но очень любила всякое празднованіе, развлекалась по мѣрѣ возможности; полиція, получивши слѣдующую ей аксиденцію, смотрѣла на это сквозь голенище.

Такъ зачинался праздникъ.

Но вотъ церковные сторожа яро ударили въ колокола. Хотя въ уставѣ и сказано, что въ большіе праздники «пономарь клеплетъ во всѣ тимпаны тяжко, но не борзяся», однако сторожа очень борзились. Церковныя двери распахнулись настежъ и изъ нихъ показались хоругви, потомъ фонарь, запрестольный крестъ, за ними пѣвчіе—сборная братія, далѣе огромное количество образовъ, несомыхъ большею частью благочестивыми бабами и мальчишками, любящими всевозможныя церемоніи; наконецъ появились попы, а за ними огромная масса народу. Мы должны сказать, что хоры, Богъ ихъ вѣсть когда успѣвшіе кутнуть, усердствовали довольно неблагоговѣйно, да и одинъ изъ дьячковъ урѣзалъ косушечку-другую. Народъ, одинъ за другимъ, составивъ

длинный рядъ, по крайней мѣрѣ въ четверть версты, и нагибаясь лицомъ къ спинѣ сосѣда, проходилъ подъ образами, какъ подъ воротами. Все это было очень занимательно и весело. Крестный ходъ долженъ былъ обойдти своимъ шествіемъ кругомъ всей Малой Порѣчны.

Иванъ Семенычъ, обладая необычайнымъ басомъ, рубилъ какъ топорищемъ: «Христу, насъ ради отъ Дѣвы рождшемуся». Онъ успѣлъ уже пропустить крупную сколбушку конеревскаго иду. Сосѣдъ его, теноръ, имѣвшій пѣвческій талантъ, былъ трезвъ и унималъ его.

— Побойся ты Бога, говорилъ онъ — перестань вопить-то!

— Не бѣда! Ходи по колѣно во щахъ!..

— Вѣдь ты въ крестномъ ходу, а не въ хороводѣ. Ишь нарѣзался.

— Не бѣда! Кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ.

— Эхъ, шаль, что твоей бабы здѣсь нѣту.

— Съ ухватомъ что ли ее въ крестный ходъ?

— Она съ тобой и безъ ухвата управится.

— Баба-то?

— Да, баба. Давно ли она тебѣ трепку давала!

— Баба?

Иванъ Семенычъ возмутился крѣпко, злость въ немъ закипѣла, водка бросилась ему въ голову. Живо и ясно представились ему всѣ обиды, всѣ униженья, принятыя имъ отъ своей супруги. Онъ болѣе трехъ мѣсяцевъ былъ не главою дома, а какимъ-то батракомъ, наравнѣ съ дѣтьми своими, вполнѣ повинуясь кулаку и башма-

ку жены своей. Сосѣдъ пѣвчій тронулъ больное мѣсто Ивана Семеныча.

— Врешь ты, дуракъ, сказалъ онъ: — не боюсь я своей бабы.

— А что же она бьетъ тебя, отчего не даетъ тебѣ денегъ, прячетъ водку, да и самого иногда запираетъ въ чуланъ?

— А хочешь, докажу, что ты врешь?

— Ну-ка, докажи.

Иванъ Семенычъ молчалъ, не зная, что отвѣтить.

— Что жъ ты? Понатужься: докажи.

Иванъ Семенычъ, стиснувъ свой здоровый кулакъ, сказалъ:

— А вотъ, докажу же.

— Чѣмъ?

— А тѣмъ, что приду домой и духъ вышибу изъ своей бабы.

— А ухвата не боишься?

— Пошелъ къ чорту!..

Иванъ Семенычъ отошелъ въ сторону.

— Чортъ ее побери, разсуждалъ Иванъ Семенычъ самъ съ собою. Значитъ мной жена командуетъ — значитъ она глава семейства, а не я? Нѣтъ, этому не бывать. Какъ, значитъ, тресну ее, такъ, значитъ, сразу и покойникъ. Постой же!.. Съ этимъ словомъ Иванъ Семенычъ отдѣлился отъ церковной церемоніи и отправился въ кабакъ. Здѣсь онъ спросилъ себѣ косушку, которую и осушилъ.

Но оставимъ его выпивать и посмотримъ, что дѣлала жена его дома.

Жена конечно со страхомъ поджидала Ивана Семеныча, зная навѣрное, что онъ, по случаю праздника выпьетъ, и потомъ учинитъ какое нибудь буйство. Потому она припрятала все, что было поцѣннѣе, и сама ушла подальше отъ грѣха. Иванъ Семенычъ воротился домой съ четвертью водки и съ толпою гостей и, не найдя жены, началъ бить и ломать все, чдо попадалось ему подъ руку, и затѣмъ выбрасывать за окно. Гости въ страхѣ разбѣжались, а хозяинъ, оставшись въ совершенно пустой комнатѣ, завалился спать. Утромъ на другой день, произошла сцена съ женою: Иванъ Семенычъ ни за что, ни про что поколотилъ ее, и жезлъ домоправленья опять на долго перешелъ въ его руки.

Окончаніемъ разсказа послужило слѣдующее событіе.

Иванъ Семенычъ, заработывая копѣйку, какъ извѣстно, не брезгалъ и воровствомъ, особенно когда представлялся благопріятный къ тому случай. Въ послѣднее время онъ съ тремя товарищами началъ усердно воровать хлѣбъ съ барокъ, стоящихъ на рѣкѣ Озерной. Не видя никакихъ особенныхъ препятствій къ такому промыслу, Иванъ Семенычъ увлекся до того, что ежедневно притаскивалъ по нѣсколько кулей съ мукою, и потомъ за полцѣны сбывалъ ихъ въ ближайшія лавки. Барочники сначала не обращали на это вниманія, и смотрѣли на воровство, какъ на дѣло неизбѣжное при Порѣчнѣ; но когда кули стали убывать слишкомъ замѣтно, они рѣшились ночей не спать — караулить. Иванъ Семенычъ переждалъ нѣсколько дней и, сообразивъ, что сторожа поутомились, снова отправился на промыселъ. Въ темную, осеннюю ночь онъ съ товарищами осторожно подъѣхалъ къ баркамъ и усердно началъ таскать кули. Мужики сразу замѣтили его, но не подали въ томъ ни малѣйшаго виду. Воры нагрузились до самыхъ краевъ лодки, но только-что хотѣли отчаливать, какъ мужики подняли страшный крикъ и со всѣхъ барокъ бросились бѣжать къ лодкѣ съ баграми. Попробовали было тѣ дать тягу, но плотно нагруженная лодка плохо подвигалась впередъ. Мужики, давно сердитые

на подобныхъ гостей, распорядились съ ними очень просто: они окружили лодку и баграми потопили ее вмѣстѣ съ людьми и со всѣмъ грузомъ.

Такъ погибъ главный герой Порѣчны, Иванъ Семенычъ Огородниковъ.

1863.

БРАТЪ И СЕСТРА.

(РОМАНЪ.)

1862

ПРИМѢЧАНІЕ.

Отъ романа «Братъ и Сестра» уцѣлѣли четыре небольшія тетради, написанныя еще въ 1862 году, когда у Помяловскаго только что возникла мысль о романѣ. Въ эти тетради авторъ вносилъ разныя замѣтки по роману, набрасывалъ отдѣльныя сцены, характерныя черты героевъ, описанія природы и собственныя размышленія, которыя думалъ вставить въ романъ. Писалъ онъ каждую замѣтку подъ отдѣльной цифрой, въ томъ порядкѣ, въ какомъ они приходили ему въ голову, безъ всякаго отношенія къ предыдущему и послѣдующему. Приводимъ на выдержку нѣкоторыя страницы рукописи:

«11) Дѣтство и воспитаніе должны опредѣлять характеръ героя.

«12) Статья, написанная объ институтѣ П. О., войдетъ въ романъ. «Невинно падшая» будетъ искать, куда бы пристроить дочь по своимъ средствамъ. Мечта о томъ, какъ дочь (*дѣвка* по обще-принятому понятію) будетъ ничуть не хуже образованныхъ, *невинныхъ* дѣвицъ.

«13) Разговоръ французскій: сивупле, жеву ли не па и т. п.

«14) Дѣвушка-телка. Типъ.

«15) Развратъ въ трехъ слояхъ общества: аристократіи, среднемъ сословіи и низшемъ, причемъ провести мысль, что вся разница между ними въ болѣе или

менѣе изящной формѣ, а сущность одна и та же. Тутъ же развратъ образованныхъ людей и необразованныхъ, развратъ глупцовъ и умниковъ, развратъ богачей и бѣдняковъ, молодыхъ и старыхъ и т. п.

«16) Онъ былъ по натурѣ свирѣпъ; прежде билъ и дрался жестоко, но усвоивъ теоретически гуманныя начала, онъ перешелъ отъ свирѣпости къ мрачности, потому что онъ усиливался быть гуманнымъ, и совѣсть мучила его за прошлое».

Или:

«57)—Извините, я не курю, но я сейчасъ пошлю, какой табакъ вы курите? — Да ужь позвольте, я самъ пошлю. — Да, чортъ возьми, взбѣсившись вдругъ, сказалъ нашъ пріятель: мы не нѣмцы, что ходятъ въ гости со своей бутылкой пива.

«58) Миловидная улыбка женщины? она не рекомендуетъ ее. — Это почему? — Да потому, что мужчинѣ нравится въ этой улыбкѣ заискиваніе, рабство. Вѣдь и мальчишка-ученичонко бываетъ миловиденъ, когда стоитъ передъ учителемъ и заискиваетъ у него.

И такъ далѣе, въ этомъ родѣ набросанъ почти весь романъ. Тутъ даже часто встрѣчаются противорѣчія и невыдержанности, происходящія отъ неяснаго еще представленія характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Встрѣчаются даже переходы автора отъ дѣйствующихъ лицъ къ самому себѣ. Но всѣ эти замѣтки интересны для насъ; онѣ даютъ намъ удобный случай взглянуть на самый процессъ авторскаго творчества и на тѣ матеріалы, изъ которыхъ авторъ задумывалъ создать романъ. Для того, чтобы доставить болѣе интереса въ чтеніи, я изложилъ всѣ замѣтки, по возможности, въ послѣдовательномъ порядкѣ и встрѣчающіеся пробѣлы дополнилъ собственными вставками. При этомъ я руководствовался воспоминаніями о разсказахъ покойнаго и

коротенькимъ расположеніемъ романа, отысканнымъ также между его бумагами.

Нѣсколько разъ покойный разсказывалъ мнѣ въ общихъ чертахъ главную идею своего романа и нѣсколько частныхъ эпизодовъ изъ него. Но, судя по этимъ разсказамъ, въ рукописи очень многаго недостаетъ; такъ напримѣръ, во второй части романа, онъ хотѣлъ въ картинахъ выставить жизнь публичныхъ домовъ, нравы падшихъ женщинъ и вообще всѣ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ похожденій на Сѣнной, но этихъ картинъ въ рукописи нѣтъ. Главная мысль романа слѣдующая: родные братъ и сестра вошли въ жизнь съ потребностями честной дѣятельности и потерпѣли полное фіаско. Братъ, по природѣ *плебей* и ярый проповѣдникъ разныхъ либеральныхъ идей, набросился на общество съ обличеньями и пропагандою новой жизни, но, отъ неумѣнья взяться за дѣло, былъ отринутъ обществомъ, дошелъ до крайнихъ предѣловъ бѣдности и, подъ конецъ жизни, проклялъ свои честныя стремленья. Сестра, будучи гувернанткой, дѣйствовала тѣмъ же путемъ, держалась нравственности въ тѣсномъ смыслѣ и дожила до того, что прокляла свою чистую нравственность. При этомъ авторъ думалъ представить, какимъ образомъ, отъ вліянія нашего общественнаго быта, подленькія мысли незамѣтно прокрадывались въ честныя души его героевъ. Оба эти лица служили нитями, связывающими длинный рядъ отдѣльныхъ типовъ и сценъ, начиная съ салоновъ аристократіи и кончая развратными притонами Сѣнной. Николай Герасимычъ говорилъ, что романъ его составитъ книгу въ 30 печатныхъ листовъ, но намъ кажется, что едвали и въ эту рамку онъ могъ бы умѣстить все, что задумывалъ. Такъ какъ въ романѣ предполагалось много сценъ щекотливыхъ для салонныхъ читателей, то авторъ думалъ въ началѣ романа напечатать предисловіе къ читателю въ такомъ родѣ:

«Мы сочли за необходимое предупредить читателя, что если онъ слабъ на нервы и въ литературѣ ищетъ

развлеченія и элегантныхъ образовъ, то пусть онъ не читаетъ мою книгу. Не скажу, чтобы я былъ циникъ, но предметъ, выбранный мною, циниченъ часто до послѣдняго предѣла. Зачѣмъ же авторъ выбираетъ такіе предметы? А вотъ объяснимся. У насъ есть огромный слой общества, цѣлая масса людей, живущая особенною, мало извѣстною для такъ называемаго образованнаго общества, жизнью, — это бѣдный разрядъ разночинцевъ. Люди они, или нѣтъ? Узнаемте же, что это за существа, и разоблачимте гнойную язву нашего—да, *нашего* общества. Докторъ изучаетъ сифилисъ и гангрену, опредѣляетъ вкусы самыхъ мерзкихъ продуктовъ природы, живетъ среди труповъ, однако его никто не называетъ циникомъ; стряпчій входитъ во всѣ тюрьмы, видитъ преступниковъ по всѣмъ пунктамъ нравственности, отцеубійцъ, братоубійцъ, дѣтоубійцъ, воровъ, поддѣлывателей фальшивыхъ бумагъ и т. п. личностей, изучаетъ ихъ душу, проникаетъ въ самый центръ разложенія нравственности человѣческой, однако и его никто не называетъ циникомъ, а говорятъ, что онъ служитъ человѣчеству; священникъ часто поставленъ въ необходимость выслушивать ужасающую исповѣдь людей, желающихъ примириться съ совѣстью, но и онъ не циникъ. Позвольте же и писателю принять участіе въ этой же самой работѣ и такимъ образомъ обратить вниманіе общества на ту массу разврата, безнадежной бѣдности и невѣжества, которая накопилась въ нѣдрахъ его. Не сразу я рѣшился на это дѣло, зная хорошо, что у насъ общество затыкаетъ глаза и уши, чтобы не видѣть и не слышать горестныхъ звуковъ изъ его же жизни. Но найдется же нѣсколько—да вѣроятно и не мало людей, желающихъ видѣть правду голую, неподдѣльную, взятую изъ выводимаго нами

быта, — для нихъ и пишемъ. Впередъ предупреждаю, что я не обличитель (въ этой фразѣ прошу не искать ничего противъ обличительной литературы). Дѣло вотъ въ чемъ: можно ли человѣка съ отшибленной съ-молоду головой обличить въ томъ, что онъ дуракъ? Можно ли обличать человѣка, вѣчно пьющаго, но у котораго пьянство—болѣзнь, наслѣдованная отъ отца и дѣда и прадѣда? Разсудите дѣломъ. Вполнѣ естественно, что вы съ отвращеніемъ будете смотрѣть на такія явленія жизни, какъ съ отвращеніемъ и нервной дрожью взглянете на глубокую и широкую рану на тѣлѣ человѣка, но вѣдь не ударите же вы его по ранѣ, — вамъ жалко станетъ. «Зачѣмъ же и заглядывать въ рану», скажете вы: «вѣдь намъ не излечить ее». А, нѣтъ! Мы изучимъ ее: не излечимъ мы, излечатъ другіе, быть можетъ. Я и не поучаю никого, это тоже ни къ чему не поведетъ въ настоящемъ случаѣ... Вотъ скажите этому отцу семейства: «посмотри, до чего ты довелъ свою семью пьянствомъ,—и голодъ, и холодъ, и проч.» Онъ, быть можетъ, заплачетъ, горько заплачетъ отъ вашихъ проникнутыхъ любовью рѣчей; представитъ ясно всю гнустность своей жизни, и знаете, какой будетъ результатъ? Раздумавшись и видя безсиліе выбиться на добрую жизнь, онъ махнетъ рукой, скажетъ: «какой я негодяй!... охъ, не могу!... хоть выпить съ горя!» и потащитъ въ кабакъ послѣдній салопишко жены. Зачѣмъ и тратить слова на поученья? да онѣ и не дойдутъ, до кого касаются;—*тамъ*, въ безднѣ, не читаютъ насъ. Будемъ заявлять только факты и, по возможности, ихъ причину, — изъ нихъ всякій можетъ дѣлать выводъ, какой кто хочетъ — наше дѣло сторона. Мы покажемъ вамъ развратъ глубокій, невѣжество поражающее, гдѣ не знаютъ, что такое земля, солнце, лу-

на, вѣтеръ и т. п., и какъ скоты, смотрятъ на явленія жизни и природы; покажемъ бѣдность, до того облежавшуюся, что потеряно и притуплено чувство страданія отъ нея; покажемъ забитость неисходную; покажемъ подлость и низость души закоренѣлую; покажемъ язычество этого слоя, невѣдѣніе основныхъ началъ гражданственности и т. п. Полюбуйтесь! Тутъ будутъ даже отцы, растлѣвающіе и продающіе своихъ дѣтей. Нѣтъ, кому не слѣдуетъ, пусть не читаетъ моей повѣсти».

Первые пять главъ романа, онъ приготовлялъ для январской кн. «Современника» 1863 г. и говорилъ, что у него эти главы вполнѣ написаны и что слѣдуетъ исправить только нѣкоторыя шероховатости въ изложеніи. Первую главу «Соловьи», уже отдѣланную, онъ читалъ почти всѣмъ своимъ знакомымъ, но куда дѣвались эти главы и другія записки по роману—неизвѣстно. Вѣроятно онъ самъ затерялъ ихъ куда нибудь, потому что съ своими рукописями обращался вообще небрежно. За этими исправленіями первыхъ главъ, печатаніе романа было отложено, а потомъ авторъ вовсе не захотѣлъ печатать его. Онъ былъ недоволенъ героемъ романа и говорилъ, что на немъ очень легко можно провалиться. — «Не поймутъ, пожалуй, говорилъ онъ,—что я хотѣлъ выставить эту личность, какъ субъектъ интересный въ психологическомъ отношеніи; подумаютъ, можетъ быть, что и авторъ скорбитъ, зачѣмъ онъ не подлецъ!» Впослѣдствіи Помяловскій предполагалъ разбить громадный матеріалъ романа на нѣсколько отдѣльныхъ повѣстей.

Надо замѣтить еще, что помѣщенный выше отрывокъ «Чебановъ» не имѣетъ никакого отношенія къ разбираемой нами рукописи романа. Н. Г. Помяловскій набросалъ этотъ отрывокъ (въ теченіи 3 часовъ), для литературнаго чтенія, уже тогда, когда задумывалъ сдѣлать кое-какія измѣненія въ романѣ. Въ чемъ состояли эти измѣненія — сказать не можемъ.

БРАТЪ И СЕСТРА.

I.

На быстрой рѣкѣ одной изъ коренныхъ русскихъ губерній есть великолѣпнѣйшая роща изъ дуба, березы, рябины, липъ, черемухи, клена и дикой яблони. Сошлись породы русскихъ деревъ и стали при водѣ. Яркій и жаркій май гоститъ въ рощѣ. До десяти соловьевъ свили здѣсь свои гнѣзда; соловьи свищутъ, и много молодыхъ дѣвушекъ и юношей потрясаютъ воздухъ хохотомъ. Иногда въ кустахъ поцалуй звенитъ. Комары толпятся, муравьи выползаютъ другъ за другомъ, муха мухѣ жужжитъ про любовь и радость, лягушки сладострастно стонутъ.... Цвѣтетъ черемуха, цвѣтетъ рябина, цвѣтутъ яблоня и липа—и отчего это молодая, стройная, одѣтая майскою зеленью береза такъ похожа на стыдливую невѣсту?.. Плодотворная, цвѣточная пыль перелетаетъ изъ одной кучи вѣтвей въ другую. Рыба идетъ стадами въ водѣ, трется о каменья и мечетъ икру... Всякая мышь счастлива, всякая галка блаженствуетъ, у всякой твари бьется сердце радостно. Не только люди, вся сволочь влюблена (*).

(*) Эта картина, какъ намъ извѣстно, была вполнѣ обработана Помяловскимъ. За нею слѣдовало описаніе великолѣпнаго сада князя Кореналова, гдѣ въ то время шли оживленныя игры,—молодые люди взапуски бѣгали за барышнями, а въ ближнемъ оврагѣ происходило нѣсколько романическихъ приключеній. Все это затеряно.

Въ это время, когда свистали соловьи и звенѣли въ воздухѣ поцалуи, въ семьѣ Потесиныхъ совершалась тайна нарожденія человѣка.—Описаніе родинъ. (Изъ воспоминаній, какъ у насъ родился братъ).

Такъ явился на свѣтъ главный герой романа, Петръ Алексѣичъ Потесинъ. О родителяхъ его въ рукописи говорится немного. Извѣстно только, что они были небогатые помѣщики, люди набожные, но съ дворянскимъ гоноромъ; поэтому они старались поддерживать знакомство съ богатыми и знатными сосѣдями, княземъ Кореналовымъ и помѣщикомъ Шестаковымъ, куда былъ вхожъ и маленькій Петя Потесинъ. Но мальчикъ не любилъ почему-то это общество и проводилъ время больше съ крестьянскими дѣтьми да съ своей няней.

Въ дѣтскихъ годахъ героя должно показать тѣ вліянія, которыя создали въ его характерѣ честныя стремленія. Какъ на своей шкурѣ, такъ и на родныхъ, онъ долженъ былъ почувствовать весь гнетъ окружавшей его обстановки. Любя старуху-няньку, Прасковью, кривоглазую дѣвку, слушая сказки и пѣсни народа, играя съ мужичонками въ разныя игры, онъ полюбилъ народъ, и тогда уже у него сталъ складываться особый взглядъ на мужика, — онъ понималъ его. Онъ видѣлъ предразсудки и суевѣрія, бездольную бѣдность и пьянство, замкнутость и глубоко сокрытое въ душѣ ожесточеніе, но понималъ, что первыя истекаютъ изъ положенія мужика: ни отъ кого нѣтъ ему защиты, и простолюдинъ обращается по-неволѣ къ разнымъ домовымъ и лѣшимъ; что его никто ничему не училъ, и вотъ онъ потѣшается Милитрисой Кирбитьевной; что въ винѣ онъ топитъ свое горе. Эта среда передѣлала натуру Потесина въ мужичью, она,

по своей сущности, и осталась мужичьей. Онъ даже раздѣлялъ тяжелый трудъ народа... Но онъ былъ поставленъ счастливѣе мужика...

Изъ описаній дѣтскихъ лѣтъ героя уцѣлѣлъ слѣдующій отрывокъ:

Петя сегодня поутру всталъ довольно рано. По обыкновенію у него безъ крику не обошлось, однако штаны нашелъ скоро и надѣлъ ихъ благополучно, безъ крику и брани. Явился къ кофе, какъ водится, безъ сюртука. Пилъ кофе въ добромъ расположеніи духа, а потому, быть можетъ, набивалъ не въ мѣру ротъ сахаромъ, за что и получилъ замѣчаніе, вызвавшее съ его стороны что-то среднее между плачемъ ребенка и овечьимъ крикомъ. Потомъ Петя катался на конькахъ, ушлепалъ подолъ шубы, за что и битъ достаточно. Послѣ обѣда рисовалъ. Рисунки замѣчательные во многихъ отношеніяхъ. Содержаніе ихъ изъ священной исторіи, въ сплошныхъ, одна подлѣ другой фигурахъ — отъ Адама до входа евреевъ въ землю обѣтованную. Фигуръ до осьмидесяти было нарисовано не болѣе, какъ въ полчаса. Художникъ рисовалъ очень быстро. Кончивъ рисованье, Петя началъ пѣть «волною морскою»: вчера только получилъ онъ понятіе о тактахъ, полутактахъ и четвертяхъ нотныхъ и потому возмнилъ быть великимъ пѣвцомъ. Въ комнатѣ свѣчей еще не было; онъ легъ на брюхо лицомъ къ устью топившейся лежанки, и, качая головою въ тактъ, напѣвалъ, что Богъ на душу положитъ. Потомъ усѣлся писать. Писаніе свое онъ пряталъ, очевидно не желая, чтобы кто нибудь прочиталъ его. Оказалось, что онъ излагалъ свои чувства и мечты относительно науки. Было писано: «когда я былъ маленькимъ (теперь ему 10 лѣтъ), тогда, я очень ве-

село время проводилъ. Я бывало съ Мишуткой, да съ Андрюшей, Васей, Ѳедей, мы бывало играли въ лошадки. А теперь хоть со скуки плачь; отдаютъ въ училище, а я не пойду въ училище, я уйду въ деревню. Меня готовятъ въ училищѣ, но я не хочу». На другой сторонѣ клочка было написано: «Петръ Потесинъ не пойдетъ на экзаменъ, онъ уйдетъ на улицу. Онъ жить будетъ гдѣ нибудь въ сараѣ, или на постояломъ дворѣ, шатаясь съ мѣста не мѣсто, какъ жили прежде славяне, и будетъ питаться хлѣбомъ и квасомъ, и будетъ просить у Бога премудрости. Когда онъ выростетъ, тогда онъ пойдетъ въ монастырь для благоугожденія богу. Если его не примутъ въ монастырь, то онъ отыщетъ себѣ мѣсто и тамъ будетъ проводить время въ счастіи». У Потесина была большая сумка, въ которой онъ тщательно хранилъ свои тетрадки, листы и разные клочки бумажные, на которыхъ ему приходилось когда либо писать. Здѣсь было много стихотвореній; попадались изъ Сумарокова, Державина, Батюшкова и даже два или три Пушкинскихъ; были копіи съ записокъ къ однолѣткамъ-пріятелямъ и товарищамъ, ученическія тетрадки, картинки, билетики отъ леденцовъ и замѣтки въ родѣ выписанной нами. На одномъ листикѣ высчитаны всѣ имена, встрѣчающіяся въ священной исторіи, отъ Адама до Іисуса Навина. Одна тетрадка была подъ заглавіемъ «Дроби»; въ ней ребячьимъ складомъ изложено понятіе о дробяхъ. На полулистѣ озаглавлено: «фокусы и разныя хитрости». (Выписки: летѣло стадо гусей, и проч.) На другомъ полулистѣ означено большими буквами: «кого я не люблю?—французовъ; зачѣмъ Москву сожгли; Ваську дворника, зачѣмъ Петрушку билъ: Ваню Поспѣлова, зачѣмъ барина кор-

читъ; Агафьину свинью, зачѣмъ хрюкаетъ; дьявола, зачѣмъ человѣка соблазнилъ; граматику, зачѣмъ трудная», и проч. Подъ заглавіемъ, «кого я не люблю» потомъ встрѣчается еще нѣсколько листковъ. Мы изъ нихъ сдѣлаемъ выдержки, которыя, по нашему мнѣнію, могутъ характеризовать молодого Потесина. Изъ нихъ будутъ видны его дѣтскія радости и печали, способности, наклонности, умѣнье жить и т. п.

При развитіи характера Потесина обратить вниманіе на деревенскихъ барышень и подростковъ юношей, играющихъ въ саду въ пятнашки, прятки и т. п., гдѣ и разгорается молодецкое сердце Потесина, пятнадцати-лѣтняго мальчика.

Изъ числа знакомыхъ сосѣдей, на Потесина имѣла сильное вліяніе одна дѣвушка, къ которой онъ почувствовалъ нѣчто въ родѣ первой любви, она хотя была старше его лѣтами. Вотъ исторія этой дѣвушки.

Елена Павловна уже въ шестнадцать лѣтъ была дѣвушка почти совсѣмъ развитая, высокая, стройная. Она была красавица въ полномъ смыслѣ. Домашнее воспитаніе не дало ей внѣшней выправки, но отъ природы въ ея манерахъ было много оригинальнаго, самобытнаго, не заученно-свѣтскаго. Въ элегантныхъ обществахъ приняты извѣстные пріемы: какъ держать себя въ свѣтѣ, какъ поклониться, подать руку, встать, сѣсть, улыбнуться; у ней были не эти казенныя манеры, которыя вы встрѣтите въ тысячахъ дѣвицъ, — у ней была своя выправка, созданная ею самою. Мать ея была строгая формалистка; испытавъ неудачную любовь, она хотѣла отстранить отъ своей дочери все, что только могло развить въ ней страстность и эксцентричность, и морила ее книгами историческими и духовнаго содержанія. Весь день дѣвушки распола-

гался регулярнымъ порядкомъ, для чего было составлено даже и росписаніе. Въ шесть часовъ вставать отъ сна, умываться и туалетъ; съ семь часовъ молитва, восемь — прогулка въ какую бы то ни было пору года, въ какой бо то ни было день ненастный; девять —урокъ; десять—вышиванье и прочія женскія рукодѣлья; одиннадцать — по хозяйству, двѣнадцать — чтеніе и т. д. Отецъ былъ въ тѣ времена въ полку, и воспитаніе дочери было въ полной зависимости отъ матери. Она давала дочери полу-религіозное, полусхоластическое, полу-спартанское воспитаніе. Мать себя считала женщиной необыкновенной, и думала, что отъ того-то она и перенесла такъ много горя въ своей жизни. Всѣ ея усилія были направлены къ тому, чтобы изъ дочери сдѣлать обыкновенную женщину. Гдѣ *принято* плакать — плачь, смѣяться — смѣйся, ѣсть—ѣшь, гулять—гуляй. Для этого она придумывала странные эксперименты. Такъ она прямо говорила дочери: «Лена, я тебя сегодня повезу къ Лиминовымъ; тамъ очень скучно, но я повезу тебя не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы дать тебѣ урокъ: ты должна держать себя тамъ прилично, не показывая и виду, что скучаешь; даже болѣе, ты и скучать не должна, ты пріучайся находить удовольствіе въ сознаніи, что умѣешь держать себя прилично». На склонности Елены Павловны не обращали вниманія, и вышло, какъ всегда бываетъ, что воспитаніе на заданную тему не удалось.

Былъ нѣкій нѣмецкій пасторъ, филологъ; онъ хотѣлъ во что бы то ни стало, сдѣлать изъ своего сына филолога, тогда какъ у сына была совсѣмъ не филологическая натура. Но отецъ положилъ весь умъ свой, чтобы достигнуть своей цѣли: для этого онъ

его, еще ребенка, дрессировалъ сразу по нѣскольку языкамъ. Послѣ долгихъ усилій, цѣль, казалось, была доступна: сынокъ удивлялъ своими филологическими познаніями разныхъ профессоровъ на экзаменахъ, читая рѣчи и держа диспуты на многихъ языкахъ. Всѣ ожидали, что изъ него выйдетъ знаменитѣйшій профессоръ, и разсчитывали, какую онъ займетъ каѳедру. Но что же вышло? Когда онъ развился и заглушенныя искусственно потребности его натуры проснулись,—онъ день ото дня чувствовалъ больше и больше отвращеніе къ филологіи; наконецъ, она ему до того опротивѣла, что онъ поклялся говорить только по-нѣмецки, а кончилъ тѣмъ, что сдѣлался портерщикомъ. Природу можно изувѣчить усиленной и искусственной дресировкой, можно изъ пастора по призванью сдѣлать пакостнаго плясуна, изъ литератора по призванью—торговца и т. п., но когда человѣкъ почувствуетъ, что его сдѣлали, а не онъ сдѣлался, тогда онъ либо сброситъ съ себя оковы, либо впадетъ въ тоску и апатію. То же было и съ Еленой Павловной. Мать сбила ее съ толку. Натура ея была не такова, чтобы жить по программѣ матери; она этого, разумѣется, пока не сознавала отчетливо, но безсознательно къ тому стремилась. Такъ во время отлучекъ матери, она убѣгала въ лѣсъ, долго пѣла, хохотала, а году на десятомъ стала читать даже непозволяемыя матерью книги. Здѣсь впервые она училась лгать. Ей часто было до тошноты скучно, и она часто по ночамъ думала, отчего это скучно ей, потому что днемъ, по программѣ, должна была держать себя ровно и спокойно, — думала и понять не могла, — а скучно было отъ программы. Въ ея характерѣ не было опредѣлительности, потому что часто, когда она хохотать хотѣла, должна была по программѣ корчить глу-

бокомысленную физіономію, когда хотѣла прыгать, должна была класть земные поклоны; ей хотѣлось въ лѣсъ, а ее сажали за исторію, географію или ариѳметику. Она даже и эти желанія не сознавала отчетливо, потому что они пробивались смутно и не могли выясниться до опредѣленности: сознаніе ея двоилось. Она не понимала, для чего она жила, чего ей нужно, и постоянно волновалась, чего-то хотѣла, куда-то стремилась. Жизнь ея распалась на двое; при матери она была дѣвушка программы, за глазами ея это былъ живой, милый и рѣзвый, но иногда и задумчивый ребенокъ. Замѣчательно, что мать ея никогда не цаловала, а нянька, крадучись, не знала, какъ и обласкать свою барышню. Мать не кормила ее своею грудью, а кормила мамка. Мать всегда смотрѣла степенно, едва не сурово, а нянька любовно и свѣтло. У матери было разсчитано, чего и сколько должна ѣсть дочь, а няня пичкала ее вареньями и разными сластями. Такъ Елена Павловна росла до четырнадцати лѣтъ. Здѣсь носѣтило ее несчастье (а можетъ быть, и счастье — пусть судитъ самъ читатель) — мать ея, послѣ мучительныхъ страданій, умерла. Дочь плакала, но плакала точно по программѣ, потому что, стоя передъ гробомъ, она видѣла въ немъ свою воспитательницу. Послѣ похоронъ, въ одинъ вечеръ, въ сумерки, на дѣвушку напала гнетущая тоска; когда она легла въ постель, и въ комнатѣ стало темно, на нее напалъ страхъ: вездѣ ей видѣлся, набитый въ ея дѣтской, листокъ программы, въ которой всякое дыханіе, улыбка и взглядъ были предупреждены, размѣрены и сосчитаны. Поутру, — теперь она была вольная птица, — она пошла въ садъ князя Кореналова и сѣла здѣсь; легкій вѣтеръ освѣжилъ ее и незамѣтно она заснула. Подкрѣпившись

сномъ, она встала и залюбовалась цвѣтниками, фонтанами, каскадами и павильонами. Она была счастлива въ ту минуту, и подъ обаяніемъ какой-то безотчетной радости, прогуляла вплоть до обѣда. Для нея открывался новый міръ, новая жизнь, которой она отдалась свободно и безпечно. Няня, у которой она осталась на рукахъ, баловала ее и позволяла ей дѣлать, что хочетъ. Няня всегда антагонизировала ея матери и, въ простотѣ души своей, шла противъ ея образа воспитанія. Теперь ея планы осуществлялись, и она, съ силою ренегатки, отрицающей старую систему, вся отдалась новой жизни. Прежняя программа была уничтожена, книги были заброшены, регулярность отмѣнена: хотѣлось ей ѣсть—ѣла, пѣть — пѣла, спать — спала. Недѣли черезъ двѣ она отвыкла и отъ регулярной молитвы, — по утрамъ няня не находила ее передъ иконой, но за то она иногда въ саду, или въ углу темной комнаты, шептала свою свободную молитву. И все это совершилось легко и безъ борьбы. Никто и не подумалъ бы, глядя на Елену въ тѣ дни, когда она была подъ надзоромъ матери, что въ этой чинной и форменной дѣвушкѣ таится такъ много закрытаго чувства простоты и свободы. Все это было сдавлено и запрещено, но чѣмъ сильнѣе было давленіе, тѣмъ сильнѣе былъ отпоръ, когда онъ сталъ возможенъ, и дѣвушка отдалась вполнѣ новымъ впечатлѣніямъ.

Отецъ, служившій въ полку, услышавъ о посѣтившемъ его несчастіи, рѣшился выйдти въ отставку, чтобы удобнѣе заняться воспитаніемъ дочери. Полковникъ захватилъ для нея двухъ гувернантокъ, француженку и нѣмку. Павелъ Семенычъ не держался системы воспитанія уже потому, что вообще не держался никакой системы. У него не было объ этомъ дѣлѣ глубокихъ

думъ, соображеній и изученій разныхъ педагогическихъ пріемовъ. Онъ смотрѣлъ на дѣло черезчуръ просто, то есть полагалъ, что дочку слѣдуетъ выучить всему, чему обыкновенно учатъ дѣвицъ, и если предпочиталъ домашнее воспитаніе, то единственно потому, что въ пансіонѣ или институтѣ дочкѣ его было бы скучно. Онъ даже думалъ, что ученая женщина не можетъ быть хорошей женой и матерью, и терпѣть не могъ синихъ чулковъ. Словомъ, взглядъ на женщину у него былъ тотъ же, какой у большинства такъ называемаго образованнаго общества; онъ понять не могъ, чтобы женщина получила то же образованіе, какое у мужчины, и могла бы кромѣ семейныхъ обязанностей принять общественныя. Это былъ человѣкъ добрый и кроткій. Возвратясь въ помѣстье, онъ полюбилъ свою дочь отъ души, и почти не разставался съ нею, присутствовалъ при ея урокахъ, гулялъ съ нею, смотрѣлъ, какъ она играла въ куклы. Дочь тоже привязалась къ нему.

Прошло около года идиллической жизни. Но скоро эта жизнь должна была совершенно измѣниться. Полковникъ любилъ охотиться. Однажды съ ружьемъ отправился онъ въ лѣсъ. Замѣтивъ на соснѣ глухаря, онъ поторопился взвести курокъ; въ это время рука его нечаянно задѣла за сукъ березы, раздался выстрѣлъ и вмѣстѣ съ тѣмъ пронзительный крикъ. Полковникъ въ испугѣ бросился на голосъ т. д. и т. д. Человѣкъ религіозный, впечатлительный, Павелъ Семенычъ былъ глубоко потрясенъ. Почти полупомѣшанный, онъ вернулся домой, собралъ сходку и объявилъ всему міру, что онъ убійца. Началось слѣдствіе, полковникъ, разумѣется, былъ оправданъ, какъ неумышленный убійца, и только для успокоенія его совѣсти

былъ отправленъ въ монастырь на церковное покаяніе. Онъ хотѣлъ остаться въ немъ навсегда, но вспомнилъ свою дочь и вернулся въ помѣстье. Характеръ его совершенно измѣнился. Онъ оставилъ всѣ удовольствія и посѣщалъ только церковь; на хозяйство не обращалъ никакого вниманія, и прикащикъ, не трогая крестьянъ, обворовывалъ барина. Дочь не узнала отца. Постоянное чтеніе библіи и бесѣды съ мѣстнымъ священникомъ оттолкнули Елену отъ отца, потому что мать съумѣла подавить въ ней религіозное чувство. — Дочь опять получила полную свободу. — Чтеніе романовъ и періодъ мечтательности и расцвѣтанія. — Встрѣчи съ княземъ и эмансипація...

Потесинъ, какъ видно, слишкомъ рано началъ вглядываться въ жизнь и наблюдать надъ нею. Для впечатлительной натуры его эти наблюденія не пропали даромъ. Особенное вліяніе имѣло на него семейство политическаго преступника, который былъ сосланъ въ рудники. Съ этимъ семействомъ познакомился Потесинъ уже въ городѣ, будучи гимназистомъ. Тутъ предполагался цѣлый рядъ характерныхъ и глубоко обдуманныхъ сценъ, изъ которыхъ сохранилась только одна.

Ржавчина и плѣсень изъѣли всѣ стѣны бѣдной каморки старика. Вѣтеръ въ трубѣ завываетъ, какъ голодный волкъ, порывисто стучитъ въ прогнившую раму окна, свищетъ и дразнитъ своимъ волчьимъ голосомъ. Въ домѣ нѣтъ ни копѣйки денегъ, ни корки хлѣба, ни полѣна дровъ и кредита въ мелочной лавочкѣ даже на грошъ. Хозяинъ гонитъ съ квартиры, должники въ десять, пятнадцать рублей пристаютъ съ своими просьбами и ругаются, даже и этотъ пьяница, у котораго онъ занялъ всего двугривенный, и онъ бранитъ бѣд-

няка, точно бѣднякъ ограбилъ его. Всего осталась половина сальнаго огарка, съ которымъ сидитъ, долго за полночь, его несчастная дочь, зарабатывая иглой кусокъ хлѣба, и еще нѣсколько сальныхъ огарковъ... За то, что онъ родилъ и воспиталъ энергическаго сына, онъ теперь страдаетъ. Сынъ въ проклятыхъ горахъ, —которыя въ природѣ служатъ для казни человѣка,— роетъ руду. За сына выгнали его изъ службы; жена умерла отъ тоски и стыда; сестра ведетъ позорную жизнь. Онъ со страхомъ думаетъ: «что будетъ съ тобою, пожелтѣвшая отъ бѣдности, но все еще хорошенькая дочь моя? Зачѣмъ, проработавъ трудную ночь, ты долго, долго молишься, и не такъ, какъ прежде, спокойно и сладко? Неужели ты отгоняешь отъ себя дурныя мысли?.. Нѣтъ, это только въ грѣшномъ воображеніи твоего отца, моя честная дѣвушка, возникаютъ такія злыя мысли. Ты молишься такъ страдальчески съ голоду и печали. Но чѣмъ же я накормлю тебя завтра»?.. Онъ сталъ смотрѣть на золотое кольцо своей жены и раздумывалъ, что дастъ за него жидъ. — «Нѣтъ, пойду нищенствовать! сказалъ онъ себѣ. — Полно мнѣ быть честнымъ, злиться съ голоду и умолять Бога о работѣ; да нѣтъ и молитвы такой, въ которой просилось бы о деньгахъ! Полно проклятый трудъ называть святымъ! Пойду я скитаться по улицамъ, протягивая за милостыней руку, и буду шептать каждому тихо и озираясь, за что пострадалъ сынъ мой и я»...

Потесинъ благополучно кончилъ курсъ въ гимназіи и поступилъ было въ мѣстный университетъ, но тамъ скоро вышелъ какой-то скандалъ, въ которомъ Потесинъ принялъ дѣятельное участіе, и его, вмѣстѣ съ прочими зачинщиками, выгнали изъ университета. Послѣ этого, по совѣту отца, онъ отправился въ Петер-

бургъ, для поступленія въ тамошній университетъ. Этимъ, какъ видно, кончалась первая часть романа, въ которой все вниманіе автора было обращено на то, чтобы выставить всѣ обстоятельства, имѣвшія вліяніе на воспитаніе и образъ мыслей Потесина. Онъ ѣхалъ въ Петербургъ съ желаніемъ трудиться и приносить пользу.

О сестрѣ Потесина, героинѣ романа, въ этой части не говорится почти ни слова. Есть коротенькія замѣтки о томъ только, что она воспитывалась въ городѣ, у какой-то старой тетки.

Старая тетка, ея бонтонность, quasi-свѣтскость и злобность.—Все это въ сценахъ.—Варя оставлена отцомъ на воспитаніе.—Французскій языкъ, книксены, умѣнье отвѣчать во время и что слѣдуетъ, по соображенію подчиненности.—Попреки и дикая, неуступчивая воля тетки, желавшей сдѣлать изъ Вари то, чѣмъ нѣкогда она мечтала быть.—Удивительно удобная форма, въ которой, въ лицѣ созданной теткою Вари, охарактеризировать не столько самую Варю, сколько идеалъ тетки, такъ что Варя будетъ образъ, въ которомъ олицетворится идея теткиной жизни. Когда Варя возвратилась подъ кровъ отца, онъ не узналъ ее. Близость къ природѣ, воспоминанія роднаго мѣста, возвращеніе къ старой нянѣ, ласки добраго отца,—все это воскресило ее на нѣсколько времени. Но уже въ дѣвичьей груди не было силы и крѣпости, чахоточный румянецъ игралъ у ней на щекахъ; она должна была съ каждою весною ожидать смерти. Проѣздомъ тетка остановилась у нихъ. Отецъ укорялъ ее за испорченную жизнь ребенка, тетка обидѣлась: ея рожа, искрещенная трещинами, сдѣлалась до такой степени печальной, что у ней мало по малу глаза отсырѣли и она заплакала... И ли-

лись ея дряхлыя, поганыя слезы, и захотѣлось Потесину заушить ее... Да и слѣдовало бы... Черезъ три года тетка поступила въ монастырь, въ которомъ занимаетъ теперь мѣсто настоятельницы. Монахини терпѣть ея не могутъ, потому что ничего нельзя представить злѣе этой игуменьи...

Однако Варя не умерла и только чахла въ теченіе всей своей жизни. Мы встрѣчаемъ ее еще въ самомъ концѣ романа—старой озлобленной дѣвой.

Вѣроятно къ этой же части принадлежитъ слѣдующій оригинальный пейзажъ.

На вершины деревъ упали лучи солнца, пятнами и длинными полосами, пробрались на чорную, засыпанную иглами сосны, землю и заиграли на ней бѣлымъ, чернымъ и желтымъ цвѣтами. Выползла мышь изъ подъ заскорузлаго корня дерева и, нюхая воздухъ, смотритъ, гдѣ бы добыть завтракъ; муравей, пыхтя и крехтя, тащитъ дубинку втрое больше себя; на него глупо смотритъ брюхатая божья коровка; двѣ сонливыхъ козявки, съ комическими харицами, увидѣвъ муравья, по своей трусливой натуришкѣ, дали тягу. Вѣтеръ ударилъ прямо въ лицо муравью; онъ озлился, затрясъ усами, растопырилъ руки и поднялъ дубину высоко. Мышь перебѣжала ему дорогу—онъ грозитъ ей дубиной. Божья коровка называетъ его мужикомъ и неучемъ...

II.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, Потесинъ остановился у своего дяди-генерала, который отсовѣтывалъ ему поступать въ университетъ и опредѣлилъ куда-то на

службу чиновникомъ. По протекціи этого дяди Потесинъ входитъ въ аристократическій кругъ, знакомится съ разными графами и князьями и изучаетъ ихъ.

Въ лицѣ дяди Потесина надо олицетворить старыхъ временъ взяточника и низкопоклонника, но человѣка добраго (А. Н. К.). Онъ съумѣлъ нажить себѣ состояніе на службѣ. Какъ это такъ нажить? взятки? казнокрадство? Да, но десять лѣтъ назадъ доходы побочные не назывались такими рѣзкими именами. У чиновниковъ было двѣ совѣсти: одна сожженная (казенная)— эта для службы, которая допускала нравственную возможность взятокъ, а другая общечеловѣческая. Человѣкъ всегда былъ и будетъ вмѣстилищемъ противорѣчій неисходныхъ. Петръ Ѳедорычъ былъ взяточникъ, или по старинному облагороживающему слогу,—имѣлъ доходцы, и въ тоже время онъ былъ человѣкъ высокой нравственности, отличный славянинъ, прекрасный сосѣдъ, любилъ отъ души помогать бѣднымъ, не забывалъ старыхъ товарищей; во всякой сдѣлкѣ, исключая служебной, справедливъ, снисходителенъ къ человѣческимъ слабостямъ и ко своимъ строгъ. Это вообще ложное понятіе, которое у насъ проповѣдуется, что взяточникъ непремѣнно пьяница, разбойникъ, грубъ, не читаетъ книгъ и проч. Взяточника свойство именно то, что онъ имѣетъ еще казенную совѣсть сверхъ обыкновенной. Онъ разумѣется, какъ всякій человѣкъ, не самъ состроилъ свой характеръ: характеръ его зародился въ доучилищной жизни, развился въ школѣ и окончательно отвердѣлъ въ обществѣ. Во всѣхъ этихъ періодахъ развитія онъ нигдѣ не встрѣчалъ протеста противъ взятокъ, т. е. по старому,—доходовъ, и дѣйствительно тогда взятка была доходомъ.

Въ столкновеніяхъ съ этимъ дядей Потесинъ выра-

жаетъ свою теорію о самостоятельности каждой личности; то есть, что каждый человѣкъ имѣетъ полное право жить, какъ хочетъ, и дѣлать, что хочетъ, до того предѣла, пока онъ не столкнется съ интересами другой личности. У этого дяди и остановился Потесинъ, имъ протежируется и ведетъ борьбу, чтобы освободиться отъ его вліянія и его квартиры, чего мало по малу и достигаетъ. Въ дядиной семьѣ представить принципы доброй семьи, сочувствующей обличенію, но осторожной и видящей въ немъ лишь теорію и идеальность. Въ Потесинской дѣятельности принципъ, идущій въ разрѣзъ принципамъ семьи; изъ этого должно выйдти дуальное отношеніе его къ семьѣ: съ идеальной стороны сочувствіе, а съ практической—антагонизмъ. Здѣсь всѣ проповѣди Потесина объ эмансипаціи и проч. Онъ умѣлъ говорить на 4-хъ языкахъ.

Потесинъ, воспитанный подъ вліяніемъ духа обличенія, охватившаго насъ со временъ Гоголя, набросился на общество, какъ ярый звѣрь. И писалъ даже обличительныя статьи. Здѣсь-то и развить его характеръ во время студенчества и на службѣ, когда онъ, что очень естественно, во всякомъ ближнемъ находилъ недостатки и велъ себя честно, стойко, благородно, и хотя заслужилъ отъ однихъ — уваженіе, отъ другихъ страхъ, третьихъ заискиванье, четвертыхъ ненависть, но все-таки потерпѣлъ фіаско. (Типы лицъ, относившихся различно къ обличенію. Взять во вниманіе обличенія Щедрина и другіе обличительные очерки). Послѣ того разгулъ, а далѣе смиреніе и педагогическая практика.

Не смотря на общее заискиваніе со всѣхъ сторонъ, равное къ нему отношеніе и пожиманіе рукъ тремя генералами,—онъ не могъ увѣрить себя, чтобы они считали его равнымъ себѣ. Въ столицѣ, говорятъ, сословные предразсудки не такъ развиты, какъ въ провинціи, что здѣсь князь подаетъ руку мѣщанину артисту. Подаетъ, это правда; но сословность точно также сильна, только она проявляется здѣсь болѣе тонкими чертами. Петръ Потесинъ принужденъ былъ изучать этотъ языкъ намековъ и недоговоренныхъ мыслей, чтобы понять, презираютъ его, или нѣтъ. Онъ до сихъ поръ вращался въ сферѣ, въ которой и привѣтъ, и ругань выражаются прямо; словомъ, онъ зналъ обычаи только своего кружка, а не зналъ ихъ въ новомъ, въ который пришлось ему вступить. Какъ относятся къ нему приглашавшія его лица и зачѣмъ онъ имъ нуженъ? Онъ не имѣетъ съ ними никакихъ связей, не знаетъ ихъ преданій, онъ не родня имъ, а между тѣмъ его радушно принимаютъ. Вглядываясь въ лица, положительно добрыя, онъ говорилъ: «все-таки не наши!» Съ женщинами этого круга онъ заговорилъ только черезъ полгода, тогда какъ со своими велъ себя легко и свободно, потому что сословность развита въ женщинѣ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ мужчинѣ,—это фактъ. (Характеристика его личныхъ отношеній къ дамскому полу обоихъ кружковъ). Съ знакомымъ плебеемъ первые сходятся на равную ногу отецъ и братья, потомъ мать и замужнія дамы, и наконецъ дѣвицы. Кромѣ того, какъ бы ни былъ просвѣщенъ кружокъ аристократовъ, въ немъ всегда найдется нѣсколько болвановъ, презирающихъ все, что не имѣетъ многолѣтней генеалогіи. Они высказываютъ дикія идеи, а хозяева, по общежитейской слабости сердца, въ этихъ случаяхъ либо

слегка и деликатно оговариваютъ гостя, либо отмалчиваются. Плебей же всегда сорветъ свой гнѣвъ и притомъ грубо, потому что дѣло касается его души и шкуры. Это хозяевамъ, желающимъ, по своему положенію, поддерживать связи даже и съ болванами, не нравится, и потому, во всякомъ случаѣ, полнаго и свободнаго отношенія къ барскому кругу у плебея нѣтъ. Потесинъ былъ барской крови, но закалъ души его былъ мужицкій. Однако онъ не навсегда остался въ такихъ отношеніяхъ къ барамъ. Онъ черезъ нѣсколько времени отвыкъ отъ постоянной мнительности: на мѣстѣ онъ, или нѣтъ. При этомъ открывается другая сторона его характера—всесторонность его взгляда, способность поддѣлываться подъ чужой характеръ, впадать въ тонъ рѣчи и т. п. Стоя по развитію своему неизмѣримо выше своей родни, онъ однако любилъ родню и долженъ былъ посѣщать ее время отъ времени; здѣсь приходилось ему говорить и дѣйствовать. Проповѣдывать имъ свои убѣжденія—значило бы даромъ терять время; подтягивать имъ,—значило бы лгать, но онъ умѣлъ какъ-то пройдти между этими двумя крайностями, плутовски изворачиваясь. Также онъ велъ себя и въ высшемъ кругу.

Одинъ генералъ разсказывалъ при немъ, какъ онъ плюходѣйствовалъ на службѣ. Завязался споръ, кончившійся тѣмъ, что Потесинъ замолчалъ, краснѣя при этомъ какъ ракъ, потому что далѣе оставалось только ругаться...

Между новыми знакомыми Потесина были нѣкіе Торопецкіе, у которыхъ онъ бывалъ довольно часто, потому что тамъ интересовала его одна дѣвушка.

Онъ долго вглядывался въ семью Торопецкихъ, и въ

началѣ рѣдко вдавался въ разглагольствованія. Когда онъ говорилъ о прогрессѣ, то замѣчалъ двусмысленныя улыбки, отъ которыхъ ему было неловко. Полное спокойствіе семьи, умѣнье держать себя, говорить пустыя рѣчи съ сознаніемъ не только своего достоинства, но и счастія. Молодежь часто собиралась здѣсь исправлять своихъ отцовъ и читать имъ гражданскую мораль. Въ этомъ семействѣ съ Потесинымъ случилось странное, хотя и очень обыкновенное обстоятельство. Здѣсь не было ни казнокрадовъ, ни пьяницъ, ни деспотства, ни невѣжества; все было благонравно и прогрессивно, и Потесинъ почувствовалъ, что попалъ въ среду, въ которой не могъ съ перваго же шагу стать головой выше всѣхъ. Онъ слышалъ въ семьѣ Торопецкихъ какую-то силу. Долго онъ вникалъ во внутреннія основы этой жизни, и долго ничего понять не могъ. Очевидно, что семейство было не ветхаго завѣта. Александра Ивановна, дочь Торопецкаго, говорила съ нимъ свободно, оставалась на-единѣ, читала съ нимъ книги, и никогда не замѣчалъ онъ шпіонскаго взгляда родителей, дрожащихъ ежеминутно за нравственность чадъ своихъ, за ихъ дѣвство, или, чего избави Боже, неравное замужество. Такая свобода и простота обращенія увлекли Потесина. «Вотъ образованное и развитое семейство!» думалъ онъ: но въ то же время добавлялъ: «однако странно, чего-то недостаетъ здѣсь», чего же?— онъ не понималъ. Дѣло въ томъ, что здѣсь только была принята внѣшняя свобода, болѣе кажущаяся, нежели дѣйствительная. Жена могла сшить себѣ какое угодно платье; ѣхать, когда вздумается, въ театръ, читать всякія книги,—но общій, основной заводъ жизни зависѣлъ все-таки отъ главы. Это семейство, между тѣмъ, гордилось свободою своихъ нравовъ, гуманнымъ уст-

ройствомъ быта и взаимнымъ отношеніемъ членовъ своихъ, и обличительно относилось къ семьямъ знакомыхъ, гдѣ деспотизмъ проявляется въ болѣе грубыхъ формахъ. Здѣсь принципъ современной семьи всѣми признавался и даже горячо былъ защищаемъ, а приняты были только однѣ формы его. Что же было подъ этими формами? Старенькая условная нравственность. Братья Александры Ивановны, четырнадцати и пятнадцатилѣтнія дѣти, были либералы. Самъ отецъ либеральничалъ по С. П. Б. Вѣдомостямъ и Сѣверной Пчелѣ обновленной «въ горнилѣ вдохновенія». Какъ многіе крещеные люди вовсе не христіане, а только обрядники и считаютъ себя христіанами, такъ и многіе, усвоивши себѣ одинъ обрядъ либерализма, считаютъ себя либералами. Въ жизнь, въ факты, въ событія — ихъ принципы не переходятъ. Принципъ великое дѣло; сидя на немъ верхомъ, можно далеко уѣхать—и въ общественномъ мнѣніи, и по службѣ. Лукава жизнь человѣка, и зорко надо вглядываться въ нее, чтобы опредѣлить ее. Люди часто дѣлаютъ *реформы* въ буквальномъ смыслѣ, то есть усвоиваютъ новыя формы жизни, а духъ ея остается прежній.

Александра Ивановна была представительницей этого молодого либерализма. Поэтому Потесинъ хотѣлъ увлечь ее во что бы ни стало: онъ вызывалъ ее на отношенія извѣстнаго рода, какъ бы говоря: «докажи на дѣлѣ!» Она никого ни любила, но утонченный развратъ душевный, доведенный до той черты, на которой кончается *дѣвичья* доля и начинается *женская*, и никогда впрочемъ не переступающій этой черты,— охватывалъ ея сладострастное воображеніе. Вотъ почему, когда ея тѣло горѣло отъ внутренняго жару, грудь дышала прерывисто, влажные глаза ласкали, губы, ка-

залось, ждали поцалуя, и Потесинъ готовъ былъ схватить ее въ объятія,—она все-таки казалась нравственной.—«Это не нравственность, не натура, а сила воли», говорилъ онъ ей... Она улыбалась, страстно замирала, любовно смотрѣла на него, жарко было все ея существованье, но еще неприступнѣе становилась она. Потесинъ въ изумленіи останавливался предъ этой силой и не могъ постигнуть ее. Изъ такихъ дѣвицъ выходятъ женщины, которыхъ называютъ belle femme. (Здѣсь мы должны изобразить типъ женщины на которую съ одной стороны намекнулъ Гончаровъ въ своей Софьѣ Николаевнѣ, съ другой Тургеневъ въ Одинцовой. Мы этотъ типъ выведемъ на чистоту—дѣло-то лучше будетъ. Мы поставимъ его высоко, но основы высказанныя здѣсь, сохранимъ вполнѣ).

Вѣроятно эту же дѣвушку имѣлъ авторъ въ виду нѣсколько ниже. Ею увлекся Потесинъ уже въ то время, когда онъ ударился въ развратъ и упадалъ нравственно.

Онъ увлекся замкнутымъ созданьемъ, честнымъ и умнымъ, но практическимъ и не увлекающимся.

Она не давалась ему; рада была видѣть и слушать его, но далѣе пожатія руки и иногда, подъ вліяніями чисто плотскими, разгорѣвшагося взгляда, онъ не добился ничего. Сила воли у ней была громадная. Она хотѣла дождаться мужа и наслаждаться жизнью умѣренно. Она очень берегла себя. Въ весенній день, послѣ гастрономическаго обѣда или рюмки ликера, лицо ея расцвѣтало и было почти страстно... Ей было 24 года. Потесину хотѣлось развратить ее, и онъ цинически дразнилъ ея воображеніе (сны, чтеніе, разговоры, поэтическое сидѣнье на дачномъ крыльцѣ и дѣй-

ствіе по всѣмъ правиламъ естественныхъ наукъ), и не могъ ничего подѣлать съ нею. Онъ полюбилъ наконецъ ее за эту силу. Весь этотъ развратъ, который онъ прошелъ, приложенный къ ней, остался безсиленъ. Онъ хотѣлъ завладѣть ею, и она единственно свѣжестью своей натуры отучила его отъ разврата; онъ пережилъ бѣшеныя душевныя минуты, но покорился, бросилъ старую жизнь, сталъ проводить съ нею время, перемѣнилъ тонъ своихъ рѣчей, дѣло перешло въ благоговѣніе и поклоненіе, сталъ работать и наконецъ предложилъ ей руку. — О томъ, какъ просилъ онъ поцалуя. — Выводъ дѣвушки о его неспособности къ семейной жизни: она знала его разгульную жизнь, помнила, какъ онъ соблазнялъ ее, и рѣшила, что страшно жизнь прожить съ такимъ человѣкомъ. Ей за дѣтей было страшно. Произнесенъ отказъ, въ которомъ она откровенно высказала ему свой анализъ. Сцена.

Генералъ, дядя Потесина, замѣтивъ, что племянникъ дѣлаетъ упущенія по службѣ, заводитъ знакомство съ предосудительными личностями и подчасъ возвращается пьяненькій, захотѣлъ исправить его и началъ читать ему наставленія. Потесинъ не поддавался. Вышло нѣсколько непріятныхъ сценъ, вслѣдствіе которыхъ Потесинъ поссорился съ дядей и переѣхалъ на другую квартиру. Эта квартира помѣщалась въ огромномъ домѣ, который у автора имѣлъ общее названіе «Большой квартиры». Съ этихъ поръ, для героя начинается новая жизнь и новыя знакомства.

Населеніе въ большой квартирѣ самое разнообразное; тутъ вы найдете и чиновника, и мѣщанина, и домашняго учителя, и хориста, и мазурика и камелію, и отставного штабсъ-капитана, людей семейныхъ и холостыхъ, взрослыхъ и дѣтей, собакъ, кошекъ, мышей,

крысъ, клоповъ, таракановъ и проч. Все это знакомо между собою, связано разнаго рода обстоятельствами, участіемъ въ различнаго рода дѣлахъ, общимъ сожитіемъ.

Въ этомъ домѣ Потесинъ нанялъ небольшую квартиру, хотѣлъ устроиться въ ней комфортабельно и работать. Но силы его были уже надломлены, работы не клеились. Потесинъ передъ этимъ потерпѣлъ нѣсколько важныхъ неудачъ (о которыхъ намъ неизвѣстно), перессорился окончательно съ аристократами и сталъ понемногу разочаровываться въ обществѣ и въ самомъ себѣ. Деньжонки у него кое-какія были, и началъ онъ попивать. Жалкое населеніе «большой квартиры» сначала показалось ему отвратительнымъ, потомъ мало по малу сталъ онъ втягиваться въ эту жизнь, и втянулся бы скоро, если бы въ томъ же домѣ не отыскалъ своихъ старыхъ и милыхъ когда-то знакомыхъ. То было семейство Шестаковыхъ, помѣстье которыхъ было въ сосѣдствѣ съ помѣстьемъ его родителей. Здѣсь встрѣтилъ онъ дѣвушку, Таню, съ которой бывало игралъ вмѣстѣ, и эти отрадныя воспоминанія дѣтства оживили Потесина.

На большой квартирѣ живетъ семейство обѣднѣвшихъ помѣщиковъ. Отецъ семейства, вовлеченный своимъ сыномъ, поддавшимся духу вѣка, въ разныя акціонерныя предпріятія (взять во вниманіе наши акціи), обанкротился и едва не пошелъ по міру. Съ огромной семьей онъ принужденъ былъ переселиться въ Петербургъ, гдѣ и поступилъ на службу. Достаточно было пяти голодныхъ лѣтъ, чтобы изъ доброй семьи образовалась злая. Самое образованіе, имѣющее силу гуманизирующую, потеряло свое вліяніе на нихъ. Въ маленькихъ двухъ комнаткахъ жило шесть человѣкъ, притомъ безъ прислуги. Каждый имѣлъ свой уголъ, гдѣ

и занимался своимъ дѣломъ. Въ тѣснотѣ, неизбѣжно, они мѣшали другъ другу (въ сценахъ). Отсюда постоянная разладица между ними, ссоры, выговоры, претензіи другъ на друга. Рѣдкій день они были сыты. Во время обѣда у каждаго являлось инстинктивное желаніе съѣсть болѣе другого, хотя это не было замѣтно со стороны, и въ этомъ не признавались себѣ и сами члены семьи. Ночью положительно весь полъ занятъ былъ спящими. Это было прекраснѣйшее семейство, когда оно владѣло помѣстьемъ; мужики не могли нахвалиться ими; но теперь оно далеко не то, что было прежде. Будучи господами, они проповѣдывали равенство, и многіе сосѣди были недовольны ими за то, что они позволяли себѣ короткое сближеніе съ народомъ и очень доброе отношеніе къ нему. Они были либералы. Но когда пришлось раздѣлить судьбу одного изъ бѣдныхъ классовъ, они возненавидѣли этотъ классъ и прокляли свои демократическія замашки.

Въ бѣдности къ семьѣ стали прививаться предразсудки. Словомъ, оказалось, что безъ матеріальнаго благосостоянія невозможно быть самостоятельнымъ нравственно. Отецъ, дававшій свободу женѣ и дѣтямъ, обнаружилъ диспотическую сторону характера, и развилъ ее довольно сильно, потому что при деньгахъ можно было поступать каждому по своему, на всѣхъ хватало, — одинъ хочетъ супу, другой щей, — то и другое можно было приготовить, а теперь пришлось подчиниться волѣ кого нибудь одного. Новый источникъ временныхъ неудовольствій. Таня не видѣла разрушенія семейнаго благосостоянія. Глубоко проникнутая религіознымъ чувствомъ, любящая свою семью, соединившая съ нею воспоминанія о сельской жизни, отъ которой оторвалъ ее институтъ, добрѣйшая, чи-

стодушная, экзальтированная, способная на всевозможныя жертвы, страстно привязанная къ родному дому, она, вернувшись въ семью, была поражена и оцепенѣла картиной разрушеннаго счастья... Долгія молитвы, усердныя работы до глубокой ночи, несбыточные мечты и планы, — все было направлено къ тому, какъ бы воротить старую деревню, поля, садъ, свою спальню и, главное, свою няню, которая тоже пошла въ аукціонную продажу. Чѣмъ глубже она вникала въ бытъ семьи, тѣмъ страшнѣе становилось этой умно-религіозной дѣвушкѣ. Ясно, день за днемъ, *въ постепенности* узнавала она, что сдѣлала съ ея родными нужда, и сильно развивалось въ ней желаніе пожертвовать собою для того, чтобы вернуть старые годы. Не знала она, глупашка, что старые годы никогда не ворочаются... Съ другой стороны, подъ руководствомъ Потесина, она скоро поняла всю неправильность положенія женщины въ нашемъ обществѣ. Потесинъ объяснилъ ей, что женщина у насъ на даровомъ корму, и что это должно быть оскорбительно для нея, потому что мужчины могутъ, если захотятъ, попрекать ихъ своимъ хлѣбомъ; но что эти же мужчины не позволяютъ женщинѣ быть самостоятельной, не даютъ ей ни работъ, ни науки; поэтому-то женщины и дѣлятся на три разряда: либо дѣвы, либо дѣвки (камеліи), либо замужемъ по разсчету. Когда Потесинъ въ яркихъ краскахъ развивалъ передъ ней ту идею, что большинство нашихъ браковъ есть ничто иное, какъ развратъ, узаконенный обрядомъ,—далеко отлетѣлъ отъ души ея идеалъ, ею лелѣемый, она становилась сдержаннѣе, рѣшимость на что-то сверкала въ ея глазахъ,—лицо ея дѣлалось красиво и страшно.—«Если нѣтъ для женщины,—думала она,—ни денегъ своихъ, ни науки,

и любить нельзя, то продамся же старику для родныхъ;—это будетъ Богу угодно». И она окончательно рѣшилась пожертвовать собой для блага семьи.

Въ періодъ развитія и созрѣванія этой рѣшимости, она прибрала всевозможные софизмы, чтобы оправдать себя; она увѣрила себя, что и со старикомъ можно жить хорошо, что любовь скоро проходитъ, и «вѣчно любить невозможно», а на время, видите ли, не стоитъ. Она не понимала, что и на время очень стоитъ любить, что и временная любовь будетъ помниться до гроба и освѣтитъ всю жизнь... Она *убѣждена* была, что, при бѣдности, всякая любовь превратится въ горе, а при богатствѣ она успокоитъ старика-мужа, изъ невѣрующаго сдѣлать его вѣрующимъ (старикъ у меня будетъ волтеріянецъ стараго полета), вкрадется въ него, спасетъ его душу, и такимъ образомъ сдѣлаетъ угодное Богу дѣло. За всѣмъ тѣмъ однако (она того не сознавала) у ней иногда мелькала полумысль и о смерти мужа, и тогда отлетѣвшій идеалъ снова посѣщалъ ея молодую душу... и... (психическій анализъ.)

Тетушка сваха, зная убѣжденья семьи, никому не сказала о сватовствѣ старика и сдѣлала предложеніе только Танѣ. Когда Таня согласилась, только тогда сваха объявила объ этомъ роднымъ: сама Таня не въ силахъ была объявить имъ своего рѣшенія. Родные были поражены желаніемъ дочери идти за стараго полковника, особенно когда она, приготовившись (анализъ), хладнокровно и спокойно сказала «да». Мать и отецъ стали отговаривать ее, но въ душѣ, да и не очень глубоко, — они сами слышали, какъ шевелилось у нихъ желаніе принять жертву дочери и черезъ то воскресить свое благосостояніе, — денежная струя зазвучала. Но братья и сестра возстали противъ рѣшенія

Тани всею силою своей діалектики. Она была непоколебима. Вся любовь ея къ семьѣ выразилась въ это время. И какъ была хороша эта заблуждающаяся дѣвушка! Всѣ эти дни она была предупредительна, заботлива и страстно ласкова къ роднымъ. Никто будто ничего не понималъ, да и она сама ничего не понимала и все мечтала о возвратѣ прежнихъ лѣтъ. Она просила только какъ можно скорѣе устроить ея свадьбу, торопилась на эшафотъ. Женихъ посѣщалъ ее каждый день; она говорила съ нимъ ласково, добродушно и отыскивала въ немъ добрыя стороны. У старика горѣли глазки на невѣсту, и онъ жалѣлъ только, зачѣмъ у ней платье не декольтэ, грудь застегнута наглухо, какъ у монашенки. На дѣлѣ она и была монашенка. Старикъ влюбился. (Характеристика старческой любви. Безсонныя ночи старика и потомъ его физическія немощи). Вслѣдствіе неестественно-напряженной дѣятельности организма, онъ видимо тощалъ и хилѣлъ. Любовь молодое тѣло еще болѣе молодитъ, а дряхлое и изжившее еще болѣе старитъ и горбитъ; — беречь здоровье надо было, а не влюбляться. Всему пора, всему время. Въ своей экзальтаціи, между тѣмъ, очертя голову, шла Таня за него, точно угорѣла она. Черезъ недѣлю была назначена свадьба. Она не хотѣла заглянуть въ свою душу,—можно вѣдь скрыться и отъ самого себя. Но чѣмъ ближе къ роковому часу приходило время, тѣмъ яснѣе выступали мысли, не то чтобы новыя, не то чтобы подавленныя, но лежавшія въ ея душѣ до сихъ поръ непробудно,—и неотступно требовали развитія. Она продолжала изучать старика, и вотъ уже разъ созналась, что онъ... почти гадокъ, и... удивлялась неопытная дѣвушка, отчего это старикъ въ первые дни казался ей лучше? И дѣйствительно, тогда онъ былъ лучше, потому что

тогда не испытывалъ страсти, — еще два мѣсяца такой любви, и у него будетъ голова трястись, и останется отъ этого любящаго старика только кости да кожа. Наканунѣ свадьбы она разрыдалась. Отецъ, боясь, что она перемѣнила рѣшеніе (въ отцѣ показать развитіе жажды къ деньгамъ черезъ дочь до того, что онъ уже готовъ былъ употребить власть надъ нею, подъ тѣмъ предлогомъ, что она *сама* рѣшилась), допрашивалъ ее долго, и ничего не могъ добиться; братьямъ она отвѣчала тоже уклончиво. Отецъ едва не прикрикнулъ на нее и проговорилъ сурово: «что же ты, Таня? теперь ужь поздно, — назадъ не вернешься!..» Лишь передъ сестрою она высказалась.

Блѣдная, какъ смерть, она сидѣла передъ поѣздомъ въ церковь, а въ церкви совсѣмъ окаменѣла и не помнила: сказала ли «да», или не сказала. Балъ скученъ былъ для нея. Послѣ ужина она была блѣдна какъ мраморъ. Братья и сестры печально провожали невѣсту, когда она пошла въ спальню. Братъ въ первый разъ выпилъ лишнее... Вдругъ изъ спальни раздался пронзительный, замирающій крикъ. Всѣ притихли, у каждаго сердце екнуло... Слышалась борьба и плачъ,— но все это скоро и сразу смолкло... Братья бросились было къ двери, — она была на ключѣ.—Жертва совершилась..,

На другой день молодая похудѣла; на лицо ея легла печать отвращенія къ чему-то. Старикъ жаловался на боль въ поясницѣ и слабость ногъ. Говорятъ, что для стариковъ здорово жить съ молодой женой, — это правда, но только тогда, когда старикъ не любитъ своей молодой жены, а страсть разрушаетъ старое тѣло и старую душу. — Плачъ семьи объ участи дочери,

плачъ, раздирающій душу и вдругъ «со святыми упокой»—пьянаго пѣвчаго... Къ этому напѣву всѣ прислушивались со страхомъ *).

Еще въ молодости Потесинъ и Шестаковы были сосѣдями, такъ что при помощи Шестаковыхъ, онъ получилъ свое разумное развитіе. Потомъ они встрѣтились такъ неожиданно на большой квартирѣ.

Эта печальная свадьба глубоко потрясла Потесина. До нея онъ любилъ посѣщать семейство Шестаковыхъ, и самъ мечталъ когда-нибудь породниться съ нимъ. Эта свадьба со старикомъ была для него тѣмъ болѣе неожиданна, что Таня любила его нѣжно, и онъ зналъ объ этомъ.

Въ минуту грустнаго раздумья, Таня говорила, что ее все томитъ какой-то непонятный страхъ; она сама себя не понимаетъ, молится Богу, и все смерть ей чудится, погребальное пѣніе, кладбище, могильные кресты. Это было въ разгаръ ея любви. Потесинъ говорилъ Танѣ: — «это все будетъ у насъ въ старости. За дряхлыми ея плечами встанетъ смерть; когда она придетъ, мы скажемъ со смѣхомъ: теперь ты не страшна намъ, мы жили и не хотимъ больше жить». — Глаза ея блестѣли, грудь поднялась, уста полуоткрыты, дрожитъ рука, румянцемъ вспыхнуло лицо, и она упала въ объятія Потесина. Тогда они счастливы были.—«Пройдетъ это время», — говорилъ Потесинъ: — «кровь не будетъ горѣть такъ сильно, когда ты будешь моею женою. Не будемъ такъ часто и такъ горячо цаловаться, да и горевать о томъ не будемъ, потому что скромное, мирное

*) Помяловскій часто разсказывалъ эту сцену въ кругу своихъ знакомыхъ, и разсказывалъ ее съ воодушевленіемъ. Онъ думалъ, что это будетъ одно изъ лучшихъ мѣстъ романа.

веселье будетъ жить въ нашемъ уютномъ домѣ. Съ утра до вечера буду трудиться, а вечеръ будетъ нашъ: книги, уютъ, тепло отъ камина; нашъ общій другъ — дѣти, да мы вдвоемъ,—больше ничего и никого не надо. Вотъ Таня зажигаетъ лампадку; я улыбнулся невольно, а она строго грозитъ мнѣ пальцемъ. Дитя склонило голову на мое плечо и дремлетъ. Хорошо мнѣ въ креслахъ...»

— Живи и вѣрь! На свѣтѣ есть несчастье, — значитъ было же когда нибудь и счастье?

— Откуда же это слѣдуетъ?

— Иначе не было бы и понятія о несчастьи, не было бы и отрицательнаго состоянія...

Она часто не знала, чѣмъ развлечься отъ безсознательной тоски, чего пожелать себѣ; работа валилась изъ рукъ, ласки братьевъ и сестры были для нея тяжелы, и большихъ усилій воли стоило ей, чтобы удержаться отъ словъ: «ахъ, отстаньте вы отъ меня!» Никогда она не могла подмѣтить, откуда приходитъ такое чувство, и какъ оно пропадаетъ. Иногда же, тоже безъ всякой видимой причины, являлось у ней чувство веселое, легкое, спокойное, и тогда все ей представлялось въ розовомъ свѣтѣ. Изрѣдка въ ней появлялось какое-то злое чувство, свойственное людямъ, страдающимъ аневризмомъ; она съ наслажденіемъ давила тогда букашку, попавшуюся ей подъ ногу; сжимала руку сестры, такъ что ей было больно, и какъ бы шутя, не выпускала ее изъ своихъ рукъ, колола собственную ладонь булавкой, такъ что иногда изъ подъ нѣжной кожи проступала алая кровь; мучила кота, не давая ему спокойно уснуть на солнцѣ и т. п.

Потесинъ рѣшился на новую дѣятельность, и захотѣлъ испытать свои силы въ педагогическихъ заня-

тіяхъ. Какія обстоятельства принудили его къ этому, неизвѣстно, только мы встрѣчаемъ его теперь въ качествѣ домашняго учителя, у отставного полковника Переварова. Здѣсь, въ многочисленномъ семействѣ полковника, Потесинъ испытываетъ впечатлѣнія новаго рода.

Дочери полковника развились, по преимуществу, подъ мужскимъ вліяніемъ. Матери онѣ лишились рано, и ея мѣсто занялъ отецъ-вдовецъ. Первенцами были братья, которые, какъ старшіе въ семьѣ, естественно забрали власть въ свои руки. Дѣвушки не имѣли даже подругъ. Отъ мальчиковъ онѣ научились читать, играть, отъ нихъ переняли предметы разговоровъ, времяпровожденіе, забавы,—во всемъ преобладалъ мужской элементъ. Отъ этого въ дѣвицахъ развилась свобода, рѣзкость въ выраженіяхъ и какая-то не женственная отвага въ походкѣ, голосѣ, взглядѣ, шалостяхъ. Красивѣе, остроумнѣе и легкомысленнѣе ихъ всѣхъ сестеръ была Вѣрочка; но она же была мягче и впечатлительнѣе; хохотъ ея былъ звонокъ, но не грубъ, прыгала она часто и много, но граціозно. Ее болѣе всѣхъ любилъ отецъ. Говорятъ, папенькины дочки счастливы, какъ маменькины сынки глупы. Посмотримъ, будетъ ли счастлива Вѣрочка!...

Уроки Потесина шли плохо, потому что ему постоянно мѣшали заниматься, какъ слѣдуетъ. Назойливѣе всѣхъ въ этомъ отношеніи оказалась одна изъ дочерей полковника,—Любовь Александровна. Здѣсь мы помѣщаемъ отрывокъ изъ другой рукописи, который авторъ думалъ тоже помѣстить въ романѣ, и дѣлаетъ на него частыя ссылки. Этотъ отрывокъ набросанъ въ видѣ дневника, отъ лица самого Потесина.

«... Полковникъ называлъ ее (Любовь Александровну) и кобылою, и чортомъ, и Любушкой, и ангеломъ. Эта Любовь Александровна рѣшительно не давала мнѣ покою. Лишь только встану, хочу помыться, она уже является въ коморку, отведенную мнѣ для ночлега.

— Какъ почивали, Петръ Алексѣичъ?

— Покорно благодарю.

— Ха, ха, ха,—отвѣчаетъ Любовь Александровна, и ея лоснящееся отъ одеколона лицо, съ прыщиками на лбу и лѣвой щекѣ, ухмыляется лучезарно, хохочетъ отъ лба до затылка.

Мнѣ становится неловко, я оглядываю себя, думаю, что я сдѣлалъ смѣшного? Кажется, ничего. Но Любовь Александровна продолжаетъ хохотать; тѣло ея дрожитъ, руки сами собой обдергиваютъ платье, то спереди, то сзади, то поправляютъ пламеный бантъ на груди.

— Что же вамъ смѣшно, Любовь Александровна?

— А сонъ какой видѣли?

— Не помню.

— Неправда, ха, ха, скажите! Вы помните сонъ?

— Ну помню, а сказать не могу.

— Отчего же?

— Да неприличный сонъ, щекотливый въ нѣкоторомъ родѣ; дѣвица слушать не будетъ...

— Ничего, говорите.

— Если ужъ вы требуете, то извольте; только чуръ, не пенять на меня, не сердиться.

— О, меня трудно разсердить. Вотъ васъ такъ я разсержу, непремѣнно разсержу. Ну, что же сонъ?— стукнувъ ногой, прикрикнула Любовь Александровна.

— Видѣлъ я, будто купаюсь. Раздѣлся я, снялъ рубашку, перекрестился и въ воду. На другомъ бере-

гу рѣчки, гляжу, тоже раздѣвается дѣвушка, хорошенькая такая, потомъ перекрестилась и тоже въ воду. Вотъ и поплыли мы другъ къ другу, схватились руками и... Нѣтъ, Любовь Александровна, дальше не могу...

— Ха, ха, ха! взвизгнувъ, захохотала Любовь Александровна! — Молчите, молчите!.. А подъ подушку глядѣли?

Я бросился подъ подушку, тамъ лежала червонная дама. Оглянулся, а Любушки уже нѣтъ, и звонкій голосъ ея раздается уже въ чайной.

Послѣ этого раскрылъ я учебники, чтобы приготовиться къ лекціи.

— Петръ Алексѣичъ! чай пить! сказала Любушка, явившись внезапно.

— Нельзя ли, Любовь Александровна, сюда прислать.

— А вы не хотите пить съ нами? Не будетъ вамъ сюда чаю.

Дѣлать нечего, пошли въ чайную. Тамъ подошла ко мнѣ Соничка, меньшая сестра Любушки, кандидатка кобылы, дьявола и ангела...

— Посмотрите, Петръ Алексѣичъ, какая ниточка.

— Да, премиленькая, отвѣчаю я со злобою въ сердцѣ и совершеннымъ отсутствіемъ выраженія на лицѣ.

— А у меня какой кошелекъ есть, продолжаетъ она.

Я молчу.

— Вы видѣли? Показать вамъ? Покажу, покажу, непремѣнно покажу, если вы не видали. Ахъ какой кошелекъ, Петръ Алексѣичъ!

— Да, очень хорошій, должно быть, отвѣчаю я. —

У меня есть знакомая дѣвочка, такъ у той есть картинка, тоже очень хорошая.

— А вотъ посмотрите-ка, паукъ ползетъ... какой некрасивый...

— А вотъ у васъ полосатое платьице. А чеснокъ во щи не кладутъ у васъ? отвѣтилъ я скороговоркою. Сказалъ, да и сробѣлъ. Поймутъ, думаю, разсердятся, однако не поняли.

— Сонька, прочь пошла! сказалъ мой ученикъ, Петя, схватилъ мою собесѣдницу за платье и толкнулъ на диванъ.

— Ахъ, Петька!... Смотри, у меня башмачекъ развязался, продолжала жеманно Соня.

— Что ты, Сонька, кокетничаешь? замѣтилъ ей юнкеръ, старшій сынъ полковника:—такая козявка, а тоже кокетничаетъ...

Я выпилъ чашку чаю съ знатными сливками, пѣнка такъ и разбѣгалась жирными, золотистыми кругами. При этомъ меня спросили:

— Вы любите пѣнки?

— Люблю.

— Ну, у васъ будетъ жена рябая.

Я выпилъ, опрокинулъ чашку и положилъ кусочекъ сахару на верхъ, думаю: что будетъ.

— А! вотъ какъ вы. Сядьте же сами такъ. У васъ жена будетъ такъ сидѣть. А что вы были когда нибудь влюблены, Петръ Алексѣичъ?

— Нѣтъ. Любовь, какъ я вижу, очень глупа.

Наконецъ пробрало Любовь Александровну. Она надулась; физіономія ея еще болѣе раскраснѣлась. Незнаю, что вышло бы дальше, но въ это время въ комнату вошелъ самъ папенька, быкъ холмогорскій въ халатѣ, басъ какъ труба. Брюхо у него полчаса въ

окружности: — это ширина, а вышина—пальцемъ не достанешь до его красной отъ пива рожи. Всѣ притихли. Любушка сидѣла, какъ умница, сложа ручки и потупивъ глаза. Соничка ушла на верхъ, а мальчики вытянулись въ струнку.

— Добраго утра, Александръ Ѳомичъ! привѣтствовалъ я эту машину.

— Покорно благодарю, Петръ Алексѣичъ. Знатно заснулъ. Послѣ бани-то знаете... Чортъ! закричалъ онъ вдругъ страшнымъ басищемъ, и весь корпусъ его заколебался. — Анисья! Лукерья! или, какъ тебя... дьяволъ ты эдакой!..

Явилась кухарка.

— Что же ты, лѣшій, не вытерла стола? сказалъ полковникъ октавою и внушительно. У него только и было заботы освѣдомиться:—вытерты ли стекла, что приготовятъ къ ужину и обѣду, и сколько градусовъ мороза и тепла.

— А ты, Любка, зачѣмъ спозаранку ржешь, какъ кобыла?

Любушка молчитъ. Ну, думаю, испортили весь день полковнику; вспышки его теперь долго не успокоятся. Ничуть не бывало. Онъ преспокойно и весело тотчасъ же обратился ко мнѣ.

— Да, знатно поспалъ. А отчего? Баня, да какая баня-то! Нужно и мыться умѣючи. Какъ придете въ баню, надо окатиться холодной водой; хорошо тоже взять шайку холодной воды, да шайку теплой и поливать себя полосами: это производитъ особенное наслажденіе... Потомъ надо попариться и полежать немного: подъ дождь, и опять полежать; мыться мыломъ, попариться еще разъ и опять полежать, потомъ слѣдуетъ окатиться холодной водой и лежать уже въ пе-

редбанникѣ, гдѣ раздѣваются. Послѣ бани надо непремѣнно выпить посушку и въ постель ложиться голому, тогда будетъ отличное дѣло. Это все я по опыту знаю... Не такъ! не такъ!.. Ну зачѣмъ вы растрепали свѣтильну у свѣчки? Соберите ее въ кучу! Вотъ такъ. Вы думаете, свѣтлѣе будетъ по вашему-то? только на одну минуту. То-то, вездѣ опытность нужна. Поживете, научитесь многому отъ насъ стариковъ.

Я началъ лекцію. Ученики усѣлись и навострили уши. Вдругъ является Соничка.

— Петръ Алексѣичъ! Если вамъ понадобится чернильница, такъ она въ кабинетѣ.

Ушла. Продолжаемъ. Смотрю, опять заглядываетъ.

— Если холодно въ вашей комнатѣ, такъ скажите: Анисья истопитъ.

Опять скрылась. Думаю, не запереть ли комнату на ключъ? Входитъ Любовь Александровна.

— Что вамъ? спрашиваю.

— Вотъ сегодняшняя газета.

— Хорошо, покорно благодарю.

Потомъ приходитъ кухарка съ дровами, юнкеръ является взять сигару, которую онъ оставилъ въ моей комнатѣ; словомъ, невозможно перечислить всѣхъ явленій. Лекція шла нелѣпо. Два часа пробился я и отпустилъ учениковъ съ пустыми головами. Глупо, до крайности глупо было мое положеніе. Отказаться отъ мѣста — не деликатно; сказать что всѣ они надоѣли — невозможно. Вѣдь такіе люди и не поймутъ, чѣмъ они могли надоѣсть. Что дѣлать? но вотъ отворяется дверь, и является Любушка; за ней Соничка.

— Петръ Алексѣичъ, нѣтъ ли у васъ хорошенькой книжечки?

— Нѣтъ у меня хорошенькой книжечки, Любовь Александровна.

— Однако?..

— А что вы называете хорошенькой книжечкою?

— Да вотъ «Вѣчный Жидъ» мы читали, «Смерть и Честь» романъ, «Прекрасная Магометанка» и много разныхъ романовъ.

— Что же, вамъ понравилась «Прекрасная Магометанка»?

— «Вѣчный Жидъ» хорошъ.

— А «Прекрасная Магометанка»?

— Тоже хорошо.

— Ну, такъ я не могу вамъ предлагать книгъ.

— Отчего?

— Вы любите глупыя книги, которыя и читать не стоитъ.

— Ахъ, ученый какой! Романы—глупость?

— Не то, романы-то глупые читаете вы.

— Ишь какой! Ахъ да, вы хотите разсердить меня? какъ же! А вотъ я васъ разсержу. Она ударила меня по плечу.

— Вы одни вечеромъ не боитесь гулять? спросилъ я.

— Не скажу...

— Вы верхомъ безъ сѣдла ѣздите, Любовь Александровна?

— Ахъ какой насмѣшникъ!

Ну, думаю, тебя ничѣмъ не проймешь. Я легъ на кровать, — нейдетъ вонъ, болтаетъ. Поднялъ ногу на комодъ, ничего; сталъ снимать сюртукъ. Ушла. Наконецъ-то!..

— Ну-ка, что вы приготовили намъ, братцы? спрашивалъ полковникъ, усаживаясь обѣдать. — Дайте-ка мнѣ рюмочку... Кисло!.. Первая коломъ пошла!.. Что

же скажетъ вторая?.. Вторая соколомъ!.. Ну, дальше полетятъ мелки пташечки!.. Любка, чортъ тебя побери, гдѣ рѣдька со сметаной?

Подали рѣдьку со сметаной.

— Петинька?

— Что папаша?

— Ты зачѣмъ въ носу ковыряешь? Онъ у тебя болитъ?

— Нѣтъ, не болитъ.

— Такъ ты дуракъ. Развѣ можно ковырять въ носу?

Затѣмъ послѣдовалъ длинный разсказъ о томъ, какъ одинъ генералъ имѣлъ привычку ковырять въ носу. На парадѣ онъ и начни ковырять — чиномъ обошли. Да! Во время разсказа щи въ его тарелкѣ простыли.

— Любка, вѣдь ты дьяволъ. Щи-то холоднехоньки?

— Они простыли уже на столѣ, папенька.

— Дура ты, вотъ что!

Любушка молчала съ выраженіемъ полной привычки къ такому порядку дѣлъ.

— Да подлей же горячихъ-то, чортъ!

Она торопливо опустила разливательную ложку во щи.

— Оставь, позови мнѣ Вѣрочку.

Вѣрочка пришла и налила ему щей.

— Вотъ это bene, сказалъ онъ. — Много сѣкли меня за эти bene, male, stultus, patres conscripti и всякую латынь... А тебя, Вася?

Вася молчалъ.

—И тебя тоже... Чего стыдиться! Сѣкли, такъ сѣкли — экая бѣда. И я тебя сѣкъ, потому что я отецъ, а вотъ выросъ большой и пальцемъ не трону — самъ возрастъ и разумъ имѣешь. А тебя, Вѣрочка, сѣкъ я?

Вѣрочка покраснѣла.

— Сѣкъ ли я?

— Нѣтъ, отвѣтила она.

— Ну, да. Я, Петръ Алексѣичъ, обратился онъ къ Потесину: — бабъ не сѣку и не бью. Вотъ этихъ дураковъ дралъ и то до шестнадцати лѣтъ, только. Какъ шестнадцать лѣтъ стукнетъ которому, довольно: уменъ — благодареніе Господу, нѣтъ — убирайся къ чорту. Такъ ли я говорю?

Потесинъ промолчалъ.

— Однако кто жъ тебя-то сѣкъ?

Вѣрочка не отвѣчала.

— Кто ее, Петя, сѣкъ?

— Мамаша, отвѣчалъ Петя.

— Вотъ! внушительно сказалъ отецъ: — женщину должна сѣчь женщина. Ну, да какъ ихъ и сѣкли-то? выдернетъ мать прутъ, не ощиплетъ даже листьевъ, голову въ подолъ, да по среднему-то мѣсту разъ пятокъ и щлепнетъ. Какое это сѣченье! А васъ такъ ли сѣкли?

Петя усмѣхнулся, потому что отецъ, очевидно, былъ въ добромъ расположеніи духа.

— А вашего брата на скамеечку, за руки, за ноги попридержатъ, да безъ листьевъ штукъ двадцать пять и дадутъ. Такъ ли я говорю?

— Такъ, отвѣчалъ Петя съ какой-то неопредѣленной улыбкой.

— Вотъ! отнесся полковникъ къ Потесину.

— Вася!

Вася не дослышалъ.

— Чортъ! я тебя спрашиваю.

Васю толкнули подъ бокъ.

— Ты оглохъ что ли? Былъ у Нееловыхъ?

— Былъ-съ.

— Ну, что же?

— Унтеръ-офицеръ, произведенный въ подпрапорщики, женихъ Буевой.

— Что-о?

— Унтеръ-офицеръ, Мясновъ, произведенный въ подпрапорщики...

— Боже ты, Боже! да онъ никакъ съ ума сошелъ!.. Повтори, что ты сказалъ?

— Унтеръ-офицеръ, произведенный...

— Васька, ты оселъ!

Вася покраснѣлъ отъ злости.

— Скажи еще разъ.

Вася озлился, соскочилъ со стула и вышелъ вонъ изъ комнаты, хлопнувъ дверью. Кажется, должно было ожидать грозы, — ничего не бывало.

— Вѣрочка, подлей еще...

Ему подлили. Онъ, не наклонясь къ столу, издали сталъ дуть на щи и безъ особаго усилія поднялъ въ тарелкѣ бурю. Потомъ сталъ стремительно ѣсть. Когда щей осталось немного, онъ спросилъ:

— А гдѣ же Вася?

— Ушелъ, отвѣтили ему.

— Ну, и чортъ съ нимъ! пусть не жретъ!..

Онъ докончилъ щи. Послѣ этого только объяснилось, за что онъ сердился на Васю.

— Болванъ эдакой, заговорилъ полковникъ.—Дернуло же его сказать: унтеръ-офицеръ, произведенный въ офицеры! Выходитъ, что дочь моего пріятеля выходитъ за солдата. Ахъ, ты безмозглая башка! Не могъ сказать прямо: выходитъ за подпрапорщика.— Вотъ!..

Въ это время принесли жаркое. Направленіе мыслей полковника перемѣнилось.

— Дайте мнѣ мясца, заговорилъ онъ, и на лицѣ его отразилась невиннѣйшая радость, ангельски кроткое наслажденіе прошло по его душѣ... Глазки его засверкали плотоядно.

— Слава тебѣ, Господи! говорилъ онъ, наклонившись къ столу всей массой своего тѣла, разинувъ свою огромную яму, изъ которой выставился желтый клыкъ, и сдерживая улыбку и радостное дыханіе:—люблю скоромные дни... Вѣрочка, мясца посырѣе положи... съ кровью, голубушка, съ кровью... Вѣрочка, дочь моя, крови побольше!.. Въ это время изъ ямы подъ тупымъ носомъ выставился другой толстый клыкъ. — Братцы, дайте намъ съ кровью, говорилъ, сладострастно замирая, полковникъ...

— Га-га-га! закричалъ онъ, когда положили ему на тарелку пылающій, съ кровью, кусокъ говядины. Онъ выпилъ, и больше не могъ говорить, пожирая огненное мясо.

Потесинъ дивился, глядя на него; дивился, какъ не повскакаютъ во рту у него пузыри отъ обжоговъ... «Плотоядное!» думалъ онъ.

Полковникъ, проглотивъ свою порцію, опять заржалъ отъ наслажденія...

— Ну, теперь что еще намъ дадутъ? спросилъ онъ.

— Пироги.

— А что это у васъ, Петръ Алексѣичъ, зубы вѣрно заболѣли?

— Нѣтъ.

— Что же вы салфеткой-то прикрыли ротъ?

— Такъ.

— Какъ это такъ?

— Трудно объяснить, почему принимаешь то или другое положеніе тѣла: отчего положишь ногу на ногу, подопрешь лицо — и самъ не знаешь.

— Развѣ, что вотъ самъ-то не знаешь, такъ; а вы вотъ смѣетесь чему-то, говорилъ онъ, чавкая пирогъ.

— Веселыя мысли въ головѣ.

— Какія же? скажите.

— Да мало ли, что въ голову придетъ.

— Конечно... Значитъ, больше намъ ничего не дадутъ?

— Ничего.

— Чортъ же съ вами!.. Благодарю тя, Христе Боже нашъ (на этомъ мѣстѣ онъ рыгнулъ и перекрестилъ ротъ), яко насытилъ насъ еси-и (отрыжка и крестъ).... Конецъ молитвы прошелъ благополучно.

— Теперь пойдемте, Петръ Алексѣичъ, и воскуримъ сигары.

Конечно, Потесинъ не могъ ужиться въ такой семейкѣ и скоро простился съ полковникомъ. Послѣ этого онъ началъ было обличительныя статейки пописывать, но статейки выходили неудачныя, и онъ бросилъ этого рода промыселъ. Потомъ онъ нашелъ еще какіе-то уроки и здѣсь, вѣроятно, увлекся во второй разъ той неприступной дѣвушкой, которую онъ хотѣлъ развратить во что бы то ни стало. Онъ сдѣлалъ ей предложеніе и получилъ отказъ (см. выше). Съ горя онъ закутилъ снова, захворалъ, поступилъ въ больницу, гдѣ его обокрали начисто, и, выздоровѣвъ, снова перебрался на большую квартиру.

Вотъ еще нѣсколько отрывковъ, относящихся къ характеристикѣ героя.

Главный герой долженъ все переиспытать на свѣтѣ — добро и зло, страсти скверныя и высокія,—какъ изъ любопытства, такъ и по своей кипучей натурѣ; когда же пройдетъ пылъ юности, начинается его практическая дѣятельность. Онъ вездѣ принятъ — въ честныхъ и безчестныхъ домахъ. Прогорѣвши и перенесши на своей шкурѣ не только бѣдствія, но и пороки, онъ бросилъ обличать родъ человѣческій, что дѣлалъ во время личнаго разврата, и сказалъ: «никто не виноватъ!» Въ кабакѣ, въ уединенномъ пьянствѣ, взглядываясь въ свою душу и во всѣ нравственныя убѣжденія человѣчества, глубоко, искренно и раціонально отрицая ихъ, онъ на другой день, среди стариковъ, признавалъ законнымъ и ихъ отрицаніе новой жизни (потому что старики *не могутъ* по самой своей натурѣ не отрицать ее). На третій день онъ былъ въ изящной и образованной семьѣ, среди передовыхъ людей, которымъ постоянно дѣлалъ возраженія и предлагалъ вопросы, вынесенные имъ изъ жизни, и часто ставилъ ихъ въ тупикъ.

Въ періодъ переходнаго состоянія, когда онъ, выпуча глаза, смотрѣлъ на несущуюся передъ нимъ жизнь, то бурную, то тихую, то свѣтлую, то мрачную, которая однако не могла увлечь его за собою и передъ которою онъ стоялъ особнякомъ, только наблюдая ее и желая постигнуть ея закрытый, тайный смыслъ, — въ это время онъ сшилъ тетрадку, на которой было написано: «для записи». На первой страницѣ этой тетради читаемъ: «наконецъ приступаю къ давно предполагаемому дѣлу. Буду записывать темы разговоровъ, которыя гдѣ либо услышу, и развитіе ихъ въ кратцѣ. Потомъ всѣ случаи, выводящіе моихъ знакомыхъ изъ апатическаго состоянія, занятія мужчинъ домами и движимостью, женщинъ домашнимъ хозяйствомъ и проч.».

Потесинъ никогда ни о чемъ не плакалъ. Это его особенность. Умерла его мать, онъ ходилъ какъ окаменѣлый; но ни одной слезы не выпало изъ его глазъ: они были сухи. Онъ и не хохоталъ никогда, хотя иногда и смѣялся, а чаще всего улыбался. Всякое чувство, радостное или печальное, злое или доброе, онъ большею частію переваривалъ внутри себя; тѣмъ оно сильнѣе и тяжелѣе было, чѣмъ меньше обнаруживалось.

При большомъ стеченіи разнаго рода неудачь, Потесинъ мучилъ и себя, и другихъ. Онъ доходилъ до бѣшенства и самозабвенія. Кухарка, навѣстившій его сосѣдъ, мирный котъ — всѣ чувствовали расположеніе его духа. Онъ сначала молчалъ, потомъ начиналъ вздыхать, далѣе скрипѣть зубами, издавать диковатые звуки и возгласы въ родѣ: «чортъ возьми!..» «свиньи!» и т. п. Когда онъ былъ сердитъ, у него всегда былъ сжатъ кулакъ. Наконецъ, раздраженный чѣмъ нибудь, а въ такихъ случаяхъ его все могло раздражить,—онъ иногда доходилъ до изступленія, дѣлался несправедливъ и неприступенъ, и, не помня себя, приводилъ въ исполненіе первую, пришедшую въ горячую голову мысль. Котъ сдѣлалъ ему ласковое «курны», а онъ ударилъ его ногой. Отчего раздается ударъ двери? звонъ посуды? Отчего книга полетѣла въ уголъ? стулъ упалъ?.. «Мнѣ тяжело!.. Я глупѣю!.. Я съ ума схожу!..» говаривалъ онъ, опомнившись немного. Ему вдругъ становилось совѣстно.

— Къ чему столько соли навалила во щи? говорилъ онъ сердито кухаркѣ.

— На васъ сегодня не угодишь.

— И вправду не угодишь, сознавался передъ собою Потесинъ... Послѣ такихъ размышленій онъ успѣвалъ овладѣть собою.

Онъ умѣлъ говорить своему знакомому въ такихъ формахъ, что тотъ его слова принималъ за циническую шутку, между тѣмъ какъ слова его были чистая монета. Такимъ образомъ, провѣряя самыя сокровенныя думы и проступки, онъ такъ маскировался, что и не догадывались о его дипломатическихъ продѣлкахъ. Иногда то, что было съ нимъ, или что онъ предпринималъ, или наконецъ просто размышлялъ, онъ приписывалъ какому нибудь псевдониму и подъ этимъ покровомъ выщупывалъ нужныя ему мысли и мнѣнія его ближнихъ. Но самый тонкій и неуловимый методъ употреблялся имъ тогда, когда онъ хотѣлъ изучить какого нибудь человѣка; онъ заговаривалъ въ этомъ случаѣ о разнаго рода вещахъ, которыя, казалось бы, и не относились прямо къ дѣлу, но ему достаточно было и этого; узнавъ логику экспериментируемаго, онъ уже умѣлъ какъ-то догадаться, что человѣкъ думаетъ и о томъ, о чемъ никому и никогда не говоритъ. Здѣсь представить примѣръ его глубокаго анализа на второй любви, гдѣ онъ дѣйствовалъ такъ іезуитски, не разбирая средствъ, которыхъ даже и цѣли не оправдывали. Когда хотѣлъ, то умѣлъ онъ впустить тонкій ядъ въ душу ближняго, не употребляя при этомъ новыхъ словъ, которыя необходимы многимъ для выраженія новой идеи; онъ въ старыя формы вливалъ новый духъ, не отвергая того, что не вливай новаго вина въ старые мѣхи, они—разорвутся, но добавляя: «и пусть рвутся, духъ же не умретъ», разумѣя подъ духомъ свое направленіе мысли и жизни...

Въ «большой квартирѣ» Потесинъ нанялъ комнатку крошечную, чуть не въ подвалѣ. Здѣсь уже и сосѣди его были не тѣ, что прежде; онъ очутился среди забитыхъ грязныхъ существъ, столкнулся лицомъ къ лицу съ голью грошевою, съ подонками общества. Его не

покоробило отъ этого сосѣдства; цѣлый рядъ неудачъ, безденежье, недостатокъ кредита и ежедневное пьянство смирили Потесина, и онъ опускался ниже и ниже. Родственники и прежній элегантный кругъ знакомства заговорили объ немъ съ сожалѣніемъ; пошли разные сплетни и упреки, Потесинъ не обращалъ на это вниманія и, мало по малу, тѣснѣе сживался съ своими новыми сосѣдями, тѣмъ болѣе, что они не на шутку начали интересовать его.

Вотъ нѣсколько типовъ изъ новыхъ его пріятелей.

Захудалый родъ. Еще не болѣе, какъ лѣтъ 40 назадъ, существовалъ знаменитый родъ князей Ремнищевыхъ, котораго богатыя помѣстья хотя и были раззорены, но все же позволяли владѣтелю ихъ кутить на пропалую, на пять губерній. Въ глубокой древности встрѣчаются знаменитые предки этого рода. Школьникъ, зубря русскую исторію, непремѣнно встрѣчается съ этимъ именемъ. Съ Іоанномъ III одинъ изъ предковъ его ходилъ подъ Новгородъ и жегъ его, а внукъ этого доблестнаго предка рылъ народъ въ Волховъ; правнукъ былъ другомъ Годунова и вѣрнымъ его слугою; на копье другого потомка попалъ извѣстный Матвѣевъ; Петръ I впослѣдствіи сорвалъ голову этому потомку. Большія услуги Ремнищевы оказали отечеству нашему при Биронѣ, Елисаветѣ, Екатеринѣ Великой и въ 1812 году. Но уже въ прошлое царствованіе угасъ этотъ знаменитый родъ въ лицѣ Епифана Андреича Ремнищева, князя и надворнаго совѣтника, и въ чинѣ семъ состоявшаго канцелярскимъ чиновникомъ. Странная судьба этого именитаго, вельможнаго канцеляриста. Отецъ его кормилъ пять губерній, а онъ едва прокармливаетъ свою щедушную особу. У насъ есть много такихъ князей. Зналъ я одного грузинскаго князя.

Извѣстно, что прежде, чѣмъ отдалось подъ наше покровительство грузинское царство, царями его титулы разсыпались направо и налѣво щедрою рукою. Такъ одинъ изъ царей, проѣзжая около рѣки, остановился посмотрѣть, какъ рыбаки закидывали сѣти. — «На мое счастье», сказалъ онъ. На его счастье попалась какая-то огромная рыба, которую хозяинъ невода, простой мужикъ, и поднесъ царю. Царь былъ такъ радъ, что наградилъ его титуломъ князя, но денегъ не далъ ни гроша.

Впрочемъ и то хорошо: теперь никто не можетъ оскорбить его, а если кто ударитъ, то можно содрать такое безчестье, что обогатится вся семья и потомство. И Епифанъ Андреичъ давно бы пріобрѣлъ огромныя богатства, если бы только получалъ деньги за всѣ свои оскорбленія, по своду законовъ; но это была такая забитая личность, что за его безчестье можно было содрать съ него же.

Въ этой же большой квартирѣ жилъ отставной титулярный совѣтникъ, который три раза срывалъ по 300 руб. сер. за то, что били его морду, а морду его, ей Богу, и даромъ можно бить. Эта шельма, уволенная по прошенію, обыкновенно подбиралъ человѣкъ шесть забулдыгъ, въ ихъ присутствіи раздражалъ какого нибудь незнакомаго господина, тотъ билъ его по мордѣ, начиналось дѣло, и титулярный получалъ слѣдуемый по закону гонорарій. Наконецъ гражданская палата обратила вниманіе на то обстоятельство, что титулярнаго что-то очень часто бьютъ, и запретила ему впредь подавать просьбы. Чѣмъ промышлять? послѣдній товаръ — физіономія, упалъ въ цѣнѣ; дошло до того, что бить стало можно эту физіономію, плевать въ нее, какъ

въ плевальницу, тыкать пальцами, топтать ногами. Тогда онъ прибѣгнулъ къ другому средству.

Приходитъ къ нему какой нибудь промыслитель — чиноперъ.

— Дѣло, говоритъ онъ.

Ѳедоръ Ѳедорычъ, глядя серьёзно на чинопера, спрашиваетъ «сколько?»

— Пятьдесятъ.

— Сто.

— Не дадутъ.

— Дадутъ за это и больше дадутъ.

— Ну, шестьдесятъ.

— Девяносто.

— Семьдесятъ.

— Семьдесятъ пять.

— Идетъ.

— На столъ.

Чиноперъ кладетъ на столъ 75 руб.

— По какому дѣлу?

— Присягу въ убійствѣ.

— Хорошо, говоритъ титулярный, и распросивъ подробности дѣла, даетъ присягу.

Наконецъ ему запретили и присягу держать. Хотя деньжонки у него и были сколочены, однако это ему нанесло ударъ. Посѣдѣлъ, несчастный. Осталось одно — сочинять кое-какія прошенія и давать кляузные совѣты.

Вотъ это титулярное существо, видя простоватость Епифана Андреича, хотѣло, какъ вы думаете, что сдѣлать? получить гонорарій и за физіономію представителя захудалаго рода князей Ремнищевыхъ.

— Вѣдь ты князь? говорилъ онъ ему на именинахъ пѣвчаго.

— Какой же я князь?

— У тебя вѣдь въ сохранности всѣ грамоты?

— Да.

— Чего жь ты зѣваешь? Сдѣлаемъ дѣльце. Если бы ты былъ отребье, простой мужланъ, тогда и рожа-то твоя стоила бы всего 3 рубля съ копѣйками; а то тутъ княжеская корона страдаетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, моталъ головою его сіятельство.

— Дуракъ, братъ, ты. Аль ты думаешь, что очень больно будетъ?

— Да и больно, а я такой хилый, отвѣчалъ захудалый родъ.

— Ну, можно вотъ какъ сдѣлать: — собрать свидѣтелей, да и подать просьбу на какого нибудь богача— билъ дескать. Тутъ боли не будетъ. (Сначала титулярный «ловецъ людей» говорилъ съ нимъ на *вы*, но по мѣрѣ опьяненія и раздраженія перешелъ на *ты*, и наконецъ на *братъ*).

— За что же человѣка-то обижать?

— А деньги? Они вѣдь на полу не валяются. Ты можешь нѣсколько разъ получить ихъ.

— Нѣтъ, я не хочу.

— Дуракъ!

— Зачѣмъ же браниться?

— Князь еще.

— Ну такъ что жь? ну и отстаньте отъ меня, — я никого не трогаю. Что жь, что глупъ, я себя берегу. Мнѣ что?..

— Побить бы тебя надо!

— Я васъ прошу, оставьте меня. — Вотъ я вамъ говорю *вы*, а...

— А я не только говорю *вы*, я даже побить хочу.

— Я закричу! Что это такое? За меня заступятся.

— Хорошо же, я тебѣ покажу кузькину мать...

Что это за кузькина мать, мы не можемъ объяснить читателю. У насъ есть много такихъ присловій, которыя отъ времени утратили смыслъ. Вѣроятно кузькина мать была ядовитая баба, если ею стращаютъ захудалый родъ. Отчего, напримѣръ, карты иногда называютъ святцами? Вы не слыхали этого? Говорятъ, будто какой-то попъ святцы продалъ, а карты купилъ—вотъ и пошли карты называться святцами и т. п.

Епифанъ Андреичъ былъ хилъ и захудалъ. Это была забитая личность. Выраженіе лица доброе, но запуганное, недовѣрчивое, въ одиночку всегда довольное. Онъ былъ единственный сынъ отца, который ненавидѣлъ Епифана еще въ то время, когда онъ былъ въ утробѣ матери, потому что любилъ въ это время другую женщину. Онъ выгналъ Епифана изъ дому на двѣнадцатомъ году, вслѣдствіе чего онъ пріютился у своей тетки. Но эта тетка-благодѣтельница была не лучше отца. Чортъ знаетъ, чего только она съ нимъ не дѣлала.

Вглядываясь въ лицо Епифана Андреича, вы не замѣчаете въ немъ ничего глупаго; голова его устроена правильно, лицо не развито на счетъ черепа, лобъ широкій, и не смотря на сорокъ лѣтъ, моложаво и красиво; но глупъ онъ, положительно глупъ. Причина тому простая; отецъ его, подъ пьяную руку, по его молодому, еще не окрѣпшему темени ударилъ пять разъ своею здоровенной широкой ладонью—и вотъ пошелъ Епифанъ гулять по свѣту дуракомъ, и всѣ надъ нимъ смѣются. Потерявъ умъ, онъ утратилъ и ту небольшую любовь, которую старался питать къ нему отецъ. Отецъ возненавидѣлъ его тѣмъ болѣе, что онъ же былъ и причиной сыновней глупости и такимъ образомъ былъ для него постояннымъ укоромъ. Поэтому онъ и

поспѣшилъ отправить сына въ Питеръ къ своей сестрѣ, прося опредѣлить его въ корпусъ. Та опредѣлила его въ гимназію. Епифанъ никому не разсказывалъ объ этомъ случаѣ, по той причинѣ, что нигдѣ не встрѣчалъ участія и недовѣрчиво относился къ людямъ. (Въ ходѣ романа, онъ разскажетъ объ этомъ только одному Потесину, откуда читатель и долженъ узнать о прежней жизни захудалаго рода. Встрѣтивъ въ Потесинѣ полное участіе, а именно послѣ того, какъ Потесинъ спасъ его отъ титулярнаго, Епифанъ высказалъ ему все, и тутъ-то поразительный плачъ его о своей бѣдности душевной,—не вытерпѣлъ голубчикъ). Въ гимназіи огромныхъ трудовъ стоило ему заучивать уроки, и его часто парили. За годъ до окончанія курса Епифанъ получилъ извѣстіе, что отецъ его умеръ; Епифанъ сдуру плакалъ, точно и Богъ вѣсть, что утратилъ. Спустя еще немного, пришло другое извѣстіе, болѣе печальное: — всѣ имѣнія пошли съ молотка, въ уплату отцовскихъ долговъ. Епифанъ опять плакалъ, и теперь было о чемъ поплакать. Кончивши курсъ, онъ поступилъ въ департаментъ въ качествѣ канцелярскаго чиновника и шута. (Характеристика.—Его мечты и хозяйство.—Любовь къ сосѣдкѣ-уроду.—Характеристика того, какъ можно влюбиться въ урода,—тутъ особаго рода любовь.—Теорія, психически провѣренная, что дуракъ можетъ быть умнѣе насъ, умниковъ, но у него свой складъ души.—Положительная честность и добродушіе.—Онъ умѣлъ разговаривать съ неодушевленными вещами, для него каждая изъ нихъ имѣла смыслъ.—Скопидомство.—Скандалъ, учиненный имъ въ департаментѣ вслѣдствіе внушеній Потесина о томъ, что

онъ не долженъ позволять унижать свою личность, и проч.).

Вотъ рецептъ, по которому можно умнаго мальчика превратить въ дурака. Бейте его по головѣ каждый день. Черезъ полгода онъ будетъ жалко глупъ, хоть бы и не родился дуракомъ. Въ то же время пускай родные, знакомые, начальники, товарищи, прислуга будутъ смотрѣть на него, какъ на дурака, съ презрѣньемъ отзываться о каждомъ его словѣ, мысли, побужденіи, при остротахъ пожимать съ сожалѣніемъ плечами, при жалобахъ хохотать,—такой безапелляціонный судъ произведетъ свое дѣйствіе, человѣкъ разубѣдится въ своемъ умѣ, его одурачутъ, и онъ дѣйствительно одурѣетъ. Несчастный захудалый Ремнищевъ захудалъ и морально; бѣденъ сталъ и тѣломъ, и душою. И физическій, и нравственный гнетъ на голову создали изъ него забитое, несчастное, глуповатое существо.

Захудалый Ремнищевъ часто прислушивался ко всѣмъ звукамъ и явленіямъ своей комнаты, смотрѣлъ въ жерло лежанки, наблюдая работу огня, трескъ полѣна и тлѣніе углей; игралъ съ котятами, занимался росчерками перомъ на бумагѣ. Чай онъ пилъ не столько съ аппетитомъ, сколько съ любовью хозяйничать, потому чайные приборы были у него чисты, въ порядкѣ,—онъ точно игралъ, какъ маленькія дѣти играютъ въ чай. Перетиралъ и пересчитывалъ старыя деньги; иногда пересчитывалъ, безъ всякой нужды, и новыя деньги и проч.

Захудалый родъ, приходя въ азартъ, или впадая подъ рѣдко-рѣдко откровенную руку, дѣлалъ подъчасъ довольно странныя сближенія, напримѣръ, показывая на палецъ, онъ спрашивалъ:—это что? Снисходитель-

ный слушатель отвѣчалъ ему: «палецъ»; пораздражительнѣе: «ковырни въ носу, узнаешь что», а наглый: «болванъ, братъ, ты; захлопни скорѣе яму, которая у тебя называется ртомъ». Иные ругались и почище. Подъ откровенный часъ онъ изрѣдка высказывалъ свои убѣжденія, долго зрѣвшія въ его обезможженной головѣ, и слышалъ злыя насмѣшки... Еще благо тебѣ, Епифанъ, что рѣдко высказывался ты передъ людьми, а больше говорилъ со столами и вещами, а то бы натерпѣлся ты за то, что подлый деспотъ-отецъ когда-то треснулъ тебя по неокрѣпшему твоему черепу и вышибъ изъ тебя спасителя жизни людской — мозгъ изъ черепа. И много въ твоей жизни будетъ горя-злосчастья, но знай, что безъ горя-злосчастья и счастье не ходить по Руси. Ты *младшимъ братомъ* сталъ, а младшій братъ и есть счастье... Ну, и пусть ихъ!..

Пѣвчій. У насъ при церквахъ часто устроиваются вольные пѣвческіе хоры, или такъ называемая «сборная братія». Какой нибудь мѣщанинъ, маленькій чиновникъ, отставной унтеръ-офицеръ, заштатный дьячокъ и тому подобный людъ, имѣющій какіе нибудь теноры или басы, составляютъ партію, и, выбравъ изъ среды себя артиста, знающаго мало мальски ноту и владѣющаго скрипицей, они нанимаются пѣть при какой нибудь церкви, рублей за шестьсотъ въ годъ. Разсчитывая на заказныя обѣдни, выносы, панихиды и славленье рождественское, крещенское и пасхальное, они могутъ надѣяться получить каждый рублей по восьми въ мѣсяцъ и до пятнадцати; маленькимъ пѣвчимъ, дискантамъ и альтамъ, изъ дѣтей бѣдныхъ родителей, достается рубля по два или по три въ мѣсяцъ, хотя они несутъ ту же службу, какую и большіе. Въ

большой квартирѣ жилъ одинъ изъ такихъ пѣвцовъ, нѣкто Алексѣй Акимычъ Частоколовъ. Это былъ снарядъ о восьмнадцати октавахъ. У него не было ни роду, ни племени, ни отца, ни матери, онъ самъ не зналъ, сколько лѣтъ ему, зналъ только, что его какой-то мѣщанинъ спасъ отъ проруби, гдѣ его думали было утопить, усыновилъ его и далъ ему нѣкоторое воспитаніе.

Средняго роста, лѣтъ 30-ти отъ роду, плохо скроенъ, да крѣпко сшитъ, могучъ и голосистъ, Алексѣй Акимычъ былъ славою хора.... Балакиревъ и колода засаленныхъ картъ—вотъ и вся библіотека Алексѣя Акимыча. — Упражненіе его на 18-ти октавахъ. — Всегда безъ денегъ, всегда пьяный. — Взглядъ его на жизнь и отвращеніе къ наукѣ. — Дикій и самобытный языкъ и существованіе у насъ во многихъ кружкахъ оригинальныхъ словъ и оборотовъ рѣчи, читателю, вѣроятно, неизвѣстныхъ.—Цинизмъ послѣдняго предѣла. Ненависть къ барамъ, франтамъ, богачамъ, предпочтеніе рѣдьки ананасу и т. п.

Пѣвчаго присловья *). Поймалъ вошь, будетъ дождь; поймалъ двѣ рядомъ, будетъ съ градомъ. Вотъ теперь совсѣмъ скотина,—хвоста не было, а теперь и хвостъ есть. (Пѣвчій долженъ быть скандальеръ. Онъ силенъ физически. Офицеру, котораго онъ обругалъ скотиной, онъ же показалъ кулакъ, сказавъ: «поговори!»).

Зѣвнулъ и, перекрестя ротъ, сказалъ: «была у волка одна пѣсня, да и ту перенялъ». — «Если поплевать на ладонь, да треснуть его хорошенько по харѣ, то весь румянецъ пропадетъ».

---

*) Эти присловья должны были войти въ составъ разговоровъ пѣвчаго, который, какъ видно, щеголялъ такими присловьями. Здѣсь онѣ собраны авторомъ всѣ вмѣстѣ, для памяти.

— Если я передъ бабой, передъ гадиной женскаго пола спасовалъ (онъ выразился рельефнѣе, но какъ именно, напечатать нельзя), такъ послѣ этого я дуракъ и скотина. Вѣдь баба глупѣе и гаже мужчины. Курица глупѣе пѣтуха, кобыла жеребца, сука кобеля, а баба глупѣе человѣка, т. е. мужчины. Я вѣдь кобель, а меня сука обошла. Хорошо же!

Ѣлъ воробьевъ, колюшекъ; крысъ давилъ собственными руками. Разсматривая свою шапку, онъ соображалъ, что изъ шапки его можно супъ сварить, и въ самомъ дѣлѣ, шапка его была очень жирна. Его характеристика своихъ сапогъ, пальто, своей фигуры; его думы надъ пустыми щами и размазней; его желудокъ, способный переваривать, что угодно.

Когда пѣвчій былъ пьянъ, онъ имѣлъ обыкновеніе говорить: «я зѣло! значитъ не шевелись, не дыши,— иначе кому нибудь морду побью!» Иногда онъ забывалъ произносить это сдерживающее слово; — тогда и побивалъ кому нибудь морду, либо наталкивался на скандалъ другого рода. Пѣвчій умѣлъ разнообразить свой припѣвъ: «я, говоритъ, зѣло: ты, говоритъ, зѣло; онъ, говоритъ, зѣло; мы, говоритъ, зѣло; вы, говоритъ, зѣло; они, говоритъ, зѣло! не даромъ же меня сѣкли,— спрягать теперь по камушкамъ умѣю».—«Братцы, сдѣлаемъ зѣло!»—говорилъ онъ, имѣя деньги. У него былъ обычай перемѣнять фразу, вызывающую на выпивку. Зѣло перемѣнилось потомъ на фразу: «Господа! хотите на лѣвую ногу?» и подъ-пьяна спрягалъ: «я на лѣвую ногу, ты на лѣвую ногу» и т. д. Разъ его попросили расколоть полѣно; онъ раскололъ, посмотрѣлъ на топоръ, ощупалъ деньги въ карманѣ и сказалъ: «пойду топорище размачивать». Съ того времени эта фраза была у него призывомъ къ пьянству. Потомъ «на дву-

гривенный, господа!» Потомъ: «на пять желудковъ!» (Послѣ объясненія Потесина, у кого изъ животныхъ сколько желудковъ). Потомъ: «терніе на жизненномъ пути разсѣяно повсюду». Потомъ: «вотъ такъ погода—такъ и валитъ съ ногъ». Потомъ: «давайте стекла выставлять!» и проч. Всякую новую фразу онъ бралъ изъ событій своей жизни, или изъ столкновеній съ кѣмъ нибудь и съ чѣмъ нибудь.

Описать любовь Частоколова къ банѣ и здѣсь изобразить голыхъ, парящихся, моющихся, крехтящихъ и стонущихъ отъ удовольствія. Баня для Частоколова замѣняла клубъ и газеты. Ходя въ баню всегда въ субботу, когда много бываетъ народу, онъ здѣсь запасался политическими и общественными новостями. Пѣвческая, трактиръ и баня были единственными мѣстами его публичной дѣятельности.

Сидя въ трактирѣ и раздумавшись о вѣчныхъ мукахъ, пѣвчій умилился, назвалъ себя великимъ грѣшникомъ и чуть не заплакалъ. Онъ взглянулъ въ большой уголъ.

— Половой!—закричалъ онъ.

Явился половой.

— Это что?—спросилъ онъ, указывая на образъ.

— Богъ, —отвѣчаетъ тотъ.

— А ты дуракъ!

— Что же лаяться изволите?

— Сегодня какой день?

— Воскресенье, сударь.

— Подай мнѣ на десять копѣекъ деревяннаго масла.

— Чего-съ?

— Чаво-съ? Дуракъ тупорылый!.. На десять копѣекъ деревяннаго масла.

Половой принесъ масло.

— Подлей,—сказалъ пѣвчій, указывая на лампадку.

Разсердившись на полового, пѣвчій тѣмъ самымъ разсѣялъ свое религіозное настроеніе.

Съ пьяна, въ началѣ охмѣлѣнія, онъ былъ веселъ, добръ, шутилъ, поцаловалъ слѣпого ребенка и далъ ему хлѣба и сахару. Потомъ выпилъ еще и крикнулъ громко. Легкій, освѣжающій грудь и душу смѣхъ—пропалъ. Онъ сталъ насмѣхаться и прибирать гиперболически-циническія остроты, придираться ко всѣмъ. Еще осьмушка, и на него напало мрачное расположеніе духа. Онъ горько взглянулъ на свой бытъ, на судьбу свою и проклиналъ ее. Попомнилъ онъ свое бездомовство и безродство, басъ его надтреснулъ и задрожалъ, показались слезы на глазахъ, и онъ зарыдалъ какъ ребенокъ.

— Эхъ, съ горя еще хвачу; чортъ тебя дери, сивуха, мать мая, помощница и утѣшительница.

Послѣ этого плачъ перешелъ въ бѣшенство, онъ скрежеталъ зубами и кричалъ: «всѣхъ задушу, башку размозжу!.. Я васъ ненавижу!» Хмѣль, во время развитія своего, вдругъ упадаетъ, когда въ короткое время выпито много; такъ случилось и съ нимъ.

— Простите меня, братцы, я васъ оскорбилъ... Ну, пьянъ... я пьянъ!..

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ упадка, хмѣль опять быстро возрастаетъ. Онъ вскрикнулъ дико, и ругань его удесятерилась. Хмѣль, наконецъ, свалилъ его, и, лежа въ грязной постелѣ, все повторялъ одно и тоже бранное площадное слово.

— Мать? кто ты, мать мая? — бредилъ онъ, —дѣвка ты?.. Нѣтъ, дѣвки не рожаютъ... Зачѣмъ ты меня бросила въ прорубь?.. А вы, честные люди, чтобъ вамъ народить такихъ дьяволовъ, какъ я, за то, что вы меня

спасли изъ прорубi!.. Отецъ, кто ты? А!.. Нѣтъ, мать не виновата, а вотъ ты, должно быть, подлецъ... Чтобы легіонъ чертей въ твою свиную душу... Анаѳема!..

Такъ и заснулъ онъ, не договоривъ какую-то омерзительную фразу.

(Послѣ этихъ-то имянинъ его и уговаривалъ Потесинъ, а потомъ онъ отправился къ доктору).

Вдругъ Потесинъ услышалъ вздохи Алексѣя Акимыча, которые на этотъ разъ были глуше обыкновеннаго. Онъ стоялъ посреди комнаты, ежеминутно мѣняя положеніе своего тѣла. Онъ откинулъ ногу назадъ и протянулъ руки впередъ, какъ бы ловилъ кого въ свои объятія; фигура его, черезъ минуту, изображала знакъ вопроса, а поднятые кулаки ищутъ, на чьей бы спинѣ поставить двоеточіе. Потомъ двоеточіе разстроилось; остановился Алексѣй Акимычъ, точно былъ по колѣни вкопанъ въ полъ комнаты. Картина вышла истинно живописная! Солнечный полусвѣтъ пробирается сквозь тряпицу, завѣшивающую окно; на ржавой стѣнѣ полоса солнца. Изъ подъ кровати выбѣжала мышь и нюхаетъ воздухъ; у него и мыши-то голодныя, а вотъ у хозяина поймали на дняхъ—жирная, что свинья. (Въ бѣдныхъ квартирахъ и животныя бѣдныя, худощавыя). Стоитъ нашъ Частоколовъ, поводя помутившимися очами по стѣнамъ, по полу, по потолку; беретъ онъ полу своего замасленнаго сюртука, поднимаетъ ее, смотритъ на нее безсмысленно и потомъ сморкается въ нее. Съ пьяна у него глаза косятся, оба сходятся къ угламъ около носа и онъ, при этомъ неестественномъ положеніи глазъ, видитъ синее тѣло своего носа и хочетъ плюнуть на кончикъ его. Въ одной рукѣ у него ситникъ, другою онъ

держитъ за хвостъ селедку: соленая шельма мотаетъ башкой, и какъ будто дивясь на пѣвчаго, пучитъ глаза на его ноги. Поднялъ Алексѣй Акимычъ отяжелѣвшую руку къ верху, поймалъ зубами ситникъ и сталъ лѣниво жевать; хотѣлъ онъ то же сдѣлать и съ селедкой, но та съ размаху влѣпилась ему въ щоку. Зарыдалъ пѣвчій, плюнулъ на селедку, и рѣшился, во что бы то ни стало, поймать ее; опять взмахнулъ рукой—селедка съѣздила его по лбу.

— Чего жъ ты!.. Эй ты... чего злишься?.. проговорилъ онъ въ недоумѣніи и печально.

Въ третій разъ поднялась рука, но, ослабѣвъ надъ головою, опустилась и на обратномъ полетѣ всунула селедку за галстукъ баса. При этомъ пѣвчій издалъ неразгаданный звукъ, въ которомъ слышалось и ворчанье живота, и отрыжка, и скрипъ двери, и оттѣнокъ какой-то жалобной ноты. Онъ понурилъ головою, какъ измученный конь, покачалъ въ раздумьи головою, выдернулъ изъ-за галстука селедку, шлепнулъ ее объ полъ и закричалъ:—«розогъ сюда!.. плетей!.. я тебѣ дамъ!.. выпорю... такъ выпорю, какъ меня поролъ, шельма... Что смотришь?.. чортова куқла...»—Онъ прослезился, утеръ полою носъ и упалъ на грязную кровать. Бахусъ съ рукъ на руки сдалъ его Морфею...

Между тѣмъ мать сивуха, проклятіе нашей земли, со дня на день дорожала и становилась ядовитѣе, вонючѣе и гаже. Частоколовъ пилъ ее съ жадностью человѣка, пьющаго воду въ пустынѣ. Его здоровая грудь расхлябалась, печень расширилась, онъ постоянно кашлялъ и мокротой бураго цвѣта устилалъ полъ своей невзрачной комнаты. Лицо его чернѣло и отливалось какимъ-то мѣдноватымъ цвѣтомъ; рука, подносящая ко рту откупной стаканъ, дрожала. Онъ потерялъ полови-

ну своей силы: голосъ его надтреснулся и хрипѣлъ, помутившіеся глаза слезились; онъ постоянно чувствовалъ какой-то страхъ, какъ будто не могъ припомнить страшное преступленіе, сдѣланное имъ на днихъ. Черепъ его утомился, «трещала *черепица*», какъ самъ онъ выражался, память ослабѣла, и видимо поглупѣлъ этотъ богатырь-циникъ. Замѣчательно, что на доброе дѣло денегъ достать бываетъ трудно, а на худое онѣ сами лѣзутъ въ карманъ, точно и въ самомъ дѣлѣ чортъ помогаетъ. Пѣвчій былъ почти постоянно пьянъ. Какой-то червякъ сосалъ его сердце. Онъ спросилъ однажды у Потесина, правда ли, что у пьяницъ подъ желудкомъ образуются пузыри, наполненные водкой, которые и заставляютъ ихъ пить? Потесинъ совѣтовалъ ему сходить къ доктору и указалъ ему одного отличнаго діагноста. Діагностъ изслѣдовалъ все его тѣло, и сказалъ, что отъ запоя можно вылечить, а отъ пьянства нѣтъ. Отъ пьянства одно спасенье—сила воли.

— Сколько разъ въ году вы были пьяны? спросилъ его докторъ.

— Да большую часть года.

— А знаете ли, что вы, по нашимъ законамъ, подлежите заключенію въ исправительномъ домѣ? Ваше званіе?

— Мѣщанинъ.

— Такъ въ рабочемъ домѣ.

— Чѣмъ же я виноватъ, что у насъ болѣзни не лѣчатся, а наказываются, да, кажется, и во всемъ свѣтѣ такъ? Неужели такъ-таки никакого средства и нѣтъ у васъ?

— Есть средства. Напримѣръ, вино подливаютъ во всѣ кушанья страждущаго пьянствомъ; воздухъ напитываютъ водкой; одежду душатъ водкой; черезъ нѣ-

сколько времени она до того опротивѣетъ, что человѣкъ не можетъ слышать запаху ея.

— Я объ этомъ слышалъ.

— А пробовали?

— Я въ водку крошилъ хлѣбъ и ѣлъ.

— Ну и что же?

— Ничего. У меня дьявольская натура.

— Такъ вотъ что: на Пескахъ живетъ старичекъ, который, говорятъ, лечитъ отъ пьянства.

— Шарлатанъ?

— Нѣтъ, онъ дѣйствуетъ нравственными средствами. У него есть одно средство, сильно возбуждающее волю больного.

— Какое?

— Согласитесь ли вы открыть ему секретъ, который былъ бы вамъ очень дорогъ и даже опасенъ?

— Зачѣмъ же это?

— Въ случаѣ, если вы не оставите пить, онъ разскажетъ этотъ секретъ вашимъ знакомымъ.

— На это не согласенъ.

— Вы физически и нравственно несокрушимы. Я бы васъ положилъ въ больницу и не выпустилъ бы раньше мѣсяца. Вы бы вытрезвились хорошенько.

— А потомъ?

— Потомъ я совѣтую вамъ вмѣсто водки употреблять виноградныя вина.

Частоколовъ усмѣхнулся.

— Денегъ-то гдѣ же взять?

— Гмъ! Причина неоспоримая.

Докторъ долго еще прибиралъ разныя средства, и всѣ оказывались или неудобными, или невозможными. Истощивши весь запасъ своихъ свѣдѣній по этой части и видя, что ничто не беретъ, докторъ сказалъ:

— Да вы дьяволъ послѣ этого.

— Дьяволъ,—отвѣтилъ пѣвчій.

— Вѣруете ли вы въ Бога?

— Еще бы?

— Такъ попробуйте молиться.

Пѣвчій, усмѣхнувшись горько, только рукой махнулъ. Долго на него смотрѣлъ добрый докторъ и потомъ прошепталъ:—«вы погибшій человѣкъ!»

— Погибшій?

— Да.

Поблѣднѣлъ тотъ. У доктора блеснула мысль испугать его вѣчными мученьями.

— Да,—сказалъ онъ:—вы погибшій, и на вѣки!..

Пѣвчій зубами заскрипѣлъ, и долго думалъ крѣпкую, бѣдняга, думу.

— На вѣки?—повторилъ онъ.—На вѣки!..—Захохоталъ, сплюнулъ на полъ и направился къ двери, не прощаясь, не поблагодаривъ даже за сеансъ.

— Послушайте,—закричалъ вслѣдъ ему докторъ:—вы не сдѣлайте чего нибудь надъ собой!..

— Пить буду,—было мрачнымъ отвѣтомъ.

— Слушайте: исправьтесь!

— Пить буду!—и слово *буду* точно гвоздемъ прибилъ.

— Пропалъ этотъ человѣкъ,—проговорилъ докторъ. Что же наша наука, даже до сихъ поръ отъ пьянства лечить не умѣетъ, а мое отечество пьетъ смертнымъ поемъ...—И долго думалъ докторъ, какъ лечить пьяницъ, и ничего, конечно, не выдумалъ.

Идя черезъ мостъ, Частоколовъ, въ раздумьи, хотѣлъ броситься въ воду, да помѣшали (сцена). Дома его первыя трезвыя слезы, потому что ослабѣвшіе нервы не могли удерживать ихъ.

Откупъ быстро разрушалъ этотъ сильный и здоровый организмъ. Частоколовъ зналъ, что,во время пьянства, онъ дѣлалъ разныя нелѣпости, даже подлости: бралъ чужія деньги безъ спросу, былъ откровененъ не кстати; ругалъ, что́ въ трезвомъ видѣ хвалилъ, и на оборотъ,—но не могъ удержаться. Вотъ откуда у него страхъ и сожалѣнье о пропитыхъ дняхъ своей жизни...

О, препоганая мать-природа, зачѣмъ ты создала мать-сивуху,—чтобъ тебѣ на сквозь прошло! О, святорусскій народъ—брось пить,—я одинъ изъ бросающихъ. Правда, всѣ великіе люди пили (по Гервинусу), отсюда слѣдуетъ, что ты великій народъ, народъ-пьяница; но будь трезвымъ великимъ народомъ. Великій русскій народъ, разшиби ты поганую посуду съ поганой сивухой; наплюй въ окна кабаковъ и въ рожи ихъ производителей! Отрезвись,—и пой хоть ту же унылую пѣсенку, какую пѣлъ до сихъ поръ, только не съ пьяна! Но чую, чую взбѣшонной душой, что это все напрасно написано: докторъ не вылѣчитъ пѣвчаго... Значитъ такъ тому и быть, на роду что-ль намъ написано это... Проклятая жизнь, и проклятая ты, природа!..

Чую, что смерть идетъ ко мнѣ быстрыми шагами. И такъ, много ли нажилъ?..

О, проклятая жизнь!..

Пріятели пѣвчаго. Двое бородатыхъ дѣтей, подъ вліяніемъ сытнаго ужина, развеселились и разыгрались. Если бы существовали на свѣтѣ котята величиною съ хорошаго бычка, то ихъ, въ настоящую минуту, можно было бы сравнить съ котятами,—такъ они были милы. Ѳедька ударилъ Олешку чулкомъ; Олешка отвѣтилъ Ѳедькѣ сапогомъ, и оба отъ удовольствія заржали.

— Ахъ ты кирпичникъ! сказалъ Ѳедька, а самъ чесалъ немытую три мѣсяца голову, отъ которой пошла пыль столбомъ.

— Чего дерешь войлокъ-то?—спросилъ Олешка:—али аспиды завелись?

Ѳедька захохоталъ удушливымъ, неудержимымъ хохотомъ. Онъ вѣчно хохоталъ и любилъ, когда его ругали, и чѣмъ крѣпче его ругали, тѣмъ онъ громче хохоталъ. Онъ на минутку было успокоился, но потомъ опять его сталъ душить хохотъ, какъ нечистая сила. Олешка воспользовался этимъ случаемъ и разбросалъ по комнатѣ сапоги и чулки Ѳедьки, послѣ чего онъ еще пуще, еще неудержимѣе залился. Ему хотѣлось что-то сказать, но смѣхъ захлестывалъ его дыханье, и изъ горла вырывалось что-то похожее на звукъ пузырей, выходящихъ изъ воды. Наконецъ насталъ переломъ; онъ мало по малу успокоился.

— У тебя, братъ, не кровь, а сладкій супъ въ жилахъ,—сказалъ Олешка.

— Ахъ ты, необразованная скотина! отвѣтилъ Ѳедька и поднялъ сапогъ надъ головою Олешки; а тотъ въ одно мгновенье превратилъ подушку въ щитъ, ноги въ стѣнобитную машину и сталъ ими дѣйствовать въ грудь и животъ противника. Но противникъ неожиданно кинулся на шею Олешки, сѣлъ къ нему на спину и поднялъ башмакъ надъ головою.

— Живота или смерти?

— Молчи, овчій зракъ!

Онъ ухватилъ его за рубаху, она затрещала и раздралась на трое. Должно было ожидать бѣды. Ѳедька былъ изъ тѣхъ людей, которыхъ трудно было вывести изъ терпѣнія, но если выводили, то не было на него никакой удержки. Олешка боялся за свои жидкія

кости, но онъ нашелся. Около Ѳедьки все было въ безпорядкѣ: подушка въ ногахъ, одѣяло на полу, сапоги въ головахъ и черное тѣло, заросшее волосами, было еле прикрыто изодранными клочьями грязной рубахи. Видя это, Олешка проговорилъ: «какъ Іовъ на гноищѣ». Съ этого слова опять проняло баса, и онъ залился неудержимо. Однако не надолго. Взглянувъ на свою рубаху, онъ осерчалъ, глаза его засверкали сурово.

— Ну, трясина поганая, давайся лучше самъ, а не то худо будетъ,—сказалъ онъ.

— Да что жъ ты сдѣлаешь?

— И тебѣ разорву хитонъ.

— Да ну! вѣдь я ненарочно.

— А я разорву нарочно.

Ѳедька спустилъ ногу съ тюфяка.

— На, рви, чортъ съ тобой!

Олешка подошелъ къ нему и подставилъ воротъ рубахи.

Такая покорность обезоружила Ѳедьку, но, замѣтивъ, что Олешка на то и разсчитывалъ, — «дескать разжалоблю», онъ сгребъ его за рубашку и рванулъ грязный и ветхій холстъ—только клочья полетѣли.. Увидѣвъ растрепанныя клочья, Ѳедька захохоталъ, на сколько хватило его здоровыхъ легкихъ, и повалился въ корчахъ на кровать. Олешка ругалъ его, билъ голенищемъ, таскалъ за волоса, а Ѳедька хохоталъ себѣ такъ, что брюхо у него трещало. Здоровъ былъ Ѳедька хохотать.

Еще жильцы большой квартиры. Хозяинъ, снимавшій большую квартиру, былъ женатъ на Аграфенѣ Дмитревнѣ, урожденной Животаго. Онъ немножко по-

баивался своей Животаго. Единственное дитя, Ваню, она вскормила на славу. Дитятко было холено, хранено. Ни загаръ, ни холодъ никогда не касались его; бѣлое тѣло его было нѣжно и мягко. Отецъ лишь за двери, урожденная Животаго непремѣнно запихнетъ своему сынку въ ротъ кусокъ сахару, либо дастъ булку, намазанную патокой. То и другое Ваня съѣстъ, и показываетъ потомъ матери свои почернѣвшіе уже зубки. У Вани все животишко болѣлъ, а животишко былъ у него кругленькій, пухленькій, тугой такой, ручонки и ножонки тоже, на лбу синія жилки, подъ глазами темныя пятна, лицо бѣлое какъ булка. Ваня постоянно ходилъ за маменькинымъ хвостомъ и въ кухню, и въ спальню, и въ церковь, и въ гости. Отецъ не любилъ его, называлъ сынка тварью и животнымъ. Ваня боялся папашу, какъ чорта, а ненавидѣть его не умѣлъ. Но мать не давала сына въ обиду. Лишь долько папаша дастъ, гдѣ нибудь за угломъ, затрещину своему сынишкѣ, Ваня зареветъ, и урожденная Животаго такъ и броситься съ кулаками на мужа.—Травля сынишки во время исповѣди матери, когда отецъ и сынъ оставались дома вдвоемъ (показать, какъ благочестиво приготовлялись жители большой квартиры къ Пасхѣ).—Этого Ваню потомъ опредѣлили въ гимназію, гдѣ его какъ ни тянули къ верху за уши, однако исключили. Вотъ и осуществилась мечта матери: онъ чиновникъ. Но и въ зрѣлыя лѣта онъ сохранилъ свое ребячество, постоянно ѣлъ пряники и пастилу, любилъ все блестящее и сидѣлъ либо дома, либо въ департаментѣ, гдѣ надъ нимъ всѣ смѣялись.

Дѣтское населеніе большой квартиры. Дѣти разныхъ угловъ большой квартиры имѣли постоянныя сношенія между собою, зимою въ корридорчикѣ, а лѣтомъ на дворѣ и въ саду. Въ этой главѣ должно сдѣлать замѣчаніе, что она буквально принадлежитъ не мнѣ, а составлена на основаніи письменныхъ мемуаровъ одного мальчика, выправленныхъ и дополненныхъ мною со словъ маленькаго автора. Сюда войдутъ всѣ сословныя, семейныя, религіозныя, общественныя, сказочныя стороны дѣтской жизни; ихъ увеселенія, проказы, вражда и скандалы, отношенія къ родителямъ, къ старшимъ, къ наукамъ и проч. Главная задача этого отдѣла — показать, какъ развивается дѣтская молодая жизнь въ средѣ мѣщанства и бѣднаго чиновничества; впечатлѣнія самыхъ юныхъ лѣтъ.

Машка была дѣвочка лѣтъ одиннадцати, а Лешка мальчикъ лѣтъ трехъ, ея родной братъ. На Машкѣ была надѣта изъ грубаго, неизносимаго холста рубашонка, платьишко ситцевое, сильно поношенное,—и только; босоногая, голорукая, она и дома, и на улицѣ, и лѣтомъ, и зимою ходила въ такомъ видѣ. Братишка ея былъ въ одной рубашонкѣ. Машка, когда ея мать уходила торговать, хозяйничала и нянчила Лешку.

— Машка! закричалъ Лешка.

— Чего тебѣ?

— Ѣсть хочу!...

— Ѣлъ вѣдь хлѣбъ?

— Еще хочу.

— Мамка заругаетъ.

— Ѣсть дай!

— А вотъ я тебѣ дамъ.

Машка подходитъ и даетъ ему шлепка. Лешка заревѣлъ.

— Не реви!

— Ѣсть хочу.

— Я же тебѣ еще дамъ.

Машка дала еще три шлепка. Плачъ брата усилился. Машка злилась и продолжала бить братишку.

— Я тебѣ дамъ, околѣлый!

Она рѣшилась во что бы то ни стало заставить Лешку молчать; но побои естественно увеличивали только плачъ ребенка. Машка выходила изъ себя. Она достала розгу и стала сѣчь Лешку. Визгъ былъ оглушающій; кричалъ Лешка, кричала и сестра-нянька. Наконецъ оба затихли на время. Около двадцати минутъ было тихо; но возня, плачъ, розги и побои еще больше увеличили аппетитъ ребенка. Лешка подошелъ къ сестрѣ и сталъ ласкаться къ ней, выпрашивая ѣсть. Когда просьбы его оказались неуспѣшными, онъ сталъ попрекать сестру, что она сама наѣлась, а ему не даетъ. Когда и это не достигло цѣли, онъ грозилъ пожаловаться матери, что она съѣла хлѣбъ.

— А я на тебя скажу, отвѣчала Машка.

Послѣ этого опять начинается крикъ и плачъ.—Ѣсть хочу!—ревѣлъ Лешка. Опять побои, и опять, послѣ долгой возни, тишина. Когда Машка убрала все, что поручила ей мать, она пошла въ корридоръ, куда обыкновенно собирались дѣти съ квартиры. Лешка оглядѣлся, заперъ дверь на задвижку, подошелъ къ шкапу, шкапъ на ключѣ. Онъ погрозилъ на шкапъ кулакомъ; потомъ полѣзъ въ сундукъ, нашелъ въ немъ сухую корку, и съѣлъ, да пять кусковъ сахару. Зная, что они сосчитаны у матери, онъ не съѣлъ ни одного цѣлаго куска, а отъ каждаго отломилъ по небольшому кусочку. Эти скудныя крохи черстваго хлѣба и рыхлаго сахара только раздразнили его аппетитъ. Онъ опять подошелъ

къ шкапу, посмотрѣлъ на него со злостью и прошепталъ: «Машка стерва! Машка рожа!» Онъ зналъ, что Машка доставала изъ шкапа хлѣбъ безъ пособія ключа. Она выслала его въ корридоръ, откуда онъ и подсмотрѣлъ, какъ она съ большими усиліями отодвигала шкапъ отъ стѣны, вынимала заднюю доску и доставала хлѣбъ. Онъ хотѣлъ сдѣлать то же самое; но сколько ни пыхтѣлъ, шкапъ не подавался — силенки у него не хватило. Ничто такъ не располагаетъ человѣка къ дурному настроенію, какъ голодъ. Всякое другое ощущеніе, нравственное или физическое, имѣетъ другой характеръ. Человѣкъ, не только голодный, но недокормленный, постоянно золъ; все его раздражаетъ и бѣситъ, всѣхъ онъ ненавидитъ, ничто его не успокоитъ. Пусть васъ лишили денегъ, даже чести, но если у васъ есть любящая напримѣръ, дѣвушка, она своими ласками съумѣетъ смягчить силу вашихъ страданій; но когда голодъ мучитъ человѣка, всѣ поцалуи и ласки бѣсятъ его. Изъ корысти, мести, люди рѣжутъ людей: съ голоду они ѣдятъ другъ друга, ѣдятъ сами себя.—Характеристика того, какъ злился Лешка. — Нестерпимый голодъ вызвалъ его за двери. Онъ прошелъ корридоръ. Произошла кража булокъ, причемъ ему нисколько не было стыдно: онъ наслаждался.

И такъ Лешка, въ существѣ дѣла, былъ преступникомъ противъ общества: онъ хотѣлъ обокрасть мать свою, съѣлъ тайкомъ ея сахаръ и сухую корку хлѣба, хотѣлъ забраться въ чужой шкапъ, укралъ у сосѣда булки. Онъ уже былъ каналья и шельма, котораго должно преслѣдовать правосудіе. Скажутъ: «ему только 7 лѣтъ отъ роду»; что жь изъ этого: по закону божьему, грѣхи прощаются только до 7 лѣтъ, а по гражданскому, если ребенокъ въ этихъ лѣтахъ сдѣлалъ поджогъ, со—

вершилъ кражу, убійство и проч., его отбираютъ отъ родителей, ростятъ до двадцати съ годомъ и дерутъ на площади *). По раціональному взгляду на вещи, преступленія Лешки совершались по тѣмъ же причинамъ, по какимъ совершаются преступленія и взрослыхъ — нужда и отсутствіе нравственнаго развитія, а въ томъ и другомъ не виноватъ человѣкъ. Однако взрослаго дерутъ же, хоть онъ и не виноватъ, — общество этого требуетъ; значитъ, если быть послѣдовательнымъ, надо драть и дѣтей. Да общество и дѣйствительно послѣдовательно въ своемъ взглядѣ на правосудіе. Ребенка не порютъ на площади, но публичная казнь вполнѣ замѣняется казнью домашнею. Тѣлу его больно; въ обществѣ товарищей надъ нимъ смѣются, и онъ на нѣсколько времени остается отверженцемъ. (Надо параллельно вести воровство и мазурничество Лешки съ воровствомъ и аферами хозяина большой квартиры. Передъ казнью хозяина большой квартиры сцены съ Лешкой — страшная порка и ссылка его въ сапожные подмастерья. Впечатлѣнія наказанія Лешки на дѣтей и впечатлѣніе казни хозяина большой квартиры на взрослыхъ).

Вотъ вопросъ: когда Лешка сдѣлался воромъ? Пока онъ не научился бѣгать, лѣтъ до трехъ, пока удовлетворялись его потребности, — онъ не былъ воромъ...

Жизнь дѣтей въ большой квартирѣ описать въ томъ родѣ, какъ описанъ «Зимній вечеръ въ бурсѣ». Здѣсь свое товарищество, игры, преданія, законы обычаи, предпріятія, судьи, фискалы, общественное мнѣніе.

---

*) Все это было писано еще въ 1862 году, слѣдовательно, еще до отмѣны тѣлесныхъ наказаній.

Должно уловить въ дѣтяхъ большой квартиры типическія лица, здѣсь только встрѣчающіяся.

Тутъ же живетъ *невинно-падшая* дѣвушка, любовница Потесина, которую онъ хотѣлъ просвѣтить и перевоспитать. Высоко-нравственная дѣвушка. Исторія ея невиннаго паденія—вслѣдствіе наглаго насилія. Милый, поэтическій характеръ. Ея успѣшное развитіе и скверный исходъ: бѣлогорячечная смерть. Эта исторія пройдетъ черезъ всю большую квартиру.

Въ кругу такихъ знакомыхъ, какъ «пѣвчій», «титулярный» и «захудалый родъ», Потесинъ спился окончательно. Сперва онъ думалъ было и ихъ силою своего вліянія вызвать къ жизни лучшей; но потерпѣвъ фіаско, отчаялся въ своихъ силахъ, сталъ презирать самого себя. Службу свою чиновничью онъ совсѣмъ бросилъ, хотя и числился еще на службѣ, денегъ у него не было... Однажды въ пьяномъ видѣ онъ утащилъ чьи-то часы и пропилъ ихъ. Сплетня объ этомъ пронеслась между его родственниками и знакомыми, и взбѣшенный дядя (генералъ) явился читать Потесину наставленья.

— Ты, пьяница, въ нетрезвомъ видѣ укралъ часы, а потомъ пропилъ шубу своего товарища, жилъ на чужой счетъ, подличать сталъ! говорилъ дядя.

— Все это я и безъ тебя знаю.

— Я всѣмъ раскажу о твоихъ похожденіяхъ.

— Да и безъ тебя всѣ знаютъ.

— Откуда же? спросилъ съ удивленіемъ дядя.

— Я самъ вездѣ разсказалъ, отвѣтилъ спокойно Потесинъ.

Дядя вытаращилъ глаза.

— Ты или сумасшедшій, или врешь?

— Дѣло въ томъ, продолжалъ Потесинъ, что я сдѣ-

лалъ подлость въ пьяномъ видѣ; часы взялъ чужіе въ безпамятствѣ и снесъ ихъ въ трактиръ; на другое утро мнѣ самому про мое же дѣло разсказывали, и это было для меня новостью. Шубу я надѣлъ чужую по ошибкѣ и потерялъ ее. Я сознаюсь, что сдѣлалъ эти гадости, но я поправилъ ихъ разсчитавшись съ кѣмъ слѣдуетъ. А ты своей подлости не сознаешь, и вотъ въ эту самую минуту тебя подлость не раздражаетъ; ты радъ, что я сдѣлалъ подлость... Кто же изъ насъ подлѣе?

У дяди сверкнули глаза.

— Чтожь ты, хочешь порвать всѣ связи: съ начальствомъ разругался, хочешь и родню послать къ чорту?

— Чѣмъ же я виноватъ, что скотъ роднымъ братомъ у моего отца?

Дядя поднялся со стула.

— Ты вѣдь тоже мое начальство; значитъ, я и тебя ругаю. Да и кой чортъ ты толкуешь о родственныхъ связяхъ, когда не могъ пріютить у себя на мѣсяцъ сестру мою, а вмѣсто жены имѣешь на содержаніи какую-то шельму, которая тебя по рожѣ башмакомъ бьетъ—и, по моему мнѣнію, хорошо дѣлаетъ! На ея мѣстѣ я сѣкъ бы тебя и посыпалъ перцемъ.

— Послѣ этого...

— Послѣ этого гусь свиньѣ не товарищъ.

— Помни же меня.

— Иванъ!

Явился прислужникъ.

— Проводи моего дядю, да никогда не пускай его ко мнѣ...

Дядя поблѣднѣлъ.

— Ты еще не получилъ отставки,—заговорилъ онъ съ пѣной на губахъ: — твоя судьба въ нашей власти.

— Вонъ! закричалъ Потесинъ.

Прислужникъ сдѣлалъ движеніе къ дядѣ. Дядя скрылся.

Потесинъ и здѣсь выдержалъ свой характеръ. Когда приходила такая минута, онъ сразу прерывалъ всякую связь.

— И такъ, отставка? спросилъ его пріятель.

— Отставка.

— А мечты о службѣ?

— Болванъ я былъ.

— Однако у тебя рессурсовъ къ жизни нѣтъ никакихъ, а долги есть.

— Скверно, братъ.

— Ты бы подождалъ хоть до праздника.

— То есть бездѣльничать еще три мѣсяца и за это деньги брать?

— Ты бы могъ и не бездѣльничать. Помнишь ли, кто больше тебя дѣло дѣлалъ? Не ты ли спасъ отъ разграбленья казенныхъ денегъ 15 тысячъ.

— Такъ что же? Эти 15 тысячъ были украдены черезъ полгода безъ всякаго слѣда и возврата. Значитъ я воду толокъ да переливалъ ее изъ пустого въ порожнее.

— Однако ты подвелъ столоначальника подъ дѣло за эту кражу, и его выгнали вонъ.

— То есть, его перевели на другое мѣсто, гдѣ, правда, онъ имѣетъ меньше случаевъ воровать; а на его мѣсто посадили такого же мерзавца.

— Ты предавалъ гласности...

— А!.. замолчи пожалуйста. Воровалъ я дѣла да перепечатывалъ ихъ, разумѣется, безъ именъ—ничего и не вышло.

— Однако они узнали себя и подъ чужими именами.

— И хохотали надъ писателемъ...

— Ты не гнулъ спины, не подличалъ, не дѣлалъ визитовъ къ начальникамъ...

— Это я могу и въ отставкѣ дѣлать. А! бездѣлье это, а не служба...

Оба долго молчали.

— Что же ты предпримешь теперь? — спросилъ другъ.

Потесинъ не отвѣчалъ. Лицо его было мрачно. Онъ глубоко задумался. По временамъ бѣшенство сверкало въ его глазахъ. Онъ сѣлъ за столъ и закрылъ лицо руками. Пріятелю показалось, что Потесинъ плакалъ, а Потесинъ скрежеталъ зубами.

— Знаешь, о чемъ я думаю? — спросилъ онъ неожиданно.

— Что такое?

— Я въ эти минуты почти увѣрился, что когда нибудь... (Потесинъ поднялъ голову спокойно, и дерзко глядѣлъ на пріятеля) *украду*... (онъ съ разстановкой и особеннымъ удареніемъ сказалъ слово *украду*).

— Ты? — спросилъ пораженный товарищъ.

— Я... я... но не пустяки какіе нибудь, а двѣсти, пятьсотъ тысячъ... Глупѣе я ихъ что ли? Я кутить хочу, я пить хочу!..

Потесинъ не давалъ вымолвить слова своему пріятелю и развилъ передъ нимъ стремительно цѣлую систему подлостей, причемъ роль подлеца взялъ на себя, и показалъ такое знаніе практическихъ пріемовъ для устройства карьеры, знаніе человѣческихъ душъ, что, дѣйствительно, только отвращеніе къ подлости держало его въ черномъ тѣлѣ. Онъ нарисовалъ картину благосостоянія, когда будетъ богатъ краденными деньгами.

— Тогда честные люди будутъ моими пріятелями,— говорилъ онъ: — литераторовъ своихъ заведу, художниковъ, школы устрою, кутить буду.

— Это дико, наконецъ, перебилъ его товарищъ. — Я тебя знаю; ты неспособенъ украсть; ты напрасно только развращаешь свое воображеніе.

— А если хочешь еще больше меня знать, такъ я тебѣ скажу, что воображеніе мое давно развращено, и что я по натурѣ своей способенъ на всякую гадость, А вотъ выходи-ка на свѣжую воду, на послѣднюю откровенность. Я не струшу, буду говорить, что думаю; говори и ты, что думать будешь. Иначе не стоитъ и говорить...

— Согласенъ.

— Да, всякаго плутовства полную правду.

— Ну, ну.

— *Ты* двѣсти тысячъ укралъ бы?

У пріятеля краска выступила на лицо. Онъ оскорбился, но Потесинъ не далъ ему и слова сказать.

— Ну, пятьсотъ тысячъ?—спросилъ онъ.—У Штукарева, у Сорокина, напримѣръ?

— Отчего же у нихъ украсть можно? съ досадой и пожимая плечами отвѣтилъ тотъ.

— Вѣдь у нихъ у самихъ краденое, чужое, а не свое.

— Но и не твое.

— Да и ничье. Капиталы лежатъ въ ихъ сундукахъ, а вѣдь это не имъ принадлежащая собственность. Она ничья. Кто завладѣлъ, тотъ и владѣй. Это все одно, что незанятая земля, кто выкинулъ первый флагъ, тотъ и беретъ ее себѣ. Если бы ты нашелъ кладъ, въ землѣ зарытый разбойниками, небойсь, совѣстно было бы присвоить его? Прежде, бывало, атаманъ съ своей шай-

кой промышляли ножемъ и кистенемъ, а теперь сивухой, или чѣмъ нибудь въ этомъ родѣ; прежде зарывали деньги въ землю, а теперь прячутъ въ сундуки. Такъ развѣ не все одно значитъ — взять ихъ деньги, что и кладъ найдти?

(Объясненія и споръ).

— Чортъ знаетъ, какое счастье этимъ богачамъ,— отвѣтилъ задумчиво пріятель Потесина.

— Постой же, теперь я тебя поймалъ. Ты разсердился, когда заговорили о воровствѣ, потомъ ты поддался размышленію, а теперь съ удовольствіемъ мечтаешь о чужихъ деньгахъ, — и вотъ что я тебѣ скажу, ты *вѣроятно* когда нибудь украдешь, а я *непремѣнно*.

— Послушай, послѣ этого мы разойдемся съ тобой навсегда.

— Если бы ты не былъ способенъ украсть, то ужь и разошелся бы.

— Что ты это, въ психологіи что ли упражняться вздумалъ? Но согласись, что несносно это взаимное щупанье головъ.

— Въ этихъ словахъ новое сознаніе того, что въ твоей головѣ я ощупалъ твое воровство.

— Ты клевещешь на себя и на другихъ. Прощай, братъ.

Пріятели разошлись. Потесинъ легъ на диванъ. Скверно было на его душѣ. Онъ злился и хотѣлъ удержать развитіе высказанныхъ имъ мыслей, но онѣ текли одна за другою безъ его спросу.

— Низость,—думалъ онъ,—что это такое? непріятныя отношенія одного ближняго къ другому. Кража, напримѣръ,—низость, а наказаніе за кражу—низость, или нѣтъ?

— Ну, все, кажется, обрушилось на меня. Что еще

осталось? За одно ужь все переиспытать, что только есть скверная, тяжелаго и бѣдоваго на свѣтѣ, чтобы имѣть самому право на все!.. Но нѣтъ, я еще разсуждаю, значитъ, еще не задавило меня несчастье... Да чортъ знаетъ, можетъ быть, меня никакая бѣда не задавитъ.

Послѣ этого случая, Потесинъ допился до бѣлой горячки и поступилъ въ больницу. За нимъ ухаживалъ захудалый князь и *невинно-падшая*, дѣвушка—послѣдняя любовь героя, и здѣсь только онъ могъ вполнѣ оцѣнить ихъ доброту и привязанность къ себѣ. Въ этой главѣ авторъ предполагалъ описать разнообразныя галлюцинаціи бѣлой горячки и посмотрѣть на нихъ съ психологической точки зрѣнія.

По выходѣ изъ больницы, Потесинъ не долго жилъ на «большой квартирѣ». Тамъ скоро случился какой-то скандалъ; Потесинъ вступился за дворника, съ кѣмъ-то подрался, и его выгнали изъ квартиры. Лишившись послѣдняго пріюта, безъ куска хлѣба, безъ копѣйки денегъ, полубольной и разочарованный во всемъ, Потесинъ рѣшился покинуть Петербургъ и ѣхать на родину. Онъ написалъ къ старику-отцу, чтобы ему выслали денегъ.

Ночь точно опьянѣла и съ дуру, шатаясь по городу, грязная, злилась и плевала на площади и дороги, дома и кабаки, въ лица запоздалыхъ пѣшеходовъ и животныхъ... На небѣ мракъ, на землѣ мракъ, на водахъ мракъ. Небо разорвано въ клочья и по небу облака, словно рубища нищихъ, несутся. Несчастные каналы, помойныя ямы и склады разной пакости въ грязныхъ дворахъ родного города, гдѣ лежитъ гниль и падаль,—дышатъ, дышатъ и отравляютъ воздухъ міазмами и зловоніемъ, а въ этомъ зловоніи зарождается мать-холера, грядущая на городъ съ корчами и рвотой...

Громъ заржалъ на небѣ; молнія, разнолинейными, ослѣпительными полосами освѣтила безобразнѣйшую картину природы. Вѣтеръ взвылъ и помчался, понесъ грязный и промозглый воздухъ по улицамъ, застучалъ жестью крышъ, разшибалъ со звономъ стекла въ окнахъ и далѣе понесъ по городу грязный промозглый воздухъ. Нева развозилась; она теперь темна, но съ разсвѣтомъ покажетъ желтую, мутную воду. О, мать-природа, какъ, подчасъ, ты бываешь жестока и отвратительна!..

Въ эту ночь пьяный Потесинъ шлялся по городу, отыскивая ночлега, и, подъ вліяніемъ мертвящей душу тоски, подумывалъ впервые о самоубійствѣ.

III.

Изъ третьей части романа уцѣлѣло въ рукописи очень немного.

Потесинъ вернулся на родину. Родныя мѣста и привѣтливыя лица родственниковъ оживили убитаго горемъ Потесина. Сестра встрѣтила его впрочемъ желчными упреками.

Споръ между братомъ и сестрою, по возвращеніи на родину, въ которомъ сестра упрекаетъ брата въ развратѣ, зачѣмъ онъ не женился, зачѣмъ провелъ безсемейную жизнь, за то, однимъ словомъ, что и онъ мужчина. Во всемъ этомъ слышно одно — жалоба на горькое положеніе женщины. На обвиненія братъ отвѣчаетъ: я не виноватъ, ни въ чемъ не виноватъ. Начинается взаимная исповѣдь и горькія жалобы на судьбу прожитого времени. Послѣ этого временное между ними примиреніе, и братски-сестрин-

скіе поцалуи. Сестра, оставшись на-единѣ и разсмотрѣвъ свое устарѣлое, измученное лицо, опять начинаетъ злиться. Потомъ ночью скорбный плачъ объ отжитой даромъ и нерадостной своей молодости; вмѣстѣ съ враждой къ брату, въ ней ростетъ религіозное чувство, уничтоженное, казалось, въ ней братомъ еще въ молодые годы. Такимъ образомъ религіозное чувство въ ней было слѣдствіемъ несчастно проведенной жизни. Но такъ какъ оно въ ней было не потребностью натуры, а создано искусственно ея исходнымъ положеніемъ, то и не внесло въ ея душу примиряющихъ началъ, а только разогрѣло въ ней надежду—хоть *тамъ*, за гробомъ я буду блаженствовать. Въ ея религіозномъ чувствѣ не было любви, а дѣйствовалъ глубокій эгоизмъ и желаніе мстить.—«Я здѣсь страдала, думала она,—а они тамъ будутъ страдать». Страданія людей она не представляла въ грубыхъ, лубочныхъ формахъ нашихъ отечественныхъ адовъ. Какъ женщина образованная, она этого не дѣлала. У ней была самостоятельная религія. Люди, по ея понятію, будутъ унижены нравственно; блаженство представляла тоже духовнымъ. Въ старые годы она страстно мечтала о загробной жизни и утѣшалась тѣмъ, что тамъ не будетъ плотскихъ потребностей, что не надо будетъ ѣсть, дышать, одѣваться и проч., что мужчины отъ женщинъ отличаться не будутъ ничѣмъ. Она стала ненавидѣть свое тѣло, которое мало жило хорошею жизнью; стала поститься и молиться, и въ то же время злость ко всему росла у ней не по днямъ, а по часамъ. Въ ней зрѣлъ злой, мрачный аскетизмъ. Она собралась было въ монастырь, но наслушавшись о неудовлетворительности и внѣшней строгости жизни монастырской, сказала:—«это значитъ, подъ конецъ жизни, начинать карьеру,—нѣтъ,

не подчинюсь никому». И осталась деспотствовать дома.

Старая дѣва глубоко ненавидѣла мужчинъ, на что имѣла полное право. Мужчины въ ея глазахъ были развратники, эгоисты и проч. Она говорила:—«вотъ вамъ примѣръ братъ мой»: Она превратилась въ Пигасова въ юбкѣ, смѣялась надъ любовью, влюбленныхъ называла дураками и скотами, а сама, фальшивя такимъ образомъ, злилась, распиналась.

Потесинъ рѣшился перемѣнить образъ жизни. Онъ задумалъ развить свою семью, началъ обучать грамотѣ крестьянскихъ дѣтей, даже хотѣлъ возбудить въ самомъ себѣ чувство религіозности. Но планы его не удались. Онъ замѣтилъ, что молитва его выходитъ фальшивая, что къ обученію онъ не способенъ. Стараясь вводить въ своемъ домѣ свои любимые принципы, онъ перессорился со всею семьею и впалъ въ апатію, снова началъ высказывать болѣзненное сожалѣніе, зачѣмъ онъ не подлецъ. Между тѣмъ здоровье его надломилось и показались всѣ признаки чахотки. На предсмертномъ одрѣ онъ оглянулся на свое прошлое, сталъ требовать у себя отчета въ прожитомъ; что добраго сдѣлалъ онъ своими проповѣдями и обличеньями? оказалось, что ничего. Проповѣдями да обличеньями, знать, не разбудишь общества.

Протестъ дико-честной натуры противъ общественнаго зла, неискусный, по неопытности, не достигающій цѣли и потому неправильный,—послѣ ударовъ самолюбію и знакомства съ жизнію, постепенно ослабляясь переходитъ въ желаніе перевоспитать подлецовъ и дураковъ. Но и на этомъ пути, вслѣдствіе неправильнаго дѣйствія, онъ терпитъ неудачи среди своихъ и чужихъ, и наконецъ, изнемогая въ борьбѣ, выражаетъ искреннее раскаяніе, зачѣмъ онъ не подлецъ.

Проживъ положительно несчастно день за днемъ свою жизнь, сознавая, что она была честна, но безплодна, въ страшной предсмертной тоскѣ, Потесинъ глубоко клянетъ свою долю. — «Подлецы хоть ѣли, пили сытно, — думалъ онъ: — хоть въ свое брюхо жили, а я ни въ свое, ни въ чужое. Даромъ, безъ нужды, безъ пользы честенъ былъ?.. Но эта натура проклятая, эта проклятая честность врожденная, находящаяся въ крови, не дала ни разу сдѣлать подлаго дѣла!» Припомнилъ онъ споръ свой съ пріятелемъ, въ которомъ доказывалъ ему, что укралъ бы при первомъ удобномъ случаѣ; пріятель считалъ это подлостью — и что же? Случай представлялся; а у него (у Потесина) и мысль не шевельнулась о томъ, чтобы присвоить чужое себѣ, а принципистъ, пріятель — укралъ. Онъ поклонился кому слѣдуетъ, получилъ тепленькое мѣстечко и запустилъ руку въ казну, за то и живетъ добрымъ семьяниномъ. — «Отчего же онъ устроился; а не я? Поклонился бы, цапнулъ бы и зажилъ на славу... Жена, дѣти, загородная дача, сношенія съ передовыми людьми и проч. Чортъ возьми, не жилъ я, а жить больше не придется. Чтоже это за тайна въ моей дѣятельности? Съ перваго молоду рьяно, грудь съ грудью, боролся я со всѣми—успѣха никакого, пользы никакой. Безполезная честность—какая это аномалія житейская! Потомъ, когда возмужалъ, призналъ и подлецовъ, и дураковъ людьми, хотѣлъ вкрасться въ ихъ душу и училъ заслуживать уваженіе дѣломъ; когда я былъ педагогомъ, — еще страшнѣйшая неудача: я для нихъ былъ авторитетъ, а между тѣмъ ничего не вышло. Безтолковая, благодушная работа—какъ это глупо!.. Тоска тоска!.. И теперь, когда я увидѣлъ безполезность практи-

ческую всей моей жизни, я искренно жалѣю, что не кралъ и не подличалъ. Вѣдь я не жилъ, не видалъ счастья! Жить хочется, хоть бы для того только, чтобы нагадить кому нибудь... Семья меня ненавидитъ, одинъ братъ только съ жадностью слушаетъ мои рѣчи, но я уже говорю теперь вяло, слово мое дѣлается холоднѣе, превращается въ заученную доктрину; слово выходитъ изъ памяти, а не изъ сердца; а между тѣмъ поучаю тому, что меня сломило, чему самъ не вѣрю. Не дать ли лучше ему совѣтъ идти другой дорогой? Я самъ погибъ, зачѣмъ же хочу его погубить? Неужели для того, чтобы испытать дьявольское наслажденіе ввалить въ яму и другого, если самъ въ нее попалъ, сдѣлать несчастнымъ и другихъ, если самъ несчастливъ? Помню, если одного порятъ, бывало, то и страшно и обидно, а если сразу человѣкъ десять, то идешь даже подъ розгу припѣваючи... Или на людяхъ смерть красна? Но вѣдь это подло... Опять подло? что же это такое?»

Въ это время вошелъ братъ его.

— Ѳедя! — сказалъ Потесинъ.

— Что тебѣ, братецъ?

Потесинъ задумался. Ѳедя подошелъ къ нему и положилъ руку на плечо. Потесинъ отвернулся лицомъ къ окну и тяжело вздохнулъ.

— Братъ, что ты хотѣлъ сказать мнѣ?

— Послѣ, послѣ.

— Отчего же не теперь?

— Братъ, — вдругъ сказалъ Потесинъ: — ты хочешь погубить свою жизнь?..

— Я тебя не понимаю.

— Хочешь кончить такъ же, какъ и я?

— Да хоть еще хуже.

— Дико, братецъ! Я тебя надулъ. Ужь тебя ненавидятъ родные, и всѣ будутъ ненавидѣть, если пойдешь по моей дорогѣ.

— Такъ что-же?

— Безъ пользы.

— Да развѣ ты не принесъ никому пользы?

— Никакой.

(Исповѣдь Потесина и споръ съ братомъ).

Какъ вы думаете, читатель, если-бы онъ выздоровѣлъ, исполнилъ-ли бы самъ свои предсмертныя мечты и совѣты? Практическаго умѣнья подличать у него хватило-бы, потому что онъ изучилъ подлость вдоль и поперекъ. Мы думаемъ, что онъ исполнилъ-бы, — впрочемъ это наше личное мнѣніе.

Въ предсмертномъ бредѣ у него стали появляться странныя логическія сочетанія мыслей. — «Быть можетъ, думалъ онъ: — я отъ того не успѣлъ на честномъ пути, что протестовалъ противъ зла изъ личной къ нему злости. Меня когда-то давило зло, вотъ и вышла месть, а не гражданская дѣятельность; не дави оно, изъ меня вышелъ-бы ловкій представитель зла. Я всю жизнь мстилъ, и только теперь такъ поздно догадался, что я по натурѣ подлецъ». Его сильно поразили эти мысли...

— А вотъ выздоровѣю, — думалъ онъ: — тогда... что тогда? Я ужь знаю что...

Онъ былъ увѣренъ, что встанетъ съ постели. Мечты его о будущей дѣятельности въ подломъ направленіи.

Чахотка быстро приближалась къ концу. Ждали смерти. Родители плакали. Они предъ этимъ только мечтали женить Потесина на одной изъ сосѣднихъ помѣщицъ и тѣмъ прикрѣпить его къ мѣсту; имѣлась въ

виду и служебная протекція въ губернскомъ городѣ, — теперь всѣ эти планы разрушались. Потесинъ самъ видѣлъ, что его уже отпѣвать слѣдуетъ; онъ принялъ болѣе спокойный тонъ, и, какъ могъ, утѣшалъ плачущихъ. Смерть не пугала его.

— Эхъ, маменька! (говорилъ онъ) да о чемъ же вы печалитесь? Вы умрете? увѣрены въ томъ? Ну, и я умру. Да знаю, что будетъ и по смерти моей. Сначала вынесутъ меня торжественно изъ квартиры; около получаса понесутъ гробъ на рукахъ, а потомъ поставятъ его на дроги, — отпоютъ обѣдню, панихиду, прольются слезы полунеподдѣльныя; потомъ въ каретахъ поспѣшатъ на поминки. Поминки равняются отличному, имянинному обѣду. Во время киселя и блиновъ заупокойныхъ споютъ «вѣчную память»; подпивши, начнутъ веселиться. И прокутите вы до глубокой ночи, и прокутите весело, счастливо,— и дай вамъ Боже на это дѣло больше времени, потому что о мертвыхъ нечего болѣть,—отжили, и ладно. Потомъ долго будете вспоминать день моего успокоенія, не какъ день скорби (она залечится), а какъ день веселаго праздника. И что же? Неужели вы думаете, что я на это осержусь? Я, напротивъ, радоваться буду, что моя могила была поводомъ къ лишнему празднику для людей—хоть эти люди и лишніе на свѣтѣ,—лишніе, по моему понятію, но не лишніе на самомъ дѣлѣ. Живите, живите, а когда доживете до смерти, то закажите самыя веселыя поминки, чтобы ваши живые родственники и потомки также бы на вашихъ поминкахъ пожили хоть одинъ день изъ своей жизни весело, ибо веселье и счастье —цѣль жизни человѣческой. Братцы, добывайте себѣ веселья, въ какихъ-бы формахъ оно ни выражалось! Живите, братцы!

На послѣдній разъ счастье поблагопріятствовало Потесину и избавило его отъ возможности сдѣлаться «подлецомъ». Онъ умеръ. Передъ смертью онъ долго давалъ младшему брату разныя наставленія, училъ его жить... Въ чемъ состояли эти наставленія Потесина,— неизвѣстно. Вѣроятно онъ повторилъ брату тѣ же мрачные болѣзненно-дикіе уроки, что одною прямою честностью, одними обличеніями въ обществѣ ничего не подѣлаешь, что лбомъ стѣны не пробьешь; что за откровенную честность пострадать можно, что съ подлецами подличать слѣдуетъ и т. п. Сильное впечатлѣніе произвели на родню эти ядовитыя рѣчи.

Юноша братъ, получивъ предсмертную исповѣдь и наставленіе житейское отъ Потесина, ходилъ какъ ошалѣлый послѣ смерти его. Старшая сестра злилась. Отецъ глупо смотрѣлъ въ окно. Братишкѣ стало невыносимо скучно; онъ подъ вечеръ отправился на кладбище, на свѣжую могилу брата. Сначала онъ заплакалъ, потомъ ужасъ охватилъ расцвѣтающую его душу. Онъ поздно ушелъ съ кладбища. Поди-ка, молодой человѣкъ, погуляй по бѣлу свѣту, поищи добра да счастія. Вотъ и ты не глупъ, какъ и братъ—и съ тобою что-то будетъ? Погибнешь ты, или нѣтъ? Вѣроятно да!

Поздно вернулся онъ домой. Передъ окномъ сидѣла неподвижно его старшая сестра. Старая, несчастная старая дѣва взглянула на него. Ему сдѣлалось страшно—она походила на колдунью. Неужели это бывшая когда-то милая крошка, Варя? Она въ сущности дѣла тоже мертвый человѣкъ. Вспомнила она въ эту минуту всѣ пути-дороги жизненныя, пройденныя ею съ мертвымъ братомъ,—вспоминала, злилась и роптала. Вставая на сонъ грядущій, она съ безсильною злобою погрозила въ окно кулакомъ. Кому? Кажется всему міру.

Она родилась, чтобы перенесть великую обиду: дѣвство ея осталось ненарушеннымъ. Припомнила она, какъ не поддавалась соблазну молодыхъ людей, желавшихъ безъ брака вступить съ нею въ извѣстныя отношенія, и старичковъ, желавшихъ вступить съ нею въ бракъ;— вспомнила, съ какою гордостію она отказывала имъ, и теперь прокляла и добрую свою нравственность, и чистую душу, и всѣхъ людей на свѣтѣ, какъ и братъ ея проклялъ все на свѣтѣ...

Господа! страшно жить въ томъ обществѣ, гдѣ подобныя жизни совершаются сплошь и рядомъ!...

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

RETURN TO ➡ **CIRCULATION DEPARTMENT**
202 Main Library

LOAN PERIOD 1 **HOME USE**	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.

Books may be Renewed by calling 642-3405.

DUE AS STAMPED BELOW

RECEIVED
DEC 2 0 1990
CIRCULATION DEPT.

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

CIRCULATION DEPT.

LD 21–100m-7,'83

YC 73410

U.C. BERKELEY LIBRARIES

C031949527

836
P7E6
1469

170638